



**ЗНАКОМАЯ ФАМИЛИЯ**

ЛЕВ  
ЮЩЕНКО  
J

ЛЕВ.  
ЮЩЕНКО  
**ЗНАКОМАЯ ФАМИЛИЯ**

ПОВЕСТИ  
И  
РАССКАЗЫ



МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ  
1978

**Ющенко Л. А.**

**Ю 98 Знакомая фамилия: Повести и рассказы.— М.: Моск. рабочий, 1978.— 328 с.**

В книгу входят повести и рассказы разных лет. Наряду с уже известными широкому читателю такими произведениями, как «Зойка», «Командир», «Побег» и др., в сборнике представлены две новые повести. Писатель точно и тонко исследует черты характера, которые формируют людей подвига, людей активной гражданственности.

Ю 70302-052  
М172(03)-78 197-78

P2

© Издательство «Московский рабочий», 1978 г.

# ПОВЕСТИ





## ЗОЙКА

Отпуск окончился, и теплым апрельским вечером они улетали обратно в Сибирь.

Из шумного аэровокзала с лампами дневного света и запахом сигарет Зойка и Геннадий вышли в мягкую весеннюю темень.

Над бетонными дорожками мерцали звезды. Далеко за аэродромом, за плоскими холмами Подмосковья угасала поздняя заря.

Ту-104 с красными щитками на двигателях стоял у перрона неподвижной темной машиной. Только в круглых иллюминаторах желтовато теплился свет.

Они поднялись по трапу, нашли свои места и положили в сетку над креслами апельсины, купленные в аэропорту,— у них в поселке в эту пору апельсины — редкость.

Потом красный тягач потянул самолет на взлетную полосу.

Зойка смотрела в иллюминатор. Стеклообразные стены аэровокзала с цветными огнями уплывали в темноту. Было немного грустно, что все окончилось: отпуск, мамины хлопоты, Большой театр, беготня по магазинам и хождение в гости. И все же хорошо, что это уже позади и они летят к себе в Ключевой, к друзьям, к привычным делам и заботам.

— Устраивайся поудобнее,— сказал ей Геннадий.— Можешь откинуть кресло.

Они летели всю ночь и утром спустились по трапу на большом аэродроме и пошли за автокаром, который вез их чемоданы.

Ослепительно светило солнце, чуть морозило, хрустел под ногами тонкий лед. На бетонных дорожках теснились самолеты.

Где-то в весеннем небе среди широких воздушных трактов затерялась и пустынная авиатропа в таежный поселок Ключевой.

Пока Геннадий узнавал о рейсе на Ключевой, Зойка пошла в ресторан — в последний раз полакомиться кухней Интуриста. А там — в тайгу, на попечение поселкового магазинчика, скупого на деликатесы.

В ресторане между колоннами стоял негромкий говор. Зойка села за столик у окна. В простенке висел красно-синий плакат: «Экономьте ваше время, пользуйтесь воздушным сообщением». Экономя свое время, по соседству второпях обедал бородатый поп в черной рясе и начищенных сапогах. Парень в свитере, с обветренным лицом отодвинул котлету и остервенело листал журнал — изголодался по пище духовной.

Около Зойки у низкого окна стоял мальчик в расшитых бисером унтах и, удивляясь, смотрел, как по веткам в саду прыгают воробьи. Он поднял на Зойку большие синие глаза и сказал, окая:

— А у нас на Лаврентии воробьев нет.

Всему удивлялся парень — высоким домам, воробьям, деревьям. Прожил на свете целых четыре года и никогда не видал деревца. У них на Чукотке, в бухте Лаврентия, только лед, камни, олений мох и северные сияния. И все ему было в новинку — даже серенькие пичуги на ветках.

— Вы из Москвы? — спросила Зойку его мать — маленькая, светловолосая, с морщинками у глаз и темными скулами, обожженными полярным солнцем. Она спросила, не зацвела ли в Москве сирень, и Зойка ответила:

— Что вы, еще рано. Сирень — это май. Пока только подснежники. А вы не бывали в Москве?

— Была, но давно, все забыла.

И с таким же протяжным оканьем, как у сына, она рассказывала о жизни «у нас на Лаврентии»: первый цветок распустится только в июле, а в сентябре уже холода и пурга. Там мальчик и вырос. Первый раз она везет сына в Россию, «на запад», как они говорят, — к бабушке на Волгу, под Ярославль.

Зойка сказала, что и у них в поселке пока не веселей: десяток бараков и сборных домишек, почта,

клуб, одна улица и единственный тротуар из горбылей на еловых чурках. Пока не придет в Ключевой железная дорога, быть ему заштатной точкой. Есть, правда, в клубе телевизор и мачта с хитрой антенной — в удачный вечер можно увидеть передачу из города. Или прилетит почтовый самолет — тоже развлечение: письма, газеты, иногда бандероль от приятелей с романом, которым зачитывается вся Москва.

— А дети у вас есть? — спросила женщина.

— Я не замужем, — ответила Зойка.

В отпуск из Ключевого ее провожали с шуточками и намеками; вот тебе и свадебное путешествие. Но подружки напрасно спешили — Зойка сразу уехала домой, к матери, в Воронеж и только в конце отпуска вернулась в Москву и увиделась с Геннадием.

Он жил в подмосковном деревянном домике с мезонинном, садом и летней кухней, которую Геннадиева сестра, толстушка Поля, иногда сдавала дачникам. За один день и одну ночь Зойка привыкла к вздохам и шорохам старого дома. Она верила, что рано или поздно они с Геннадием мужем и женой поднимутся по его скрипучим ступенькам. И когда они уезжали на аэродром и шли по дорожке к калитке, Зойка с благодарностью оглянулась на его окна, светившие сквозь голые кусты в синих апрельских сумерках.

— С детьми веселей, — вздохнула женщина с бухты Лаврентия.

И Зойка с ней согласилась, хотя и пожалела мальчишку, выросшего на земле без единого деревца.

Они сидели и разговаривали, пока не пришел Геннадий. Еще издали Зойка увидела его меж столиков — невысокого, но ладного, аккуратного. Парень приятный, ничего не скажешь. Скучноват он, правда, бывает. «Не будь занудой!» — сердилась она, и он тогда морщился: не любил этого слова. Морщился, но молчал.

И теперь он тоже поморщился, с досадой налил себе рюмку вина и сказал, что Як-12 на Ключевой скоро вылетит, но одно место забронировано какому-то начальнику со строительства дороги. Самолет завернет за ним в Заслоны.

— У них в Заслонах свой вертолет. Что у них там стряслось? — спросила Зойка.

— Не знаю, — ответил Геннадий, морщась и кovy-

ря вилок котлету.— В общем, есть одно место, и ты летишь одна.

Зойка рассмеялась:

— Не хочу лететь одна, скучно. Да еще делать крюк в Заслоны. Хочу остаться и ждать с тобой. Мне и тут хорошо!

Она охмелела от одной рюмки вина. А за окном была весна и весеннее солнце, на столе — крахмальная белая скатерть, вокруг — очень симпатичные люди. И ей, Зойке Макаровой, совсем не хотелось обратно в тайгу, к медведям.

— Мне здесь нравится, Генка. У меня новая кофточка с белыми пуговками и новый, модный, фестивальный платочек. И я хочу надеть туфли на тонком каблучке и пойти в театр — с тобой пойти, Генка! А у нас в Ключевом когда-нибудь будет театр? Вот проведут к нам дорогу — построят и театр. Ну что ты так на меня смотришь, Геннадий? Не веришь, что в Ключевом будет театр? Ладно, не останемся в Ключевом — поедem жить в твой дом с мезонином.

— Зойка, да ты пьяна! — Геннадий поморщился.

А Зойка смеялась и дразнила его. И соседи оглядывались на нее и улыбались: веселая девушка.

— Давай пей кофе, и будем решать, — злился Геннадий.

— Ну ладно, я полечу одна. А ты будешь тут мыкаться, страдалец? Подумаешь, полетели бы завтра вместе.

— А если и завтра будет одно место?

Зойка рассердилась:

— Ой, Генка, какой ты всегда осторожный! Идем!

У камеры хранения они открыли чемоданы и выложили в Зойкину дорожную сумку кое-какие гостинцы для девчат в Ключевом — апельсины, всякие вкусные вещи и желтую книжечку, которой зачитывалась Москва: «Ярче тысячи солнц. Повествование об ученых-атомниках».

У выхода на летное поле Зойку ждал пилот — щеголеватый парнишка в кожаной куртке с молниями и ушанке. Он спросил ее фамилию, заглянул в сопроводительную ведомость и сказал:

— Идите за мной.

А Геннадий остался у барьера и смотрел им вслед, пока они не скрылись за шеренгой самолетов.

— А где же Харитонов? — спросила у пилота Зойка.

— В Крым улетел, в отпуск.

— Жалко, — сказала Зойка.

Харитонов давно летал на ключевской линии, и к нему все привыкли. Так и говорили, заметив над тайгой его самолетик: «Вон Харитонов ковыляет!» Возил он все — пассажиров, молоко, почту, запчасти — и на любую таежную площадку садился на три точки с первого захода. С ним Зойка еще летела в отпуск. А теперь и Харитонova потянуло на крымскую весну.

— А как ваша фамилия? — спросила Зойка, едва поспевая за пилотом.

— Махоркин, — нехотя ответил он.

— А-а-а, — протянула Зойка, будто услышав знаменитую фамилию.

Пилот покосился на нее: смеется, что ли? Нет, она не смеялась, просто ей понравилась эта фамилия — Махоркин. Летим, Махоркин!

По бетонной дорожке они долго шли к своему широколапому одномоторному Як-12. Он стоял далеко, на краю поля. И пассажиров к нему не везли автобусом, как к реактивным лайнерам; к нему приходилось топтать пешком. В этой воздушной гавани он был незаметным парусником, который в одиночку уплывает в пустынный океан — в сторону от оживленных морских дорог с их белоснежными кораблями и ночными огнями на горизонте.

Около самолетика пахло хвоей, мокрым снегом, весной. Зойка влезла в кабину. В кресле рядом с пилотом лежал брезентовый мешок с почтой. Зойка устроилась на заднем сиденье, а дорожную сумку положила рядом с собой.

Они вырулили на край снежного поля, где одиноко стояла автомашина с антенной, выкрашенная в черно-белую шахматную клетку. У перелеска на земляном холмике кружилось решетчатое зеркало радара.

Над ними с гулом и свистом, закрывая солнце, шел к бетонной дорожке реактивный самолет.

Потом «як» пробежал по мокрому снегу и поднялся в воздух.

Когда они разворачивались над аэродромом, сквозь фонарь в кабину вкатились солнечные зайчики. Зойка глянула вниз и сразу зажмурилась: на земле, в корке льда пылало солнце.

Пролетали окраину города — дымного, деревянно-кирпичного, по-весеннему пятнистого, с непросохшими крышами и бульварами. В старом парке виднелись белоколонные университетские корпуса. Водохранилище ГЭС было вдоль и поперек исчерчено пешеходными тропинками.

А за фабричным поселком с кирпичной трубой и узкоколейкой начиналась тайга, еще заснеженная, сырая, неприветливая.

Стало холоднее, из щели дуло. Зойка подобрала ноги в резиновых ботах, запахнула пальто и пожалела о теплых носках, оставленных в чемодане.

Она достала из сумки два апельсина и один протянула пилоту.

— Махоркин! — сказала она и тронула его за плечо.

Он сидел перед ней за штурвалом, косо посмотрел на нее и покачал головой. Хотя по глазам было видно: очень ему хотелось апельсина.

Ну и пижон! Харитонов бы не отказался. А этот корчит из себя воздушного волка. А фамилия самая лапотная, мужицкая — Махоркин.

Хорошая, вкусная фамилия — Махоркин...

Она съела апельсин, завернула в платок корочки и сунула их в карман — на апельсиновых корках хорошо настаивать водку. Геннадий любит такую настойку. К Первому мая и настоится. На праздник они опять будут вместе, в компании, может быть, у Михеевых, там большая комната. И все опять будут им кричать: «Горько! Что вы, черти, тянете?» А Геннадий будет отшучиваться: «Жилплощадь лимитирует». — «Врешь, с милой и в шалаше рай!» — «Даешь ему шалаш со всеми удобствами!» — «У него под Москвой неплохой шалашик!» И все они будут танцевать до самого рассвета и на зорьке пойдут по поселку и всех поднимут своими песнями. А потом они с Генкой долго будут стоять у Зойкиного крыльца, он захочет войти к ней, но она шепнет: «До свидания, Гена!» — и закроет дверь и пройдет в свою комнату. Если к празднику

потеплеет, в комнате уже распустится ветка черемухи с диковатым таежным запахом. И долго еще она будет стоять у окна с закрытыми глазами, вдыхая запах таежной весны и слушая его шепот: «Зойка, слышишь... Ну, Зоя...»

Он постоит у нее под окном, закурит и пойдет к себе. Шаги его затихнут вдаль, за окном станет тихо, только и слышен будет стук дизель-электростанции, к которой все ключевские давно привыкли, и еще, может быть, далекая песня о том, что они два берега у одной реки...

А после праздника в восемь утра они встретятся уже в конторе, в комнате с чертежными досками, где на дверях висит лист ватмана: «Тех. отдел».

Если встретятся на людях — поздороваются за руку. Никого в комнате не будет — поцелуются украдкой. И Геннадий проведет по губам ладонью — нет ли губной помады. Не любит она этого обидного жеста.

Вздохнув и стараясь не вспоминать обидное, она посмотрела вниз.

Тень самолета с радужным сиянием вокруг винта плыла по широкой просеке. Среди снеговых полей темнел молодой ельник.

Просеку эту рубили еще два года назад для высоковольтной линии на Ключевой. Но потом планы изменились, ассигнования были срезаны, и все заглохло. Ждали, пока в Ключевой дотянут «нитку» — железную дорогу в одну колею. И в Ключевом, расшумевшемся было на всю округу, стало тихо и буднично. Кое-кто уехал, а те, кто остался, сидели над проектами рудника и комбината, совещались и спорили до одури и все ждали: не слышен ли первый гудок дороги, не идет ли к ним большая жизнь?

А просека на Ключевой заросла мелким ельником. Тянулась она сквозь тайгу прямая и четкая, как курс на планшете. Лети без карты и компаса — не заблудишься. Ее так и звали — Харитоновский проспект. Каждый день тарахтел Харитонов над просекой. Ему рукой махнут: «Харитонов, привет!» Он в ответ крылом качнет: «Привет, ребята!» Для него тут все свое — земля, люди, поселки, таежные тропы.

А вот Махоркин другой. Для Махоркина тут просто трасса, просто полет по заданному маршруту. Ему

все равно, что под ним, — село, река, зимовье. Взглянул разок вниз и опять видит перед собой только стрелки приборов, только синюю даль и горизонт за прозрачным куполом кабины. Молод ещё — вот и важничает. Включил рацию, доложил курс диспетчеру. И снова сидит не оглядываясь — будто и нет в кабине симпатичной Зойки Макаровой в модном пальто и в новейшей столичной прическе.

Ладно, Махоркин, важничай...

Одно место рядом с ней пустовало, и она гадала, что за начальник полетит из Заслон к ним в Ключевой. Пока не пришла к ним дорога, нечего делать в Ключевом большому начальнику. И так все ясно: сидим и ждем. Дорогу ждем, начальник!

Она посмотрела вниз. «Як» отвалился от просеки и летел вдоль реки, покрытой торосами и полыньями.

Над рекой висел недостроенный мост в три пролета. Голубовато мигала электросварка. На берегу дымил паровозик.

Отсюда тянули «нитку» на Ключевой.

Самолет развернулся и полетел над трассой. Рельсы бежали на север, огибая болота и сопки. Далеко протянулась дорога. Но до Ключевого ей еще не близко. Вот и рельсы кончились, промелькнул палаточный городок укладчиков.

И сразу вдали показались Заслоны — небольшое село в одну улицу. Огороды сбегали к таежной речушке. На задах топились баньки — была суббота.

У околицы на лугу стоял вертолет. Лопастни были зачехлены. Невдалеке от него горел костер, и по ветру летели клочья дыма. Парень с ружьем сидел у костра и смотрел, как широколапый самолетик «як» идет над избами на посадку.

«Як» снижался, и Зойка видела, что Махоркину очень хочется сесть на три точки с первого захода. Кое-что она в этом тоже понимала.

Она достала из кармана зеркальце и поправила на шее косынку — цветную фестивальную косынку с пальмами, неграми, пароходами и словом «мир» на всех языках.

А когда самолет плавно скользнул на снежное поле и, не выдержав, Махоркин на миг оглянулся,



Зойка увидела его сияющие глаза: знай, мол, наших, хотя и не смыслишь ты ничего в пилотаже.

И Зойке тоже стало весело: важничай, Махоркин, важничай!

Подрулив к вертолету, Махоркин заглушил мотор и прыгнул из кабины на землю. К нему подбежал парень в заячьей шапке со старинной берданкой.

— Вы за Тихоновым? — спросил он, запыхавшись. — Так он вас в той избе ждет. Придет, должно быть, сейчас.

— Вертолет караулишь? — спросил Махоркин, закуривая.

— Да вот, охраняю, — сказал парень и поправил на плече дедовскую берданку. Он не сводил глаз с Махоркина, явно завидуя его куртке с молниями, золотым крылышкам на рукавах и его самолетнику, который на этом самодельном аэродромчике выглядел вполне солидным воздушным кораблем.

На снегу у костра был и другой след самолетных лыж. Махоркин спросил парня, кто это к ним прилетал.

— А сам Байдаченка прилетал, — ухмыльнулся парень. — Ба-а-льшой начальник. Дал тут кое-кому прикурить и айда на Ключевой. Серьезный дядя. Тихонову велел собрать все бумаги и за ним лететь. А на чем полетишь, если наш вертолет сломался?

Оглянувшись, Махоркин сказал:

— Чего он там в избе сидит?

— Бумаги какие-то ждут, «козла» за ними послали. Без этих бумаг к Байдаченке не сунься... Разрешите закурить московских, товарищ пилот?

Махоркин вытащил пачку «Казбека», и парень деликатно взял одну папиросу. Мужская дружба крепла.

А Зойке уже надоело ждать. Она вылезла из кабины и, нащупав ногой железную скобу, прыгнула в снег.

— Куда вы? Сейчас полетим, — недовольно сказал Махоркин.

Он с досадой взглянул на часы и пошел к избе, велел парню никого к самолету не подпускать.

— Гражданочка, гуляйте подальше, — сказал парень и даже снял с плеча берданку.

Зойка обиделась и отошла.

Из села доносилось радио. Стучали топоры. Запах

хвои и снега перебивался острой бензиновой гарью. Наверное, прежде тут жили глухо, за сопками и болотами, а дорога разметала поскотины и курные баньки, завалила улицу бочками, тягачами, ящиками, бульдозерами. И Зойке привычно было это тюканье топоров, запах щепы, мерзлые глыбы земли, костры, ухабистые дороги, ругань шоферов, походные кухни, шелест кальки на морозном воздухе. Так бывало и у них в Ключевом. Да и будет еще, когда туда дотянут «нитку».

Зойка постояла у костра, потопала резиновыми ботами. Солнце скрылось за тучей, дул ветер, стало холодно. Она пошла к избе по рыхлому снегу.

Изда-пятнстенка с резными наличниками из потемневшей лиственницы стояла на самом краю села. Шатровые ворота были распахнуты настежь. Во дворе под навесом стояли бочки с бензином, снег был желтый от солярового масла.

Зойка поднялась по ступенькам и вошла в избу.

На лавке у двери сидел и курил Махоркин. Он хмуро взглянул на Зойку, но ничего не сказал. В красном углу, где темнели лики святых, шелестели кальками двое мужчин. Одного из них, начальника строительства дороги Козлова, Зойка знала — грузного, властного, в бурках и гимнастерке с орденскими колодками. Он бывал у них в Ключевом. А другой был худощав, высок, с черными волосами и смуглым лицом. Только глаза у него были очень светлые, открытые, с синевой. Под столом торчали его длинные ноги в охотничьих сапогах. Тесновато тебе будет в кабине, дядя Тихонов.

Зойка стояла у двери, а на нее не обращали внимания — курили и спорили.

— Время теряем, товарищи, — сердито сказал Махоркин. — Лететь надо.

Начальник строительства посмотрел на часы:

— Еще минут пять, и привезут бумаги.

Зойка вышла на крыльцо. Порхали снежинки, погода портилась. По дороге мимо избы шли грузовики с красными флажками. Шли на дистанции, по правилам безопасности: в кузовах, припорошенные снежком, лежали тугие бумажные мешки с взрывчаткой. Наверное, на трассе готовили взрыв.

Внезапно в ворота влетел «козел» с фанерным ку-

зовом, взвизгнул у крыльца тормозами. Из фанерной избушки выскочил чернявый парень с синей папкой в руках и исчез в избе, успев заметить Зойку озорным глазом:

— Привет пополнению!

Тотчас вышли Козлов, Махоркин и Тихонов с синей папкой.

— Смотри, вся документация у тебя,— сказал Козлов.

— А куда я денусь! — сердито ответил Тихонов.— Не съест меня Байдаченко.

— Как только решат, сразу радируй. А пока будем готовить взрыв. Сам понимаешь — график.

Они все вместе пошли к самолету, и, помогая Зойке подняться в кабину, Козлов галантно сказал:

— Тихонов, с такой соседкой тебе скучно не будет. Ну, ни пуха тебе ни пера.

— Иди к черту!

Долговязый Тихонов едва втиснулся в кресло рядом с Зойкой, и ей пришлось переставить дорожную сумку в багажник.

И они еще выруливали на старт, а Тихонов уже развязал тесемки синей папки с золотыми буквами «К докладу» и уткнулся в свои чертежи.

Только взлетели, как навстречу метнулся снежный заряд и все закрутилось. Самолетик качнулся, будто бодливый бычок перед дракой.

Над сизыми сопками висело сумрачное, тяжелое небо. Летели низко над трассой и сразу обогнали автоколонну с взрывчаткой. Машины с красными флажками шли по дороге редкой цепочкой.

Потом под крылом проплыли острые, клыкастые скалы. На отвесных кручах боязливо толпились сосенки. Этого каменного зверя трассе не обойти. Его тело нашпигуют серовато-желтым порошком, похожим на сухую горчицу, и в назначенную минуту над тайгой завоют сирены: «Взрыв!» А месяц спустя между базальтовыми откосами лягут новенькие рельсы.

Тихонов взглянул вниз и спросил, нельзя ли сделать круг над скалами. Махоркин показал на часы.

— Ведь из-за вас задержались! — прокричала Зойка.— Давно были бы в Ключевом.

— Мне бы еще раз посмотреть на эти проклятые скалы! Через трое суток их взорвут. А это как раз нежелательно!

Махоркин даже не обернулся. Сердьясь, Тихонов сказал Зойке, что потеряли бы только одну минуту, а ему это необходимо — он везет новый вариант участка трассы, по которому взрывать эти скалы необязательно. Проект выгоден и давно послан в главк, но там что-то тянут. Вот за этим и прилетал к ним Байдаченко — на месте знакомиться с вариантом. Полдня лазил по скалам, разобраться во всем не успел и улетел в Ключевой — там на три часа назначен партактив. Велел Тихонову собрать всю документацию и к шести быть в Ключевом. После актива будут проверять расчеты. Если утвердят, дадут в Заслоны радиограмму: «Взрыв отменить».

Но пока на трассе готовят взрыв: график есть график, стройку не остановишь.

— И если дело затянется, — крикнул Зойке инженер, — тогда сам господь бог не поможет — взорвут!

Самолетик вдруг сорвался в воздушную яму, и Зойка прикусила губу. Да, это тебе не реактивный лайнер, здесь ни поваров в белых колпаках, ни бортпроводниц с черным кофе, разве только бумажный пакетик для аварийной надобности.

За плексигласовым окошечком вихрилась снежная пыль. Темные тучи прижимали «як» к лесистым макушкам сопок.

От болтанки Зойку мутило, она достала из сумки апельсин, прокусила толстую кожу в пупырышках, сосала кислотавый сок.

Тихонов нагнулся к ней:

— Потерпите, скоро прилетим. Вы вчера из Москвы? Как она там?

— Ничего, стоит...

Самолет нырнул в морозящее облачко. По крыльям хлестали серые клочья. Фонарь сразу стало затягивать шероховатой изморозью, и пилот включил антиобледенитель.

Вцепившись в сиденье, Зойка ждала, когда они выскочат из сумрачной тучи и над ними снова будет сиять весеннее солнце.

Но в кабине становилось все темнее. Машина

ползла вверх, мотор стучал в облаке глухо, как в вате.

— Как бы нам не опоздать! — крикнул Тихонов. — Байдаченко этого не любит.

Так и не пробив верхний слой облачности, самолет пошел вниз. Свистел ветер. Потом в разрыве туч мелькнул темный клочок земли. Сквозь пелену снега Зойка увидела высокие сопки. Самолет мотало над верхушками лиственниц. Летели лесистой седловиной между сопок. Сворачивать было некуда.

— Вам холодно? — крикнул Тихонов.

— Ноги замерзли, — сказала она.

— Скоро чайком обогреемся.

Но она видела, что он тоже тревожится. Конечно, трудно пилоту в такой метели, хотя и горит у него на щитке глазок радиокompаса. «Як» снова окунулся в свистящую белую мглу, и его так трянуло, что Зойка схватилась за бумажный пакет. От второго толчка она свалилась на колени соседа, на его синюю папку с золотыми буквами «К докладу».

— Лежите, так легче будет! — Тихонов ловко вытянул твердую папку, и она уткнулась лицом в ватные брюки: только бы скорее все это кончилось! Махоркин, миленький, пожалуйста, поскорей!

И внезапно она ощутила, что самолет взмыл вверх. Словно он перепрыгивал сопку. Мотор завыл дискантом, захлебнулся, опять потянул, опять сорвался. И, уткнувшись в ватник, Зойка чувствовала, как они, сорвавшись с какой-то высокой горы, падают, падают, падают, и Тихонов валится на нее грузным телом, и у нее нет сил вырваться и вздохнуть — и вдруг удар и металлический скрежет, будто машину разрывает на части, и Зойка летит куда-то вместе с Тихоновым, еще не успев испугаться и понять, что с ними случилось.

И стало очень тихо...

Потом ее грубо рванули за плечи. Открыв глаза, она увидела над собой Махоркина — без шапки, растрепанного, с растерянными глазами.

— Жива? — удивился он.

И такая постановка вопроса заставила Зойку оглядеться. Кабина висела боком, сама Зойка лежала на мешке с почтой, а ее дорожная сумка вылетела из ба-

гажника, и апельсины рассыпались по полу. Она поднялась и потрогала плечо: наверняка будет синяк.

— А как же апельсины? — растерянно спросила она. Больше всего ее огорчило почему-то, что теперь апельсины будут нахнуть бензином.

Тихонов ругался, застряв между креслами. Удивительно, как он там поместился.

— Эх ты, летун! — хрипло сказал он Махоркину.

Растерявшийся Махоркин собирал в сумку Зойкины апельсины.

— Давайте, я сама, — сказала Зойка.

В глухой тишине под самолетом громко булькнуло. словно под ними лопнул пузырь болотного газа. Свистел ветер. Прозрачный фонарь кабины уже заносило снегом — вокруг них бушевала вьюга. И было совсем темно, как в сумерках.

Тихонов швырнул на сиденье свою синюю папку с золотыми буквами «К докладу»:

— Прилетели!

Махоркин молча застегнул куртку, надел шапку, помедлил, оттягивая то неизбежное, что ожидало его за порогом кабины. Потом рывком распахнул дверцу и выпрыгнул.

Только тогда Зойка пришла в себя и спросила:

— Скажите, а что с нами случилось?

Тихонов не ответил.

За дверцей, где исчез пилот, свистела мокрая апрельская вьюга.

Выпрыгнув из самолета, Махоркин огляделся. В белесой мгле не было видно ни деревца, ни кустика. Только снег, снег, снег. Он со свистом хлестал по обшивке машины. Даже на винте уже висели тяжелые липкие хлопья.

Самолетик лежал на боку, как подбитая птица. Пилот горестно погладил его крыло. Глаза слепило снегом. Пилот поднял воротник куртки и пошел вокруг машины. Правой лыжи не было — вместе с шасси она погрузилась в болото, в *живун*. Есть такие места на болотах: в глубине трясины бьет ключ, и даже в сильный мороз топь не промерзает — *живет*.

Понав лыжей в живун, «як» крутанулся и металлической законцовкой крыла, как ножом, шаркнул по бо-

лоту, по кустам и кочкам. По снегу веером разлетелась бурая болотная слякоть. В канаве, прорезанной крылом, уже собиралась темная торфяная вода.

Задрав левое крыло, машина висела над проклятым живуном.

Взлететь она не могла.

Пилот сделал несколько шагов в сторону, и в снеговой мути замаячила темная стена тайги: край болота, чащоба. И в другой стороне, через сотню метров, он тоже наткнулся на бурелом. Под ногами хлюпал подтаявший торфяник.

Может быть, им повезло, что попали в живун и тормознули на болотном пятачке.

А что он мог сделать, когда обледеневшую машину швырнуло к сопке, на частокол горелого леса, на черные острые пики лиственниц? Он только успел дать газ и перебросить «як» через сопку. Но машина потеряла равновесие и косо скользнула крылом в слепую метельную муть.

В последние секунды он понял, что там не снег, а заснеженная земля, и, выключив зажигание и бензобаки, успел выровняться для скользящего удара о болото.

Все, как в учебнике пилотажа. Теперь остается выполнить параграф 547 «Наставления по производству полетов»: «По радиотелефону сигнал бедствия передается словом «БЕДА». Эти строчки так и стоят перед глазами. Он держал в замерзших губах папиросу и упорно чиркал зажигалку, не понимая, что она гаснет от ветра.

А кто виноват? Все понемногу — на земле и в воздухе. Синоптики опоздали с предупреждением, а сам он вовремя не догадался изменить курс, обойти снежный фронт. И все-таки ты в ответе, пилот! Вот тебе и первый миллион налета, Николай Махоркин, вот тебе и командир реактивного корабля. Даже не успел крикнуть на землю: «Беда!» И унесло их пургой куда-то к черту на кулички. На этом болоте сразу искать не станут. Искать начнут в другом квадрате, на трассе Заслоны — Ключевой.

Конечно, потом и сюда прилетят. Но когда?

Он подошел к самолету. Из метели навстречу ему шагнул рослый длиннорукий Тихонов.

Пилот все еще мучил свою зажигалку, высекая бледные искры. Тихонов дал ему огня, ловко прикрыв спичку в широких ладонях.

Подождав, пока пилот пару раз затынется, инженер негромко спросил, какого черта посылают на линию всяких сапожников и недоучек.

Пилот ему соответственно ответил.

И только свист вьюги спас Зойку от необходимости выслушивать этот мужской разговор на болоте, у черта на куличках, за час до совещания в поселке Ключевом.

Она сидела в кабине, укрыв ноги старым спальным мешком, который нашла в багажнике, слушала вой вьюги и мужские неясные голоса и думала о том, что Геннадий еще ничего не знает, сидит в аэропорту, листает журналы, решает кроссворды. А в Ключевом скоро начнется тревога. После партактива Байдаченко соберет инженеров в конторе, и все будут ждать Тихонова с его чертежами. Потом запросят по радио Заслоны и будут сидеть за столом, разговаривая и посматривая на часы. Кое-кто даже обрадуется, что Тихонов опоздал и можно утрясти с Байдаченко свои вопросы, — не каждый день у них бывает большое начальство.

И вдруг в кабинет войдет Людочка, секретарша, и растерянно протянет Байдаченко радиogramму: «Инженер Тихонов вашему распоряжению вылетел пятнадцать ноль-ноль точка Козлов».

И за столом сразу станет тихо, и все переглянутся.

Байдаченко подойдет к окну, прислушается: не летят ли? За окном ветер, метель, погода явно нелетная, и уже смеркается.

Да, самолет исчез в тайге. А вместе с ним и инженер Тихонов, и синяя папка с проектом.

О Зойке они узнают потом. Узнают, что была и такая пассажирка — З. Макарова.

Секретарша Людочка первой прочтет радиogramму из города и со слезами побежит к девчатам в отдел, где Зойку ждут из отпуска.

А может быть, все еще обойдется, думала Зойка. Починят самолет, переждут метель и вылетят. Мало ли бывает вынужденных посадок.



Или к ним прилетит вертолет. Она дремала и грезила, как к ней с неба на вертолете спускается Геннадий, бежит к запесенному снегом самолетику, распахивает дверцу и видит Зойку — сонную, продрогшую, укрытую каким-то старым спальным мешком...

Дверца и впрямь распахнулась. Но в кабину ввалился не Геннадий, а Тихонов, случайный попутчик. Он стряхнул снег с телогрейки и вытер шапкой мокрое лицо.

Из своего угла Зойка робко спросила:

— А мы скоро полетим дальше?

— Вряд ли, — ответил Тихонов. — Вас как звать? Зоя? Знаете, Зоя, давайте подождем до утра. Вы только не волнуйтесь. Утро, говорят, мудренее вечера.

Он вытащил из синей папки все чертежи, оторвал тесемки и связал бумаги в тугую трубку. Потом распахнул телогрейку и сунул сверток под свитер.

Все это он делал не спеша, прочно, сосредоточенно, словно стараясь ничего не забыть и не упустить даже мелочи. И по его движениям Зойка без слов поняла, что дела их плохи и ей не быть в Ключевом ни сегодня, ни завтра и не угощать девчат московскими гостинцами.

С холодком в сердце она поняла, что и ей надо готовиться к чему-то самому трудному — вот так же, сосредоточенно и прочно, как Тихонов, который прячет на груди чертежи и туго затягивает ремень, словно солдат перед боем.

В тусклых сумерках, в холодной металлической коробке, притихшая и бесконечно одинокая, она вытерла слезу и шепотом спросила:

— А как же дальше?

Тихонов не ответил — наверное, не расслышал. За тонкой стенкой выла метель. Снег уже наглухо облепил кабину.

А пилот еще ходил вокруг машины, осматривал, обстукивал, по привычке сбрасывал с нее снег, ощущая каждую вмятину. Потом влез в кабину и стал возиться у щитка. Тускло засветилась панель рации: «Беда! Беда! Беда!.. Вы меня слышите? Слышите меня? Беда! Как вы меня слышите? Прием!»

Он нервничал и щелкал переключателями и почти

кричал звонким, мальчишеским голосом: «Вы меня слышите? Слышите? Прием!»

Его никто не слышал. Его слова гасли на торфяном болотце под свист метели — в трех шагах от занесенного снегом самолетика.

И напрасно он переходил на прием: он и сам никого не слышал.

Он в последний раз щелкнул выключателем, лампы на щитке погасли, и в кабине стало совсем темно и холодно:

Тихонов пошевелился и закурил. На самое короткое время Зойка увидела рядом его лицо. Спичка погасла, а ей еще долго рисовались в темноте его полузакрытые, неспящие, думающие, чужие глаза.

И она с тоской вспомнила о Геннадии: если бы он был рядом с ней в этом холоде, мраке, неизвестности!..

Проснулась она от выстрела. За распахнутой дверцей, как на экране, косо летели красные хлопья снега. Постепенно они тускнели, стали розовыми, блеклыми и погасли совсем.

Тогда опять раздался выстрел, и снежинки вспыхнули ярко-зеленым цветом.

Махоркин стоял у самолета и палил вверх ракетами.

Он стрелял в светлеющее небо, и ракеты лопались где-то высоко над землей, окрашивая метельные снега веселым красно-зеленым ярмарочным разноцветьем.

И Зойке спросонья тоже почудилось, что где-то над ними кружится самолет, и она обрадовалась, но потом с грустью поняла: просто это метель поет на все голоса.

Махоркин вытащил из дерматинового патронташа последнюю, седьмую ракету. Но Тихонов тоже спрыгнул на снег.

— Хватит палить,— сказал он.— Никого там нет. Просто вам показалось.

— Да, пожалуй,— вяло ответил пилот, спрятав в карман ракетницу и, подумав, сказал, что нужно готовить сигнальные костры.

Было уже светло, метель затихала, над болотом висела туманная мгла. Все вокруг было белым-бело от

снега: кочки, кусты, низкорослый ельник. Только тайга темнела со всех сторон враждебной стеной.

— На пятачок сели,— усмехнулся Тихонов.— Прямо скажем, посадка классная.

И наверное, Махоркин не понял — похвала это или издевка. Он молча открыл багажный люк и достал топорик с железной ручкой.

— Я сам нарублю,— сказал Тихонов и пошел с топором к лесу.

Пока Махоркин расчищал от снега площадки для двух костров, Тихонов приволок ель, срубленную под корень. Он еще несколько раз уходил в чащу, и наконец все было готово. На хвою плеснули бензин, а для дыма набросали промасленной ветоши: тряпки и масло горят черным дымом, приметным на снегу.

Махоркин достал зажигалку.

— Рано еще, подождем,— сказал Тихонов, посмотрев на часы.

Они постояли, покурили, прислушались. Но самолеты к ним не летели.

— Далеко унесло нас от трассы? — спросил инженер.

— Километров на тридцать,— ответил пилот неуверенно.

— Не больше?

— А может, и больше. Куда-то на северо-запад.

— Сами не взлетим?

— Нет.

Махоркин жадно затягивался папиросой — бледный, осунувшийся за одну ночь, в мокрой от снега кожаной куртке, в шегольских хромовых сапогах, заляпанных болотной грязью, весь какой-то взъерошенный, нахохлившийся и сердитый.

— Пожалуй, пора начинать,— покосившись на него, сказал Тихонов.— Заодно обсушитесь у огня.

Пилот присел и чиркнул зажигалкой. Костер вспыхнул разом, полыхнул бензиновым пламенем, затрещал хвоей. Жирный, маслянистый дым за клубился над болотом и смешался с клочьями холодного тумана. Остывая в тумане, дым высоко не поднимался и лениво заволакивал верхушки лиственниц. Снег вокруг костра таял, и обнажались заросшие травой кочки и гнилые корневища в коричневой торфяной жиже.

А Зойка сидела в кабине и смотрела, как мужчины швыряют в огонь еловые лапы и пламя с треском выстреливает клубы дыма.

Потом они отошли от костра и прислушались. В белесой дымке безмолвно стояла тайга. Из туманной мглы с шорохом сыпалась изморозь. Треск пламени и шорох снега — вот и все звуки. По болоту вяло расползался дым — вот и весь сигнал бедствия.

Они пошли обратно к костру, и под ногами хрустели и хлюпали болотные кочки.

Зойка, замерзнув, сунула озябшие руки в карманы пальто и нащупала какой-то узелочек. В носовой платок были завернуты корки от апельсина. Она вспомнила, как вчера, еще по пути в Заслоны, съела один апельсин и припрятала корочки для настойки, для Геннадия. Еще вчера она заботилась только об апельсиновых корочках. И как давно это было — вчерашний солнечный день, смешной мальчик из бухты Лаврентия; крахмальные скатерти в ресторане, радары и реактивные лайнеры. Все это было много веков назад. И было даже не с ней, а с какой-то другой, очень счастливой Зойкой, — не с той, которая сидит в разбитом самолете на болотных кочках.

И все это из-за долговязого инженера и его синей папки. Зойка с неприязнью смотрела, как он ходит у костра, хлюпая сапогами. А потом вспомнила его полузакрытые, неспящие, грустные глаза и сверток его чертежей, спрятанный под свитер. И вдруг подумала, что этому инженеру еще обиднее, чем ей, сидеть на болоте, сидеть со своим проектом на болотных кочках, когда ему дорога каждая минута.

Вздохнув, она открыла дорожную сумку и достала сверток с булкой и двумя холодными котлетами, которыми их снабдила в путь сестра Геннадия — толстушка Поля. Булку Зойка разломала на три части, завернула в бумагу и выбралась из самолета.

Она сразу провалилась в снег, и пронзительно ледяная вода хлынула в боты. Кое-как она выбралась на протоптанную мужчинами дорожку и пошла к костру.

— Замерзли? Грейтесь, — рассеянно сказал ей Тихонов, занятый своими мыслями.

А Махоркин улыбнулся ей грустно и виновато,

словно хотел сказать: «Вот в какую историю я вас втянул».

Она развернула бумагу и дала им по котлете и куску хлеба. Сама жевала только хлеб. Потом она села на еловые ветки, разулась и протянула к огню ноги в мокрых чулках.

— Уже успели вымокнуть? — спросил Тихонов. — А сапоги у вас есть?

— Дома у меня сапоги, не готовилась я к таким приключениям, — сказала Зойка, рассердившись, и пододвинула к костру свои мокрые туфли — нарядные чехословацкие туфли из светлой кожи, купленные два дня назад в Москве и теперь порывшиеся от торфяной воды.

Махоркин сходил к самолету и принес свои унты с толстой подошвой и сыромятными ремешками.

— Надевайте, — сказал он Зойке.

— А вы?

— У меня сапоги, — вздохнул Махоркин, посмотрев на свои хромовые сапоги, залепленные грязью.

Она взяла унты и сказала:

— Отвернитесь, пожалуйста.

Мужчины отвернулись. Она сняла мокрые чулки, повесила у костра и натянула унты — холодные, но сухие, с мягкой войлочной стелькой.

— Теперь можно, — сказала она.

Они обернулись и увидели смешную маленькую фигурку в модном пальто с цигейковым воротником и собачьих унтах. Оба они улыбнулись.

— А ну вас, ей-богу, — грустно засмеялась Зойка, стараясь не расплакаться. Присела у огня и стала сушить туфли.

Костер догорал, но дров в него больше не подкладывали: бесполезно коптить небо в такой туман, погода нелетная, никто их не увидит. Второй костер они даже не зажигали.

Махоркин достал полетную карту. Они долго искали свое болотце среди таежных сопок. Но как найти его между тысячью таких же болот?

— Где-то здесь, — сказал Махоркин. — Или немного северней.

Тихонов усмехнулся:

— Адрес точный — на деревню, дедушке.

— Что вы волнуетесь, ведь нас уже разыскивают! — сказала ему Зойка.

— Конечно, найдут, — убежденно сказал Махоркин. — Не сегодня, так завтра.

— Или послезавтра, — сказал инженер. — Или через неделю. Нет, ребята, послезавтра будет уже поздно — сопку взорвут. Дорогу не остановят из-за того, что мы шлепнулись в это болото. Мне ждать никак нельзя.

Он отломил ветку и стал прикидывать ею на карте расстояние до Ключевого от точки, отмеченной карандашом Махоркина.

Пилот посмотрел на него и нерешительно сказал:

— Согласно «Наставлению» я обязан по возможности оставаться у самолета и подавать сигналы кострами и ракетами.

— Ладно, ответственность я беру на себя, — сказал Тихонов, складывая карту. — Скажу, что заставил вас. Семь бед — один ответ. Все равно сидим в болоте... согласно вашему «Наставлению».

— Вот везет же мне! — горестно сказал Махоркин. — С курса унесло, рация отказала, туман — все тридцать три несчастья. Пожалуй, действительно нужно выходить на трассу — там заметят скорее.

Он швырнул окурок в снег и пошел к самолету.

Тихонов в раздумье стоял у костра. Вдруг он в упор спросил Зойку:

— А вы как думаете, Зоя?

И она поняла, что он боится ее ответа, — не сможет оставить ее в тайге, у самолета. Без нее он не уйдет.

— Я думаю, что нам нет смысла ждать, — сказала она спокойно.

Тихонов первый раз пристально взглянул ей в глаза. Она стояла перед ним, невысокая, неуклюжая в этих собачьих унтах. Нос чуть вздернут, из-под вязаной шапочки выбилась каштановая прядь. Глаза у нее были серые, упрямые.

— Ну что вы так смотрите? Ходила я по тайге, не бойтесь, от вас не отстану.

В тайгу она ходила только в летние воскресенья — в культпоход за малиной и кедровыми шишками.

— Значит, старая таежница? — оживился Тихонов. — Тогда решено. Будем собираться. Обувь у вас

вроде подходящая, в унтах и пойдете. Знаете что, я принесу ваши вещи и вы отберете самое нужное.

Он торопливо пошел к самолету, и Зойка крикнула ему вслед:

— У меня только сумка, больше ничего нет!

Оставшись у костра одна, она натянула просохшие чулки, надела туфли и боты и поверх всего — унты с сыромятными ремешками. Туфли у огня ссохлись и едва налезли. Но иного выхода уже не было. И ей стало даже веселей, что кончилось томительное ожидание, пришла ясность и цель.

Мужчины долго возились у самолета, закрывая его чехлами. Потом Тихонов принес к костру перетянутый ремнем старый спальный мешок и Зойкину дорожную сумку.

Зойка выложила из сумки московские гостинцы: апельсины, конфеты «Чудесница», коробку печенья «Украинская смесь» и две банки болгарских томатов.

— Да у вас целый склад! А вы молчали! — весело сказал инженер. — Это, безусловно, забираем с собой. — Он взял из сумки газету «Известия» и сунул в карман. А желтую книжечку «Ярче-тысячи солнц. Повествование об ученых-атомниках» с сожалением отложил. — Придется оставить. Не возражаете?

Она подняла сумку:

— И без того тяжело.

— Хуже будет, когда она опустеет. Надеюсь, к тому времени мы будем уже в Ключевом.

— А далеко до поселка?

— Нет, не очень, — не совсем уверенно ответил инженер.

И Зойка больше не задавала ему этого неделикатного вопроса.

Махоркин принес из самолета разноцветную пачку<sup>7</sup> больших и малых конвертов.

— Это письма в Ключевой. Надо забрать.

— Конечно, — сказал Тихонов и положил письма в Зойкину сумку. — Ну, все готовы? — Он осмотрелся вокруг и сказал пилоту: — Вы понесете сумку, а я — спальный мешок. Я пойду впереди. Дайте мне компас, Махоркин.

Тихонов вскинул на плечо спальный мешок и на ходу развернул газету, пробежал глазами по страницам:

— Ну, идем. Пошли, герои семилетки. Если доберемся в Ключевой — и о нас напишут. Вот, мол, какая история произошла в Сибири, на одном из строительных плацдармов.

— А если не дойдем? — спросила Зойка, вздохнув.

— Тогда не напишут. Об этом газеты писать не любят. Потом когда-нибудь нас упомянут, для истории. В общем, есть полный смысл дойти — хотя бы в газетах напишут.

Он посмотрел на компас и первым пошел в тайгу, протаптывая тропинку в тяжелом, мокром снегу. Зойка старалась ступать по его следам.

Махоркин шел последним. На самом краю болота он оглянулся. Был полдень, но туман не рассеялся. Прикрытый брезентом самолет беспомощно лежал на одном крыле. Костер догорал. Синий дымок тянулся к макушкам лиственниц.

Костер будет тлеть, пока не остынет пепел. Но на болоте останется запах бензина, и звери будут обходить это место стороной.

А потом прилетит сюда вертолет, люди вытянут «як» из болота, подремонтируют и взлетят. И самолетик опять будет тарыхтеть над тайгой, перевозя пассажиров и почту...

*Черневая тайга* — это хаос гниющего валежника, пихты в сырых низинах, обросшие бледным мохом, следы лисиц на снегу, редкие крики птиц, глухие распадки, корявый кедрач, быстрые речки в скалистых заснеженных берегах.

Перемахнув очередную валежину, Тихонов подавал руку Зойке и ждал, пока она забросит ногу в тяжелых унтах. Она изо всех сил старалась поспевать за ним. А он принимал ее упрямство за выносливость и прибавлял шаг. Перед ней мелькали его охотничьи сапоги-скороходы. Он шел размашисто и ходко — шапка на затылке, телогрейка нараспашку, на плече узел со спальным мешком, в руках суковатая палка. Оступаясь и падая в снег, Зойка сердилась на свою неловкость. Тихонов ставил ноги цепко, упруго, и она старалась учиться такой походке. Из самолюбия она сама переползала через гнилые валежины, и ее пальто украсилось ржавыми пятнами. И после двух-трех шу-



точек по этому поводу они перестали замечать живописные узоры. Будто так и надо было — гулять по таежной чащобе в модном пальто с цигейковым воротником.

Они шли по компасу, напрямик. Из занесенных снегами распадков поднимались на косогоры, где уже начиналась весна и под ногами хрустел тонкий лед. А в чаще висел морозящий туман, на мокрых ветках набухали капли. Хлюпал ковер старых листьев осины. В ложбинках стыли озерца. Палкой Тихонов нащупывал земную твердь, и потом их следы заливало талой водой.

Один раз вдруг они замерли, — показалось, что летит самолет. Но слышно было только их собственное дыхание, шорох капель, шелест ручьев под снегом. В тумане крикнула птица.

Инженер прислонился узлом к лиственнице, вытер шапкой мокрое лицо.

— Перекур, — сказал он, и на обросших скулах шевельнулись желваки.

— Километров пять отмахали! — бодрился Махоркин, едва переводя дыхание.

— От силы километр, — сказал Тихонов и посмотрел на Зойку: — Вы садитесь вон там, на пенек, отдохайте.

Она присела на валежину, закрыла глаза. Только один километр, а ноги уже одеревенели. Это тебе не культпоход за кедровыми шишками. И вообще, какого черта понесло ее в тайгу! Есть ведь на свете и другая жизнь. Она вдруг вспомнила позавчерашний теплый подмосковный вечер, дачные дорожки и зеленые огни светофоров на переезде, домик толстушки Поли, и ее уютную комнату, и горячий чай в стаканах. Уйти бы из этой чащобы в тот теплый дом, выпить стакан горячего чая, прилечь на диван. Ведь есть где-то сейчас эта иная, удивительно хорошая жизнь!

Она открыла глаза и увидела над собой мокрую ветку пихты. С ветки мерно падали капли. Деревья стояли в тумане.

А Тихонов курил и смотрел на Зойку. Открыв глаза, она не шевелилась, только чуть улыбнулась ему, чтобы он не думал, что она раскисла.

Он бросил окурок и по привычке втоптал в землю, хотя чему тут было гореть — кругом снег и вода.

Вскинув на плечи узел, он кивнул Зойке и пошел дальше со своей суковатой палкой.

Она едва встала, все еще вспоминая тот теплый дом, Полю, горячий чай, Геннадия, и подумала, что вот с Геннадием ей не пришлось бы тащиться по этим хлябям: сидели бы спокойно у костра и ждали, когда их найдут. Нашли бы их в конце концов — не завтра, так послезавтра.

Но тут же она вспомнила, что сказал Тихонов: «Послезавтра будет уже поздно».

И, хлюпая унтами, она опять потащилась по размашистым тихоновским следам. Он даже не оборачивался, поверив в ее силы. А если она оступалась и падала, он протягивал ей руку, и она видела, как нетерпеливо вздрагивают его губы, и сама спешила подняться и скорее сделать первый шаг.

День был на исходе, а они все пробирались таежными чашобами.

И, помогая Зойке карабкаться по каменистым осыпям, Тихонов всякий раз чувствовал, как все слабее цепляются ее руки за его телогрейку.

Лицо у нее было бледное, усталое, с синевой, только глаза не сдавались — блестели из-под мокрых ресниц сухими лихорадочными огоньками.

Опираясь на палку, она с трудом волочила намокшие унты, пока не запнулась о корневище и мешком не свалилась в снег. Ее подняли и усадили на валежину.

Потом Махоркин разжег рядом с ней костер, и она с наслаждением вдохнула теплый, горьковатый дух пылающей пихты. Тихонов достал из Зойкиной сумки банку с красно-зеленой этикеткой: «Болгарплодэкспорт. Томаты». Он вырезал ножом крышку, заставил Зойку выпить весь сок, а томаты выложил на сумку и набил пустую банку снегом.

Они почти не разговаривали: слишком устали, да и так все было ясно — надо отдыхать и беречь силы.

Когда у костра стало жарко, Зойка сняла пальто и повесила рядом на сук. На ней была красная шерстяная кофточка с белыми пуговицами и фестивальный платок, разрисованный пальмами, неграми, пароходами и словом «мир» на всех языках. Без пальто она была совсем девчонкой с узкими, худыми плечиками и

тонкими кистями рук. И Тихонов взглянул на нее встревоженно, — наверное, не думал, не ожидал, что она такая, нетаежная, с розовым маникюром и пестрым шелковым платочком. Может, и не рискнул бы он идти с ней по тайге, зная это раньше.

Махоркин поймал его настороженный взгляд и тоже пожал плечами: кто же знал, что она такая хлипкая...

А Зойка не видела, как они переглядываются, и раскладывала томаты на три кучки. Самую маленькую кучку она пододвинула себе. Потом достала по одному апельсину и по две штуки печенья «Украинская смесь».

Они стали жевать, и все у них было сладковатым — томаты, апельсины, печенье.

В консервной банке закипела вода. Болгарская красно-зеленая этикетка обгорела, жечь задымилась, а в воде кружились зеленые иголки и пепел.

Зойка вздохнула:

— Совсем как на лыжной прогулке.

Махоркин с грустью сказал, что по лыжам у него второй разряд.

— В училище я очень увлекался спортом.

— Я тоже люблю лыжи, — ответила Зойка.

— Не мешало бы поторопиться, — сказал им Тихонов и палкой вытянул из огня консервную банку.

У горячей воды был пресный снеговой привкус, но каждый с удовольствием выпил несколько глотков кипятку.

Потом Зойка неровной, ковыляющей походкой пошла к ложбине.

Мужчины пересчитали папиросы и сигареты и поделили небогатую кучку курева. Спички они тоже разделили, и Тихонов завернул коробку в промасленную бумагу от печенья «Украинская смесь» и спрятал за пазуху.

— Если бы завтра выйти на просеку... — неуверенно сказал Махоркин.

— Если бы так...

Они сидели у догорающего костра, курили и ждали Зойку.

Она осторожно спустилась в ложбину. Там было совсем сумрачно, пластами оседал снег, с желтовато-

грязных сосулек под обрывом капала вода. В глубине распадка шумел ручей.

Она села на валежник и стянула унты, боты, туфли — все сырое и холодное. На капроновых чулках темнели неровные пятна. Она приложила к ним снег. От холода боль немного утихла. Но кровь Зойка остановить не могла.

Тогда она сдернула с шеи фестивальную косынку — тонкий газовый платочек, купленный позавчера в каком-то галантерейном московском магазине. И разорвала косынку пополам: сюда океанские лайнеры и пальмы, туда — негры и скандинавские девчонки в клетчатых юбках, сюда слово «мир» по-испански, туда — на французском языке. Она туго перевязала лодыжку, и на пестром шелке, на африканских пальмах с желтыми листьями сразу выступило красноватое пятно.

Но туфли теперь не налезали, мешала повязка.

Кое-как она натянула одну туфлю и ступила на нее. И сразу присела, упала на валежину, тихо вскрикнув. И заплакала — маленькая и одинокая в этом мгlistом распадке, заросшем темными елями.

Она беззвучно плакала, вытирая слезы, и не видела, что у края ложбины, за деревом стоит Тихонов и смотрит на нее не шевелясь, не смея ее окликнуть.

Он шел ей навстречу и вдруг увидел эти розовые капли на снегу и узкие девичьи лодыжки, обернутые пестрой косынкой. И с похолодевшим сердцем замер на краю ложбины — над этой одинокой, маленькой фигуркой в синевато-пепельном предвечернем снегу.

Он видел, как Зойка вытерла рукавом слезы, стащила с ноги туфлю и швырнула в кусты. Забинтованные ноги она осторожно опустила в боты и поверх них натянула унты. Поднялась, качнулась и, закусив губы, сделала три шага в снегу. Потом посмотрелась в карманное зеркальце, привычно забросила под шапочку прядь волос и медленно, как после болезни, пошла наверх.

Тихонов отступил за дерево. Она прошла мимо, не заметив его. Но он видел ее глаза, смотревшие прямо перед собой, и слезу на щеке, и обветренные, искусанные губы.

Немного погодя он подошел к костру.

Она стояла и сушила у огня варежки. Он молча, в

упор смотрел ей в лицо, но она держалась спокойно, только вздрагивали темные веки, и на щеке еще не просох след слезинки.

А может быть, это была и не слеза — просто упала ей на лицо капля воды с мокрой пихты.

— Что вы так смотрите па меня? — спросила она.

— Да так просто...

Она отвела глаза, надсла варезки и взяла свою палку:

— Идемте, пока еще светло.

И Зойка шла за Тихоновым, боясь, что он оглянется и увидит на щеке еще одну, ее последнюю слезинку, которая вдруг выкатилась из сухих глаз.

Спустя полчаса на безветренном крутом косогоре он остановился, закурил и стал озабоченно постукивать пальцем по компасу.

Но врать он не умел.

— Бросьте притворяться, — сказала Зойка. — Что мы стоим? Я не устала.

И, рассердившись, пошла вперед.

По компасу их путь лежал на северо-восток через топкую, кочковатую низину.

Только в сумерках они набрали на лесистый островок среди торфяника и стояли у обрыва, гадая, далеко ли еще до того берега.

Занесенная снегом топь уходила куда-то в белесую, темнеющую даль.

Тихонов сбросил спальный мешок, и Зойка легла на него, прижавшись щекой к мерзлomu брезенту.

Чиркая спичками, мужчины искали на карте приметное болото с сухим островком, заросшим елями. Но напрасно они гадали над картой, прикрывая в ладонях тусклый язычок желтоватого пламени. Этот песчаный островок мог быть и в трех шагах, и в трех днях пути от Ключевого. Может быть, за болотом тянется просека и они скоро увидят вдаль огни поселка. А возможно, что до него еще идти и идти по распадкам и сопкам.

— Зоя, как вы? — оглянулся Тихонов.

Она послушно шевельнулась на мешке:

— Встаю...

— Нет, хватит, будем ночевать.

Костер разгорался вяло — на островке не было березы и бересты, которая сразу вспыхивает трескучим, дымным пламенем. Они раздували огонек и ломали сухую осоку, пока к небу не потянулся белый дым. Они снова жевали печенье и апельсины и тосковали о куске черного хлеба с солью и кружке чаю без приторного вкуса талой воды.

Потом они набросали у костра еловых веток, Зойка сняла пальто, разулась и влезла в спальный мешок. Она лежала тихо, не шевелясь, боясь задеть на ногах повязки.

Над головой висела пихтовая лапа, и от нее пахло морозом и хвоей, как от новогодней елки. От огня снег на пихте таял. Скользнув по хвое, капли с легким стуком падали на брезентовый мешок.

У костра Махоркин курил и говорил инженеру:

— Знаете, Тихонов, в авиации одно прощешствие приходится на двести миллионов километров полета. Это точно, по статистике. Есть же такие счастливики — налетают пять миллионов, и хотя бы царапина на крыле. А я не дотянул и до ста тысяч. Мечтал о реактивных, а не вышло даже извозчика.

Он снял пилотскую кожанку и сидел в темно-синем кителе со значком парашютиста и золотыми крылышками на рукаве — худощавый, белобрысый, симпатичный парнишка.

— А вы давно из училища? — спросил Тихонов.

— В прошлом году. Мне бы на тихих трассах начинать, а я попросился сразу сюда, на стройку. Очень хотелось в Сибирь или на целину. Что я, хуже других? Дали мне эту линию, самую легкую, Харитоновский проспект. Пока сам Харитонов отдыхает в Крыму. И вот вам результат, — вздохнул Махоркин. — Теперь пошлют карасей возить для рыбопитомников. А людей не доверят.

И Зойка лежала, и слушала их, и смотрела, как беспокойно мечется пламя костра и на снегу колышутся багровые тени.

Тихонов расстегнул воротник рубахи и с досадой потрогал щетину на подбородке — не любил быть небритым.

— Ложитесь спать, — сказал он Махоркину. — Потом я вас разбуджу.

— Нет,— ответил пилот,— мне еще нужно разобратся с почтой.

Пошарив в Зойкиной сумке, он вытащил пачку писем. Подмокшие конверты склеились, и Махоркину пришлось отделять их и сушить у костра. Письма были разные, с марками и без марок, доплатные, служебные, солдатские со штампом «Воинское». Были наглухо запечатанные сургучом плотные пакеты и простенькие почтовые открытки, неспособные хранить тайну. Откуда только не писали в Ключевой, хотя значился он пока только на местных картах.

Пилот подержал у огня почтовую открытку и вдруг негромко сказал:

— Милая моя Машенька...

Тихонов улыбнулся:

— Что с вами, Махоркин?

— Да вот,— смущенно ответил Махоркин,— так написано в этой открытке: «Милая моя Машенька...» — И, помедлив, стал читать вполголоса, с трудом разбирая чужой почерк: — «Милая моя, все думаю о тебе, люблю тебя, не могу без тебя, Машенька. Где это твой поселок? Его и на карте нет. Ты пишешь, что вокруг только тайга. Найду тебя и в тайге. Только скажи — да. Найду и на дне морском, только скажи — да...»

Зойка слушала, смотрела на огонь и с грустью думала, что таких слов Геннадий ей не писал. А ведь вот есть на свете такая любовь и такие слова — простые и удивительные. А твоя любовь какая: настоящая или как?

Впервые она подумала об этом с тревогой и прогнала от себя эту мысль.

— И подпись: «Твой Василий»,— дочитал открытку Махоркин.

Да, есть где-то такой человек, Василий. И любит он свою ключевскую Машеньку какой-то особенной любовью, хотя, по мнению Зойки, не было у них в поселке среди девушек ни одной такой необыкновенной. Прийти к нему и сказать: «Научи меня *так* любить, товарищ Василий. Я такая же обыкновенная, как твоя Маша. А как любят по-настоящему, не знаю. Расскажи мне, милый Василий, откуда у тебя такие слова. Ведь ты живой, ты не из книг — значит, так бывает и

в самом деле? Наверное, я еще просто не знаю, какая она, любовь...»

И Махоркин тоже задумался:

— Мне бы так научиться писать. Жена всегда обижается: скучно ты пишешь мне, Коля...

— Вот не думал, что вы женаты,— сказал инженер.

— Она еще учится в институте, в Ростове. Этим летом закончит и приедет ко мне. Я ей часто пишу, а она обижается, что коротко. А вы женаты?

— Не довелось,— улыбнулся Тихонов.

Пилот засмеялся:

— Вот не думал, что вы не женаты! Такой видный парень.

— Да понимаете, писем таких писать не умею,— рассмеялся и Тихонов.— Вот вы, Махоркин, как бы сейчас написали своей жене?

Махоркин подумал, подбирая слова:

— Ну... Ну, здравствуй, Оля, я жив и здоров. Случилась со мной одна неприятность, но о ней потом, когда встретимся. Целую и прочее.

— И все?

— А что еще? По-моему, все ясно — целую, скучаю.

— Да, небогато,— усмехнулся Тихонов и посмотрел на часы.— Ну, если все ясно, будем спать. Времени у нас совсем мало осталось. Разбужу рано.

Махоркин поворочался у костра на еловых ветках и уснул.

Туман рассеялся. Над островком было ясное, звездное небо. И Зойка, пригревшись, смотрела в небо и думала о том, что такие мохнатые, пылающие, голубоватые звезды бывают только весной и, наверное, только в тайге — их не увидишь в зареве больших городов. Было тихо, всходила луна. На горизонте, за кочковатым торфяником, куда лежал их путь, темнел лес.

— Послушайте,— прошептала она.

Тихонов обернулся:

— Вы не спите?

— Послушайте, а если мы опоздаем? Скалы взорвут?

— Конечно.

— И мы услышим?



— Даже увидим, вероятно.

— А вы уверены в своем проекте?

Инженер сказал сердито:

— Знаете что? Спите!

Она открыла глаза и зажмурилась — над розовыми снегами всходило солнце. Небо было бледно-голубое, морозное. Под елями еще дремали синие утренние тени.

Привалившись к костру, калачиком спал Махоркин. От тлеющих углей тянуло теплом. В золе стояла банка с горячей водой — с чаем.

А Тихонов сидел на корточках и умывался снегом. Лицо у него было совсем молодое, худощавое, с мягко очерченными скулами, спокойное и доброе. И Зойка с удивлением подумала, что он, наверно, ненамного старше ее, хотя вчера показался ей хмурым, озабоченным дядей. Она смотрела, как он протирает снегом лицо и шею, фыркает, смахивает с ресниц капли воды, расчесывает короткие черные волосы, застегивает воротник клетчатой ковбойки и все это делает с каким-то особенным удовольствием.

Но внезапно он насторожился и посмотрел в небо, прикрыв глаза ладонью.

Там, у горизонта, с комариным звоном тянулась тонкая белая нить.

— Самолет! — крикнул Тихонов. — Вставайте! Самолет! — И как сумасшедший он бросился к костру, швырнул охапку хворя и стал раздувать угли.

Из облака выплыла серебристая точка и постепенно обернулась самолетиком, который чертил дымчатый след в бледно-голубом весеннем небе.

Кое-как натянув унты, Зойка тоже стала раздувать огонь, в глаза сыпались искры и пепел, но пламя разгоралось нехотя.

— Эй вы! — крикнула она в небо и от дыма закашлялась. — Эй вы, люди, возьмите нас!

Махоркин, розовый от сна и мороза, тоже что-то кричал и бросал в огонь сучья.

И вот костер вспыхнул и с треском выбросил к небу сигнальное полотнище дыма и пламени. Черные клубы, словно сигналы бедствия, взлетели в морозный воздух. Да разве заметишь их с той немислимой вы-

соты — эти искры огня на болоте, слабые искры в необъятном океане тайги.

Самолетик тянул шлейф уже над ними. Это был Ту с его мягкими креслами, уютом, красивыми бортпроводницами и горячими завтраками. Он плыл там в темно-синем стратосферном небе. И где ему было приметить одинокий дымок костра на занесенном снегами болотистом пятачке!

Дымчатый след опускался за горизонт.

И Зойка подумала, что вот так в океане после шторма, разметавшего суденышки, пройдет у горизонта большой корабль и не заметит сигналов бедствия. Напрасно ему машут и кричат из полузатопленной шлюпки — огни уплывают. И потерпевшие крушение снова одни среди беспредельной тьмы моря и холодных брызг.

Но Зойка видела, что Махоркин провожает Ту совсем другим взглядом — без отчаяния за себя, а с завистью к тем, кто сидит там за штурвалом и сверку видит пестрый весенний ковер земли.

— На юг пошел, — вздохнул Махоркин.

— К синему морю, — сказала Зойка.

— Такого моря нет, — возразил Тихонов, улыбающийся. — Есть море Черное, Белое, Желтое, Красное. А Синего моря нет.

— А я хочу к синему морю, — упрямо сказала Зойка.

Апрельское солнце косматым шаром катилось к западу. Стихала капель, сумеречно синели снега, звонче ломался лед под ногами.

А сколько они ни вглядывались вдаль, до горизонта лежала безлюдная тайга — ни дымка, ни собачьего лая, ни самолета.

Днем совсем потеплело, но весна их не радовала — в каждой ложбине и рытвине под талым снегом хлюпала вода. С утра они еще выбирали дорогу посуше, а потом махнули рукой и шли напрямую, не чувствуя заледеневших ног, — лишь бы короче, лишь бы быстрее.

Только один раз они легли прямо в снег, не разводя костер, пожевали остатки печенья, пососали кусочки льда.

— Меньше суток осталось,— сказал Тихонов.

— Успеем?

— Хотя бы к вечеру дойти.

К вечеру подморозило. Мокрые ветки обметало льдом. Тусклое пепельно-розовое закатное небо.

— Ого-го-го! — кричали они в темнеющую тайгу.

Эхо безответно смолкало в распадках и скалах.

И снова они брели на северо-восток, шатаясь от голода и усталости, шлепая по застывающим лужам и увязая в глубоком снегу.

Никогда не думала Зойка, что апрельский снег может быть таким разным — поутру пушистым и легким, а в полдень липким и тяжелым, как глина, или жидким, как кисель; к вечеру рассыпчатым, словно сухой песок, или звонким, словно схваченная морозом земля.

Она ковыляла и старалась думать только о снеге. Но какой бы он ни был, каждый шаг в снегу отзывался нестерпимой болью. И, закрывая глаза, она уже не ощущала, идет ли по мягкому свежаку или жесткому льдистому-насту,— ногам теперь было все равно.

Запнувшись, она упала лицом в снег и осталась лежать, наслаждаясь покоем, сладким, как сон. Когда ее поднимали, ей хотелось крикнуть: «Оставьте меня, не трогайте!» Потом, отдышавшись, она испугалась, что разбила о наст лицо, и попросила зеркало. Тихонов достал из ее сумки зеркальце, дыхнул на него и стал протирать рукавом.

А Махоркин сел в снег под лиственницей и сбросил мокрую шапку.

— Наденьте шапку, простудитесь,— сказала ему Зойка, тяжело дыша.

— Вот так и Оля мне говорит — надень шапку, простудишься.

— Кто она, Оля?

— Жена моя... Оля..

— Да, ваша жена, Оля, я совсем забыла.

Зойка взяла у Тихонова зеркало. Из пластмассовой рамки на нее смотрели чьи-то усталые, лихорадочные глаза, чье-то лицо, мокрое от снега, чьи-то запекшиеся губы. Чужое лицо, чужое выражение глаз — тревожное, выжидающее: «Какая ты? Выдержишь?»

Она опустила зеркальце на колени.

Тихонов чиркнул спичку и жадно затянулся дымом папиросы.

— Знаете, ребята, о чем я думаю? — глуховато сказал он. — Иду и думаю, что трудновато нам будет строить дорогу в этих местах, по этим самым болотам, будь они прокляты. Природа-мама наворотила на трассе черт знает что, теперь исправляй ее ошибки. Скалы взрываем, долины засыпаем. А через год едешь поездом — сам удивляешься.

Махоркин дремал у лиственницы. И вдруг сказал, не открывая глаз:

— Через год и мы тут проедем в вагоне-ресторане, по этим самым местам. «А помните, мол, ребята, как ползли здесь на карачках?»

— Помним, Махоркин, — в тон ему с усталой улыбкой откликнулась Зойка.

Она встала, опираясь на палку, и Тихонов помог ей подняться — не жалел, не говорил слов, только посмотрел в глаза, и ей стало легче.

Пройдя десяток шагов, она оглянулась. Махоркин еще дремал у дерева.

— Коля! — позвала она.

Он открыл глаза и с удивлением оглянулся на сумрачную глушь тайги. Словно вернулся мыслями из далекого далека. Может быть, от жены, Оли, из тихого ростовского переуллка, где уже весна и пахнет клейкими листочками акаций. Или с высоты закатного неба, с воздушных дорог, где еще светит заходящее солнце.

Он догнал их и пошел рядом с Зойкой.

— Теперь уже близко, — сказала она ему. — Ну, выше нос, Махоркин!

Но она знала, что, упади она в снег, тот же Махоркин подхватит ее и, шатаясь, понесет в Ключевой.

Когда в изумрудном небе блеснула первая звезда, они вышли к речушке. Под обрывом желтела наледь. На отменях громоздились завалы деревьев. Зеленоватая вода, выгибаясь в промоинах, литой струей перемахивала через валуны. К берегу сползала каменистая осыпь.

Тихонов пошел искать переправу на тот берег, а Зойка свалилась на спальный мешок. Махоркин сидел рядом с ней. Речушка в поздних сумерках ворчала у самых ног. В ее бормотании и плесках было что-то знакомое. Вот так по вечерам шумит речка и в Ключе-

вом. На высоком ее берегу раскинулись бараки и домики. Уже темнеет, и, наверное, вдоль улицы зажглись фонари. Около клуба собирается народ. Все чего-то ждут, надеются, куда-то звонят, стоят кучками, вспоминают и жалеют Зойку. И никто, даже Геннадий, не знает, что в эту минуту она сидит у другой речушки и слышит, как бормочет на перекатах быстрая вода.

— Идите сюда! — донесся издали голос инженера.

Махоркин поднялся, докуривая сигарету.

— Послушайте, а мне можно? — спросила Зойка.

Она затынулась окурком, обожгла губы, закашлялась.

— Вот дрянь!

— Но отбивает аппетит, — усмехнулся Махоркин и взвалил на плечи спальный мешок.

— Вот не сказала бы, — проворчала Зойка и поплелась по берегу.

Тихонов ждал их у старой лиственницы, которая лежала поперек русла. В сумерках белели ее сухие сучья, и она была похожа на огромную рыбью кость.

Первым перешел на тот берег Махоркин. Потом Тихонов размахнулся — и спальный мешок, перетянутый ремнем, упал в снег на другой стороне.

— Теперь идите вы, — сказал он Зойке.

Ей пришлось продирается сквозь сучья боком, и она медленно двигала опухшие ноги.

Когда она дошла до середины, за ней двинулся Тихонов.

Он слишком поторопился и сделал ошибку. А может быть, плечистый инженер был слишком тяжел для этой гнилой валежины.

Верхушка лиственницы с треском обломилась и по снежному откосу сползла к самой воде. Тихонов успел схватиться за сук и повис. Ноги болтались в быстрине, вода захлестывала за отвороты охотничьих сапог.

Он стал подтягиваться, стараясь не двигаться резко и не обломить гнилое дерево. И тут он увидел, что по стволу между сучьями к нему ползет Зойка, тянет руки и кричит ему что-то, неслышное из-за шума воды. Он крикнул, чтобы она уходила, но дерево уже не выдержало, затрещало, накренилось к воде, и, ломая сучья, Зойка повалилась на Тихонова.

Он едва успел подхватить ее за пальто, и они вместе сорвались в ледяную воду.

Их сразу понесло и ударило о камни. Захлебываясь, Зойка судорожно хваталась за инженера, мешая ему встать на ноги. Тогда он оторвал ее от себя и вытолкнул на лед.

Было мелко, едва по пояс Тихонову, но весенний поток сбивал с ног. Он бросился плашмя на тонкий лед и потянул за собой Зойку, не слишком соображавшую, что с ней происходит. До берега было несколько метров.

Они с Махоркиным вытащили Зойку на обрыв и помогли ей взобраться по каменистому склону, пока не упали в снег под кедрами.

С нее сразу сорвали мокрое до нитки пальто и укрыли кожаной курткой Махоркина, а потом засунули в спальный мешок. Тихонов тоже сбросил ватник, с которого текла вода, и в одной мокрой рубашке и ватных штанах вместе с Махоркиным бешено врубился в чашу. Ногтями и перочинным ножом они срывали с берез кольца бересты и ломали сухие сучья. А топорик с железной ручкой остался где-то на дне речушки.

Потом костер полыхал так, что вокруг обугливались ветки кедров. Пламя с ракетным ревом рвалось в фиолетовое звездное небо.

Зойка в спальном мешке разделась, стянула с себя все мокрое и отдала Тихонову. Он развесил ее одежду у костра и спросил:

— Все сняли? Ладно, не стесняйтесь. Никто вас не увидит. Хуже будет, если простудитесь.

— Нет. Остальное сухое,— она покраснела.

— Как хотите.

В спальном мешке было очень холодно, и, закрывшись с головой, она старалась скорее надышать тепло и растирала опухшие, ледяные ноги. Постепенно мешок нагрелся, но не от ее дыхания, а от костра. Даже немного запахло паленым.

Она откинула брезентовый козырек и высунула голову. Жар костра опалил лицо, но это было даже приятно.

Тихонов в мокрых трусах и кожанке пилота сидел на корточках у огня и сушил сверток с чертежами. На ветке пихты были разложены Зойкины докумен-

ты — паспорт, служебное удостоверение и комсомольский билет с расплывшимися от воды лиловыми штампами «Уплачено».

Тихонов разлепил листки ее паспорта, и оттуда выпала любительская фотография.

— С кем это вы здесь? — спросил он Зойку.

— С женихом.

Он помолчал и сунул карточку обратно в паспорт.

— Дайте мне пить, — сказала она.

Он снял с огня и подал ей черную от копоти консервную банку. Обжигая губы, она глотала кипяток и нерешительно поглядывала на Тихонова, чувствуя себя в чем-то виноватой. Он сидел перед ней на корточках, с голыми коленками, посиневший, продрогший. Лицо у него осунулось и потемнело, словно разом выступила усталость всех этих дней и ночей.

— Знаете что, — робко сказала Зойка, — лезьте сюда в мешок. Я уже согрелась.

— Не выдумывайте. Ваша одежда еще не высохла.

— Тогда уместимся вдвоем. — Она улыбнулась бескровными губами. — Мешок большой, а я маленькая. Только что-нибудь надену. Дайте кофточку и чулки, они уже просохли.

Махоркин тоже сказал ему, чтобы он не раздумывал и лез в мешок, иначе простудится.

— Ладно, пусть будет по-вашему, — бессильно пробормотал Тихонов посиневшими от холода губами.

Он снял кожанку и втиснулся в мешок, повернувшись спиной к Зойке. Большой, замерзший, в мокрых трусах и мокрой ковбойке, он старался не прикасаться к ней, но это было невозможно, и она ощущала, как дрожит его холодное, мускулистое тело. Судорога сводила его плечи. Зойка осторожно повернулась к нему и ласково провела пальцами по щетинистому подбородку.

И может быть, от ее тепла Тихонов вытянулся в мешке и затих.

— Ну как ты, согрелся? — шепотом спросил его Махоркин.

Не открывая глаз, он пробормотал:

— Коля... Там мои бумаги, спрячь, как бы не сгорели...

— Спрячу. Ты спи.

И Тихонов уснул. Потом Зойка потрогала его лоб — горячий. Только бы не заболел! Она подняла над его головой ладошку — не капает ли вода с кедра. Прислушалась — он дышал спокойнее. Впервые она была так близко к мужчине, но стыда не испытывала — будто так и должно быть. Повернись он к ней, обними, нисколько бы не испугалась. Она с какой-то верой к нему согревала своим теплом его вздрагивающее во сне сильное и беспомощное тело. Даже перед Махоркиным ей не было стыдно — будто она и Тихонов были совсем одни под мерцающими апрельскими звездами.

А Махоркин нагнулся к ним и спросил:

— Спит? Сильный мужик. Мужик что надо.

Нравилось Махоркину это крепкое словечко — мужик.

Он снял с ветки просохшее Зойкино пальто — закорюзлую тряпку, прожженную у костра до дыр.

— Пропало пальтишко, — сказал он с огорчением. — Да вы не беспокойтесь, вам выплатят страховку, купите новое.

— Пальто не проблема. У вас, наверное, неприятности будут серьезнее.

— Конечно, — вздохнул он. — Пиши теперь рапорты. В отряде не посмотрят, что живыми выбрались. Подумаешь, геройство — не врезался в листовенницу. В авиации теперь кто герой? Спросите у главбуха. Крутанет арифмометром — и все ясно: у Иванова на каждый километр гривенник экономии, у Петрова — пережог горючего. Иванова — на доску Почета, а Петрова — к пилоту-инспектору на выволочку.

Пилот с тоской посмотрел на звездное небо:

— Что же вы не летите, ребята? Ладно, буду писать рапорты!

И Зойке вдруг захотелось плакать от грустной, шемящей сердце нежности: никогда не забудутся ей эти дни и ночи, и туманные сопки, и зеленватые апрельские закаты, и последняя крошка печенья, и капли крови на снегу, и голубоватые звезды в небе, и руки друзей. «А помните, ребята, как ползли по тайге на карачках?» Помню, Махоркин. И тебя, Коля Махоркин, тоже никогда не забуду.

Если останусь жива...

Жива?



А кто болтает о смерти? Даже тайге трудно убить человека, если он сам этого не захочет.

И ей вспомнился фильм: люди бедствуют в тундре и убивают себя, надеясь так спасти товарищей. Поодиночке они уходят навсегда в ледяную ночь. Уходит и героиня с челкой. И ей представилось, что вот и она, Зойка Макарова, потихоньку выползает из спального мешка и на опухших ногах ковыляет в занесенные снегами буреломы. И там лежит и покорно ждет смерти. А на рассвете Махоркин и Тихонов кружат по тайге, кричат: «Зоя, Зойка!» — шатаются от голода и ругают ее последними словами, дуру набитую!

Нет, не будет она такой, как та, в кино, с челкой, — последний из них тоже замерз один в тундре. Все они погибали в одиночку. Одиночество отнимало у них последние силы. И помни: никогда не оставляй человека одного, если он тебе дорог.

Она лежала тихо-тихо, боясь потревожить Тихонова. Руки у нее затекли, но она берегла его сон. Еще вчера она возмутилась бы, увидев себя полуодетой рядом с чужим человеком. А сейчас она спокойна. Что-то менялось в ней, и она не знала, хорошо это или плохо.

Ей снова вспомнился последний вечер в подмосковном домике с абажуром и гудками электричек. Толстенькая Поля привела ее в тихую комнатку: старенькая деревянная кровать, стол у окна, диван, покрытый ковром, и золотые корешки книг за стеклами дедовского шкафа. Поля осторожно спросила Зойку:

— Вам с ним в одной комнате постелить?

— Что вы! — вспыхнула Зойка.

И Поля, Геннадиева сестра, долго извинялась перед ней.

Видела бы она Зойку сейчас — вежливая Геннадиева сестра!

И никогда Зойка не расскажет Геннадию об этой ночи в тайге, о том, как своим телом она согревала этого человека. Геннадию лучше об этом не говорить — он не поймет. Или только сделает вид, что понял, и навсегда затаит недоверие.

Вдруг Тихонов повернулся к ней и положил руку ей на плечо. Ей стало страшно. Маленькая, беззащитная, полуголая, она затаила дыхание около грузного мужского тела.

Но Тихонов спал, сраженный усталостью.

В неярком свете костра она близко видела его лицо, незнакомое, обросшее щетиной, с резкой складкой на переносице, морщинками у закрытых глаз и обожженными морозом черными скулами. Она смотрела на него не шевелясь, не дыша, словно увидела его впервые в жизни.

На рассвете, сонная, она выползла из мешка. Тихонов крепко спал и даже не пошевелинулся. Она зябко повела плечами. Было холодно, костер догорал и дымил. В сыром тумане темнели деревья, далеко внизу глухо шумела речка.

Махоркин спал у костра на еловых ветках. Она потихоньку укрыла его своим пальто. Он спал по-детски, калачиком, улыбаясь своим сладким сном.

Она сняла с рогатины просохшую юбку, набросила себе на плечи и стала раздувать костер. Пока не занялся огонь, ей было очень холодно. Потом она осторожно натянула унты. Повязки на ногах засохли и почурились ржавыми разводами. А что было под обрывками косынки, Зойка старалась не замечать, только сопела от боли, когда натягивала на ноги заскорузлые от воды, гремящие, как жель, собачьи унты.

Присев у костра, она умылась снегом, не спеша застегнула каждую пуговку, одернула и разгладила каждую складку, расчесала волосы.

Потом вытащила из огня консервную банку с кипятком и бросила в нее последнюю, засохшую дольку апельсина, — вот и вся их еда, хотя уже кружилась голова от голода.

Светало, и туман таял. Она в последний раз оглядела себя и свое маленькое хозяйство — пора будить мужчин, все ли в порядке, хозяйка?

И тут за ее спиной грянул выстрел.

Она резко обернулась. И сейчас же с раскатистым эхом там прокатилось еще два выстрела: где-то далеко за сопкой, в тайге.

— Тихонов! — закричала она. — Тихонов, там стреляют!

Она изо всех сил трянула его за плечи. Он сразу проснулся и выскочил из мешка, как был — в трусах и ковбойке.

— Где стреляют?

— Там, в той стороне!

Поднялся заспанный Махоркин — розовый, белобрысый, с синими глазами юнца.

— Что случилось?

— Там кто-то стреляет!

Тихонов сложил ладони и закричал:

— Ого-го-го!

Эхо откликнулось позади, за речкой, в скалах.

— Эге-ге-гей! — закричал пилот.

— Ау-у! — отчаянно крикнула Зойка, приподнявшись на цыпочки.

Из скал ей ответило тоненькое, писклявое эхо и утонуло в глухом шуме речушки.

— Я действительно слышала! — чуть не заплакала Зойка. — Вон в той стороне, за сопкой.

И там вдруг опять громыхнул выстрел.

— Я же говорила! — крикнула Зойка.

— Ого-го-го! — заорал Тихонов, прыгая по снегу на одной ноге и натягивая ватные штаны. — Ого-го! Махоркин, хватай мешок!

Через минуту они уже бежали туда, к сопке, затянутой туманом. И, спотыкаясь, Зойка кричала отчаянным голосом:

— Люди-и-и! Эй, люди-и-и!

В тумане они с разбегу ухнули в низину, в жидкую кашу воды и снега, и только тогда Зойка вспомнила, что не надела свои резиновые боты — они так и остались у костра. В унты хлынула ледяная вода, ноги замели. Но боль утихла, и бежать стало легче.

В густых зарослях ельника она споткнулась, упала в снег, и Тихонов тут же подхватил ее:

— Зоя, еще немного! Зоя!

Махоркин обогнал их, исчез в тумане и вдруг крикнул оттуда:

— Нашел! Скорей сюда!

Они выбежали из ельника на пустынный косогор.

— Смотрите! — сказал Махоркин, едва переводя дыхание.

Между редкими лиственницами петлял лыжный след. Свежий, еще не подтаявший широкий след охотничьих камысных лыж, подбитых шкурой лося, — на них легко идти и в мороз и в оттепель, и звери не слышат их бесшумного хода.

На снегу вилась и цепочка собачьих лап.

Они стали кричать вслед охотнику, но голоса глохли в морозящем тумане. Было тихо, в ельнике с шорохом пробегали капли и шлепались в зернистый снег, усыпанный зелеными иглами. Тогда они бросились по лыжному следу.

У охотника был верный, опытный глаз — он выбирал для себя самый прямой и легкий путь по весенней тайге.

На камысных лыжах он легко бежал по распадкам и болотистым низинам, где еще был глубокий снег.

Охотник, словно нарочно, выбирал самую трудную дорогу для тех, кто шел за ним пешком.

И, боясь потерять его след, они брели через болота напрямик, по колено в тающем снегу.

А весна обгоняла их и спешила слизнуть даже этот случайный человеческий след — он еще держался в распадках на синеватом твердом снегу, а на открытых местах его быстро смывали ручьи.

Не раз они падали в снег и отдыхали минуту-другую. Охотник же бежал на лыжах без остановок.

Не выдержав, наконец они остановились.

В теплом, влажном тумане над тайгой уже поднимался багровый шар солнца.

— Все! Крышка, ребята! — хрипло сказал инженер. — Теперь уже не успеем, поздно!

Да, теперь его спасло бы только чудо. Но чуда, конечно, не будет. И ровно в полдень тайга загудит от взрыва, и все будет кончено.

Вздрогнут сопки, тугая волна качнет кедры и лиственницы. Осыплется снежная пыль. Метнутся в чаще звери, взлетят к небу птицы.

Эхо пройдет, как первый весенний гром.

И во всех селах, на рудниках и аэродромах, на зимовьях и в райцентрах люди услышат раскатистый гул:

— Вот это рвануло на дороге!

Но его, инженера Тихонова, нет на дороге. Никто не знает, где он и что с ним. И кто-то уже распоряжется за него, подписывает наряды и сводки, вызывает прорабов и бригадиров — жизнь продолжается. Взошло над землей солнце, на просеках режут тягачи, рельсы опускаются на свежую насыпь, горят костры, падают деревья, звонят телефоны, дымят походные

кухни, ползут по гатям самосвалы. И это — сама жизнь, и она сильнее всего на свете.

Жизнь идет, и на добрую сотню километров растянулся муравейник дороги. И кто-то там вместо Тихонова уже отдает приказ — всем покинуть зону взрыва.

Протяжно воют сирены: «Всем — из опасной зоны!»

И жизнь пойдет вперед, если даже они обессилеют, упадут и не встанут с мокрого снега.

— А может быть, еще успеем, ребята? — хрипло сказал Тихонов. — Может быть, еще дойдем?..

След петлял по тайге, пока не вывел их к озеру у подножия сопки. Ослепительно сиял снег, чуть тронутый апрелем.

На берегу под лиственницей стояла приземистая бревенчатая избушка. Едва заметная тропа спускалась на лед, к проруби.

Они остановились, переводя дыхание.

Зимовье издали пилялось на них подслеповатым окошком. Темные от старости бревна обросли мохом. С крыши свисала бахрома сосулек. Узкий проход вел сквозь сугробы к низкой двери.

Это была темная избушка из полузабытых детских сказок. Но из трубы не вился дымок, под деревом не лаяла собака.

— Эй, кто там есть? — крикнули они издаля.

Черная, низкая дверь не отворилась, никто не вышел им навстречу.

Махоркин не выдержал и побежал к зимовью, проваливаясь в снег. Тихонов и Зойка стояли и смотрели, как, добежав до избы, он стал кулаком стучать в дверь. Ему не открыли. Он повозился с запором и толкнул дверь плечом. Войдя, он оставил дверь открытой.

Минуту спустя он с порога махнул им рукой. И по его усталому жесту они поняли, что в зимовье никого нет и что они опять одни в этой стылой, неприятной тайге.

— Сколько на ваших? — спросил Тихонов.

Зойка посмотрела на свои часы:

— Половина двенадцатого.

— А у меня без двадцати. Хотя теперь все равно.

Они медленно побрели к зимовью. Солнце пригревало. Пахло хвоей, талым снегом, весной. И странно

было Зойке идти вот так не спеша, не задыхаясь, не падая лицом в наст. Казались каким-то тягучим и медлительным сном осторожные, вялые шаги.

— Вы очень устали, Зоя? — спросил Тихонов.

Раньше не спрашивал, легко ли ей было ковылять по гнилым чашобам. А когда все кончилось, вдруг стал добрым.

— Вам не очень больно идти? — спросил он.

И она ответила, тоже не таясь:

— Очень...

Она даже не отвернулась, когда по щеке пробежала слеза: теперь пусть видит, теперь все равно.

— Совсем весна, — сказал он.

— У нас в Воронеже скоро степь зацветет. А тут еще снег.

— Сибирская весна дружная: сегодня в снегу, завтра в цвету.

— Я знаю, второй год в Ключевом. А вы сибиряк?

— Из Иркутска я. Вы у нас на Байкале бывали?

— Нет, еще не добралась.

— Приезжайте в гости, повезу на Байкал; там такая красота — ахнете.

— Приеду когда-нибудь.

Они постояли немного, щурясь солнцу.

— Пошли дальше? — спросил он осторожно.

— Только потихоньку, мне больно идти. Меня совсем качает.

— Это от голода. Держитесь за меня. Может быть, в избушке найдем пожевать. Эй, Махоркин, как там?

С порога Махоркин крикнул, что охотник ушел недавно — печурка еще теплая. А на столе оставил спички и соль.

— Плохо наше дело, — сказал инженер. — Если он оставил спички и соль — значит, совсем ушел с зимовья, до лета. А припасы оставил другим, по обычаю.

Они подошли к избушке. Маленькое, в одно бревно, оконце сияло радужно старинным, выгнутым бутылочным стеклом. У двери валялся чурбан, порубленный топорами.

Зойка перешагнула высокий порог и вошла в теплый сумрак с застоявшимся запахом пыли, старого дерева, овчины. Внутри зимовье было совсем тесное, с земляным полом и низким потолком из закопченных бревен. В печурке еще тлели угли.

Потом она рассмотрела в углу широкие нары, прикрытые соломой и рваным полушубком. Она сняла пальто, легла на солому, и все вокруг нее закачалось. Она закрыла глаза, вытянулась и затихла.

Кто-то стал стягивать с нее меховые унты.

— Я сама...— шевельнулась она и натянула на колени юбку.

— Лежите! — строго сказал Тихонов.

Он снял унты и пальцами коснулся ее забинтованных ног. Она подумала только, что, наверное, ступни у нее страшные — опухшие, в мокрых тряпках.

— Да-а, не взяли мы из самолета бинты. Кто знал, что так случится,— хмуро сказал Тихонов и набросил ей на ноги свой ватник.

Она открыла глаза и увидела его лохматую голову и впалые щеки. За каких-нибудь три дня лицо у него стало темным, худым, губы опухли и запеклись кровью.

— Вы не виноваты,— шепнула она.— Я знаю, вы сделали все, что могли...

А Махоркин тем временем разжег печурку и разыскал в углу придавленный камнем солдатский алюминиевый котелок с горбушкой хлеба и куском сала в чистой холстинковой тряпиче — традиционный дар всем голодающим и замерзающим, которые вот так, как они, набредут на зимовье.

Махоркин разложил хлеб и сало на столе и обмакнул палец в крупную серую соль.

— Деликатес, ребята! Особенно после-всяких цитрусовых.

Он схватил котелок и выскочил наружу за водой.

Печурка разгорелась, на низком потолке зимовья плясали отблески огня. Сквозь пузырчатое стекло в оконце лился зеленоватый свет.

Тихонов сидел на лежанке около Зойки, поглядывал на часы и прислушивался.

— А мы услышим взрыв? — спросила она.

— Еще как! — сказал он.— Ну, если там ничего не изменилось, скоро грохнет. Через несколько минут. И тогда напрасно мы торопились.

В тягостной тишине зимовья тикали часы и тенькала капель за оконцем.

В печурке гудело пламя. За бревенчатой стеной

прошумел ветер. Со звоном разбилась у порога сосулька.

Каждый шорох и шелест вокруг них заставлял напрягаться.

Где-то в тайге глухо грохнула с дерева снежная лавина.

— А если взрыва не будет? — шепнула Зойка.

— Тише!..

Тр-р-ах! Но это не взрыв — на озере с треском осел весенний лед.

За зеленым оконцем журчал ручей.

И вдруг в дверь с котелком воды ворвался Махоркин — голодный, грязный, худой, с лихорадочными и немного сумасшедшими глазами, неунывающий и возбужденный:

— Эх и погодка мировая, летная, ребята!

Тихонов вскочил с лежанки:

— Тише ты!

Пилот подошел к нему на цыпочках, спросил шепотом:

— Плохо ей?

— Да нет, я о другом, — нетерпеливо ответил Тихонов. — Послушай, Коля, ты чего-нибудь слышал? — Он вытащил из-за пазухи сверток чертежей и нагнулся к оконцу. — Ну что там у них случилось, почему не взорвали? Опять из-за этих бумажек? — Инженер тревожно зашелестел кальками.

И Зойка знала, что уже кончились те бездумные, тихие и по-своему счастливые минуты, когда можно было просто лежать в теплом полумраке зимовья и не двигаться и ни о чем не думать. Эти минуты кончились.

Махоркин нарезал хлеб и сало маленькими кусочками и снял с огня котелок с кипятком.

— Подожди, дай сюда воду, — хмуро сказал инженер, швырнув на стол кальки. Стянув с себя клетчатую ковбойку, он снял майку и, голый по пояс, разорвал ее на полосы. Потом сбросил с Зойкиных ног ватник, плеснул на ладонь воды из котелка и стал отмачивать присохшие лоскутья шелковой косынки.

— Больно? — спросил он.

— Немного больно, — она прикусила губу.

Поднявшись на локте, она увидела синеватую гляцевую кожу своих ног.



— Плохо мое дело,— сказала она.

Тихонов рассердился:

— Лежите и не болтайте!

Она откинулась и закрыла глаза:

— Из вас выйдет первоклассная няня.

— Еще бы — такое дитя на руках,— буркнул он.

Нагрев у печурки кусочек сала, он смазал жиром воспаленную кожу. Ей стало легче, боль утихла. Тихонов обмотал лодыжки самодельными бинтами и прикрыл ноги ватником.

— Спасибо, Тихонов.

— До свадьбы заживет. Скоро у вас свадьба?

Она отвернулась:

— Не знаю.

— Меня хоть пригласите,— сказал он жестковато и стал надевать ковбойку.

Она ничего не ответила.

— Не сердитесь, Зоя,— сказал он мягче.

— Что на вас сердиться, Тихонов,— устало сказала она.— Ведь вы ничего не знаете.

Она замолчала, а он немного растерянно посмотрел на ее запавшие щеки и худенькие девичьи плечи в красной шерстяной кофточке. Хотел что-то сказать, но не решился.

Потом они втроем съели по кусочку сала и черствого хлеба, посыпанного серой солью, и выпили горячей воды без привкуса талого снега. Но и еда не радовала, не снимала заботы — что делать дальше?

Зойка уснула. А когда она проснулась, в зимовье никого не было, печурка догорала, сквозь зеленоватое оконце пробивался солнечный свет.

За дверь у порога негромко разговаривали мужчины.

— По карте тут километров пятнадцать,— сказал пилот.— Вот, у озера, наше зимовье. А вот Ключевой. День ходьбы.

После томительной паузы она услышала голос Тихонова:

— А как же с ней?

Зойка затаила дыхание. Но за дверь было тихо, звенела капель. Потом Махоркин спросил:

— Вообще-то, она как?

— Пока держится.

— Девка стоящая.

— Да, другая бы на ее месте...

Опять они молчали, шелестели бумагами.

— Взорвали бы, и все ясно! — со злостью сказал инженер. — Гадай теперь, что у них там стряслось: взрыв отложили или решили принять наш проект.

— Но все документы у тебя.

— Проект в главных чертах им известен. Дело там несложное, давно бы надо было утвердить. А новые расчеты можно сделать за две недели. Нажать — за неделю. Лучше потерять сейчас неделю и выиграть потом месяца два. Дорога в Ключевой вот как нужна!

Пилот сказал вполголоса:

— Мы за сутки бы добрались, это точно. Правда, олененок уже маловато, я совсем выдохся.

— Мы бы с тобой добрались. А она?.. На троих один кусок хлеба.

И опять за дверью томилась, молчала.

А Зойка лежала и смотрела в закопченный потолок зимовья. Наконец, вздохнув, она осторожно опустила на пол забинтованные ноги. Ничего, стоять можно. Можно и ходить, хотя и шатает от голода.

Она подбросила в печурку дров и поставила котелок с водой.

За дверью услышали, что она бродит по избушке, и притихли. Сидели и ждали, когда она управится со своими делами и позовет.

Расчесывая перед зеркальцем волосы, она с любопытством оглядывала зимовье.

Под низким потолком висела старая «летучая мышь» с треснувшим стеклом. Из щели в бревне торчал голубой конвертик бритвенного лезвия «Матадор», на котором был нарисован человек со шпагой. В углу под нарами лежало рваное кавалерийское седло, на окошке — разбитая радиолампа и высохшая заячья шкурка.

Много людей прошло через таежную избушку. И каждый оставил в ней свой след: кто «летучую мышь» с закопченным стеклом, кто свой старый полушубок, кто голубые конвертики с испанскими матадорами.

И Зойка с грустью дотрагивалась до этих вещей, напомнивших ей о ярком и шумном человеческом мире где-то за этими бревенчатыми стенами — о мире радиоламп, книг, телевидения, высоких зданий, аэро-

дромов, асфальтированных мостовых и чистых постелей, о мире, так не похожем на все то, что она переживала здесь в эти минуты.

Подумав, она сняла с себя красную шерстяную кофточку. Срезала белые пластмассовые пуговицы и горкой сложила их на окошке.

Вот и она оставила свой след в избушке. Придет сюда какой-нибудь лесной человек и подумает: откуда это в таежном зимовье женские фигурные пуговицы, что тут происходило? И никогда не догадается, что Зойка отрезала их от красной кофточки, разорвала кофточку пополам и сделала себе сухие шерстяные портянки.

Когда все было готово и в котелке закипела вода, она присела на лежанку, сложив руки на коленях, наслаждаясь уютом, теплом, крышей над головой.

В оконце светил солнечный луч, и пылинки плыли в нем лениво, по-домашнему. На земляном утопанном полу лежал светлый квадратик.

Она позвала мужчин. Они открыли дверь и вошли.

И, привыкнув к полумраку, увидели, что спальный мешок уже свернут и перетянут ремнем, в избушке все прибрано и на чистом столе готов котелок с кипятком — по глотку на брата перед дорогой. А сама Зойка сидит умытая, затянутая, причесанная, как хорошая хозяйка, которая собралась в дальний путь.

— Я все собрала,— сказала она.— Дорогу вы знаете?

Тихонов подошел к ней:

— Зоя!

— И не будем терять времени,— сказала она ему, чуть улыбнувшись.

Инженер посмотрел на нее, как удивленный мальчик, увидевший вдруг сказочную принцессу.

— Ладно,— пробормотал он, трогая щетину на подбородке.— Мне бы только побриться.

Спроси ее неделю назад: «А тысячу верст по тайге пройдешь?» — она бы пожалала плечами: глупый вопрос, я же не следопыт.

А теперь ковыляла тысяча первую таежную версту и думала, что вот так бывает частенько: страшно, пока еще непривычно, пока все издали, пока не потро-

гаешь на ощупь, не окунешься с головой. А выплывешь — и ничего, жить можно.

Иногда просто еще не знаешь, что ты можешь. А потом тебя трясет от радости: вот что ты можешь!

И хотя ее качало от голода, ей казалось, что идти теперь легче, чем в первый день.

А силы у них таяли, и тайга была скупа на угощения. Попадались только водянистые ягоды клюквы или кедровая шишка с единственным зернышком, забытым осенью птичкой кедровкой.

Они старательно жевали пресные ягоды и шли дальше. Иногда впереди в чаще светлело. Им думалось, что это уже просека на Ключевой. Но это было просто болото или прошлогоднее пожарище.

Погода портилась, сопки заволокло туманом. Они долго и мучительно поднимались в тумане по какому-то крутому склону, по скалистым осыпям, заросшим кустарником и елями.

Зойка ковыляла за Тихоновым, за его сапожищами с мушкетерским раструбом и у него училась ребром ставить ступни на скользких осыпях и с самыми малыми потерями продираться через заросли кустарника.

Вершина сопки была уже близка, сквозь туман начинало просвечивать солнце, как вдруг Махоркин отчаянно закричал:

— Вертоле-е-е-т!..

Справа, из тумана, к ним донесся гул и треск, мало схожий с обычным шумом самолета. Металлический звон все громче плыл над елями.

И не успели они опомниться, как уже по всей тайге разбегалось и грохотало эхо и с веток сеялась водяная пыль.

Они бросились туда, к вертолету, но он уже двигался им навстречу и огромной тенью пронесся над ними в тумане, обдав бешеным вихрем хвои и мокрого снега. Они закричали вслед ему.

И еще раскачивались макушки елей и сыпалась на землю хвоя, когда вертолет развернулся и полетел обратно.

В тумане на них плыла тень с радужным диском широких лопастей. Все трое видели даже, как вспыхивают блики солнца на полированных стенках кабины.

Там, над туманом, светило солнце, там было синее чистое небо, люди, товарищи, спасение. Их разделяло только несколько метров, только пелена тумана.

А внизу шатались от вихря деревья, хлестал в лицо снег, мелкие сучья, хвоя. Задыхаясь от ветра, они все трое кричали и смеялись, как помешанные, — они были уверены, что их заметили.

Но вертолет, гремя лопастями, уплывал от них вдоль сопки.

Еще не веря этому, они бежали за вертолетом, пока Зойка не сорвалась в глубокую яму, занесенную снегом. Тихонов бросился ей помогать.

А Махоркин обогнал их, прыгая через валежины и отчаянно размахивая шапкой.

Тихонов вытащил Зойку из снега и крикнул, что нужно успеть разжечь костер. Он ломал и швырял ей кору и ветки, но все пропиталось сыростью, и, плача от дыма, Зойка ползала на коленях вокруг костра и изо всех сил раздувала чахлый огонек.

Вертолет опять летел к ним, и на минуту они снова поверили в свое спасение.

А хвостатая тень с треском пронеслась прямо над ними и, как свечу, загасила костер: тлеющие ветки подхватило вихрем, они разлетелись и, шипя, угасли в снегу.

Когда все стихло и осела снежная пыль, они стали звать Махоркина. Он не откликнулся. Под елями было тихо, сумрачно, промозгло.

— Махо-о-о-рки-и-и!

Тихонов сказал, что пойдет его искать. Но Зойка боялась оставаться одна в этом глухом, морозящем сумраке. Они вместе побрели по склону сопки.

Тревожась, они долго ходили по снегу и звали Махоркина, пока не увидели его под обрывом.

Он сидел в снегу у скалы и мотал головой. На лбу у него был здоровенный синяк.

— Улетел, подлец! — хрипло ругался Махоркин. — Ни черта не слышу, свалился с этого дурацкого камня. В голове гудит. — Прихрамывая, он подошел к ним: — Спальный мешок у вас?

Он помнил только, что, когда бежал к вертолету, мешок бросил около елки. Да разве ее найдешь — в тумане все елки, как близнецы.

Они поискали было мешок, но потом решили, что

только зря теряют время — до Ключевого рукой подать и они будут ночевать под крышей.

А сил у них едва хватило к вечеру добраться до вершины сопки.

Под скалистым обрывом до горизонта темнела тайга с островками снегов и туманов. Дул ветер, угасала зоря. Силуэтами стояли мохнатые кедр.

В зеленоватом чистом небе мерцала звезда.

Тайга была пустынна.

Они без сил свалились у обрыва под кедром. Зойка лежала на земле в унтах и заскорузлом, прожженном у костров пальто. Махоркин поднял воротник кожаной куртки и свернулся клубком.

Потом Тихонов разжег костер. Языки пламени с треском полоскались на холодном ветру. Зойка сняла унты и развернула мокрые лоскутья своей бывшей шерстяной кофточки.

Когда в котелке закипела снеговая вода, Тихонов протянул его Зойке.

— Сначала ему,— шепнула она.— Раскис он что-то.

Махоркин проворчал из-под кедра:

— Не раскис, а устал. Попробуй рубать дорогу в этих джунглях на пустое брюхо.

Инженер усмехнулся:

— Это тебе не в синем небе. Это, батенька, земля, и она требует большого пота.

Пилот, устало улыбаясь, подвинулся к костру:

— Ладно, землепроходцы, дайте воды хлебнуть, пить хочется. Земля, она, правда, большого пота требует.— Он выпил кипятку, отдышался и задумчиво посмотрел на костер.— Ребята,— вдруг сказал он,— а какого цвета огонь?

И оказалось, что прежде они никогда не задумывались — а какого же цвета огонь? Оранжевого, бордового или желтоватого? Его рисуют красным, а он все время меняет цвет и переливается всеми оттенками желтого, синеватого, даже зеленого. Из раскаленной его пасти вдруг вырвался рыжий клочок с черными завитушками дыма и сажи.

Они сидели у костра, шурились на огонь и спорили о его цвете — усталые люди с голодными глазами.

И Зойка знала, что для нее это на всю жизнь: отныне в каждом пламени ей будет видеться этот костер под звездами, и пустынные таежные сопки вокруг, и глаза товарищей с упрямым, беспокойным блеском.

С детства она знала: огонь красный. А у него, оказывается, тысяча цветов и оттенков, и она вдруг сама это увидела.

Наверное, многое вокруг кажется одного цвета, пока не увидишь мир своими глазами.

Может быть, и любовь свою нужно увидеть своими глазами, а не спрашивать встречных: скажите, какая она, большая любовь?..

На обрыве дул ветер, руки у Зойки замерзли. Она сунула их в пальто и вдруг нащупала там узелок и вспомнила — это же апельсиновые корки, которые она припрятала для Геннадия! Она обрадовалась, поделилась с мужчинами, и они пожевали кисло-сладкие корочки. Зойка улыбнулась, припомнив, как старательно заворачивала их в чистый носовой платок. Ну и заботы были у той девчонки — как бы приготовить милому настойку к празднику.

Она прилегла на еловые ветки, спрятала руки в рукава пальто. Над ней было холодное звездное небо. Вероятно, от ветра, от голода и бессонницы мысли были удивительно быстрые и четкие. Она думала о том, что завтра увидит Геннадия и что ее это не очень волнует, и безжалостно усмехнулась над той девчонкой, которая прятала для него апельсиновые корочки. Над той хрестоматийной, образцово-показательной девочкой с косичками, с которой в пору было писать назидательную поэму, — с милым дружила еще на школьной скамье, в техникуме списывала у него лекции, ходила вместе на лыжах, иногда и целовалась, правда, не очень горячо, и даже поехала с ним на стройку. И видела его в одном свете и, может быть, просто принимала за любовь школьную застарелую привычку.

А любовь, наверное, как огонь, — тысячи оттенков в ней: и темное, и светлое, и всякое, — и нужно найти, увидеть ее своими собственными глазами...

Над кедрами светили искры звезд. Млечный Путь, опоясавший небо, был полон тишины, мерцания и таинственных шорохов.

— Зоя! — позвал ее Тихонов. — Взгляните, это не Ключевой?

Она обернулась и увидела за сопками слабые огоньки. Казалось, ночной ветер шевелил и перекачивал эти песчинки света: иногда они сливались в одно мерцающее пятно.

— Точно, ребята, Ключевой! — обрадовался Махоркин. — Это его огни, я видел их с воздуха!

С бьющимся сердцем Зойка угадывала цепочку фонарей вдоль поселка и яркие окна конторы. Слева горстью светляков рассыпались сборные домишки. Где-то там было и Зойкино окно. Но хозяйки там нет, и некому зажечь электричество в комнате с дощатыми стенами: хозяйка сидит в таежной чашобе и с тоской думает о своей комнатушке, о чистой постели, о сне, об отдыхе.

В эту ночь она так и не уснула: было холодно, ветрено, болели ноги. Она поднимала голову и смотрела, как в Ключевом один за другим гаснут огни. Было поздно, поселок спал, и только в конторе светились окна — там томились у телефона и рации и ждали вестей о пропавшем самолете.

Тихонов сидел у костра, положив голову на колени. Зойка смотрела на его исхудавшее, усталое лицо и думала о том, что завтра они расстанутся. Думать об этом было грустно. Поворошив костер, Тихонов обернулся и посмотрел на нее. Она притворилась спящей, но из-под ресницы выкатилась слеза.

— Болит? — шепнул он. — Потерпите, Зочка.

Она открыла глаза:

— Тихонов, вы... очень хороший. Я всегда буду помнить вас.

— И я тоже, Зоя...

Сколько раз они мечтали, как выйдут на просеку у Ключевого, а все же случилось это внезапно.

Был пасмурный, серенький денек. Они едва ковыляли по густому ельнику, в снежной слякоти. И вдруг совсем рядом, за деревьями, прошла грузовая автомашина. Она все ближе гремела пустым кузовом по разбитой весенней дороге, и они бросились туда сквозь непролазную чашобу елей. Но когда они вырвались к просеке, было уже поздно.

В колдобинах на дороге еще колыхались льдинки,



а машина с белым номером на борту грохотала уже далеко, подпрыгивая на ухабах.

Это была прямая дорога в Ключевой — разъезженная, разбитая, в ухабах и выбоинах, в жидкой грязи и лужах, умопомрачительная, таежная, доступная в эту пору разве только тягачам и трехосным «язам».

Дорога вилась по просеке меж зеленеющих островков молодого ельника. А просека километрах в двух от них упиралась в лысый, с редкими деревьями косогор, облепленный домишками, бараками и сарайчиками. Из труб вился дым. Видна была и контора, и радиомачта, и кирпичные стены котельной, и клуб с телевизионной антенной.

— Ну вот, ребята, мы и вышли, — негромко, буднично сказал Тихонов.

Они постояли, привыкая к мысли, что это действительно дорога на Ключевой.

— Зоя, а если вам подождать здесь? — спросил Махоркин. — Я схожу за машиной.

— Нет уж! Буду я тут под елкой мерзнуть! Дойду как-нибудь.

Они шли по ухабам и лужам и через каждую сотню шагов прикидывали, много ли им еще осталось.

Потом над ними пролетел вертолет Ми-4, но, сколько они ни махали ему шапками, пилот не заметил их. Да и кто будет искать их на просеке в километре от Ключевого; их ищут в далеких, пустынных сопках.

Вертолет косо пролетел над крышами поселка и опустился за конторой, где на аэродромчике блестел лопастями еще один Ми-4 и толпились люди.

— Ладно, сами дойдем, — проворчал инженер, сдвигая на затылок шапку. — Обойдемся без авиации. Придем — и сразу в баню, а потом бараннины с гречневой кашей. Правда, Зоя?

Зойка не ответила — она шла и думала о том, что там, в толпе у вертолетов, стоит и Геннадий, и о том, какая будет их встреча.

У самого поселка дорога свернула с просеки в тайгу — на объезд к мосту.

Им не хотелось опять уходить в хмурую чашу, и они побрели дальше по просеке — по талому снегу и ельнику.

Просека выходила к речушке. Под обрывом, среди валунов и коряг, плескалась мутная вода.

На том берегу стоял первый барак. У крыльца сушилось белье, на окнах висели тюлевые занавесочки. Пахло дымом, дровами, жильем.

До жилья было рукой подать — метров сто, а дороги туда не было, лед уже сошел.

Они стояли у берега, жадно вдыхая запах домашнего дыма. Из барака выкатился мальчишка в старой солдатской шапке и отцовских порыжелых сапогах. Зоя помахала ему рукой, он тоже махнул ей и побежал по своим делам: давно привык парнишка к тому, что люди выходят из тайги в прожженных у костров ватниках и с черными скулами.

Они пошли к переправе. Еще с осени на перекате среди валунов была уложена гать и по ней машины перебирались через речушку.

У самых бревен засела в грязи машина — та самая, которая проскочила мимо них по дороге. Распахнув дверцу, шофер смотрел под колеса и рывками переключал скорости: вперед-назад, вперед-назад. Машина гремела и раскачивалась. Колеса с воем выбрасывали водянистый снег.

Водитель сам был в замасленном ватнике и треухе, злой, небритый, грязный, измученный дальним рейсом, с воспаленными глазами и прилипшим к губе окурком. Он тоже не обратил на них внимания — мало ли людей на стройке.

— Здорово! — сказал ему Тихонов.

— Здоров! — небрежно и зло бросил парень. — Помог бы, чем стоять.

— Браток, не дашь закурить?

Водитель одной рукой достал из-за пластмассового козырька мятую пачку «Беломора».

Они все вместе жадно потянулись к папиросам, и тут водитель увидел их опухшие, синие руки и поднял глаза.

Перед ним стояли двое незнакомых исхудавших парней с острыми скулами и невысокая девушка в рваном, старом, прожженном пальто — чем-то знакомая ему девушка с серыми глазами.

Она улыбнулась ему устало:

— Ну вот, Барашков, осталась жива...

— Зоя, вы?! — испуганно заорал водитель, выскакивая из кабины прямо в грязь. — Зоя! Жива! Ребят-

ки, милые! Живы, нашлись! — Он обнимал их, царапая щетиной. — Да берите, берите, ребята, курите, берите все! — Он совал им папиросы и зажигал спички. — Все с ног сбились, ищем вас. Самолетов нагнали. Вот дела, вот дела! А они вот они, сами явились! Четвертые сутки ни вас, ни самолета. Я еще одну поисковую партию отвозил на двадцатый километр. А в тайге туман, погодка дрянь, нелетная. Сами добрались или кто помог? Ой, ребятки, Зоя, пришлось вам горя хлебнуть! Руки-ноги целы? Эх, черт, нечем вас угостить, сам из рейса. Засел я тут к чертям собачьим, подвезти бы вас. А самолет как, грохнулся?

— Ничего, летать будет, — сказал Махоркин, до тошноты затягиваясь табачным дымом.

— Зоя, вас и не узнать, — с жалостью сказал шофер.

— Постарела я, Барашков?

— Исхудала очень, на себя не похожа.

— А Байдаченко здесь? — спросил Тихонов.

— Говорят, сегодня опять из города прилетел. Всех на ноги поднял — у нас и в Заслонах. Да вон, все там, около вертолетов. Сейчас еще один вернулся из тайги. Видели, пролетел?

— Видели, да он нас не приметил.

— Ладно, идем, ребята, — сказал Тихонов. — Спасибо тебе, Барашков, за курево. Еще увидимся.

— Помочь вам?

— Спасибо, тут уже недалеко. Извини, что тебе не помогли, Барашков. Сил нет.

— О чем разговор, ребята!

Они перешли речушку по скользким бревнам. На том берегу дорога тянулась косогором, и они брели по размытой колее, поддерживая друг друга.

А шофер все стоял у своей засевшей машины и смотрел им вслед.

По размытой дороге они поднялись к конторе. За окнами было безлюдно и тихо. Никто не выскочил им навстречу. Был обеденный перерыв, и все ушли к вертолетам, — там, около хвостатых Ми-4 с длинными, как ножи, лопастями, стояла целая толпа.

Зойка присела на крыльцо конторы с резными деревянными перилами.

— Вы идите,— сказала она.— Я буду здесь, а вы скорее идите к Байдаченке.

Тихонов тронул пальцами свои небритые щеки:

— Ну, Махоркин, идем к начальству.

Застегнув молнию на кожаной куртке, заскорузлой от костров и снега, пилот усмехнулся:

— Начинается самое трудное — разговоры с начальством. Зоя, пожелай нам.

— Ни пуха ни пера! Не бойтесь, ребята!

Она сидела на крыльце и смотрела, как они бредут к вертолетам, пошатываясь, но ни на шаг не отставая друг от друга.

Они шли к вертолетам не дорогой, петляющей между бараками, а напрямик, по косогору, по талому снегу, как всегда они шли и по тайге.

И Зойка думала о том, что вот уже уходит от нее Тихонов и это похоже на расставание.

Она видела, как один вертолет закружил лопастями, обдал толпу вихрем и, мягко подпрыгнув в воздух на тугих баллонах, накренился и лобастой стрекозой полетел обратно в тайгу.

А когда его гул затих вдаль, Зойка услышала шум и крики на аэродромчике. Кто-то в кепке и полушубке уже бежал по снегу навстречу Тихонову и Махоркину — кто-то первым увидел на косогоре их устало бредущие фигурки. Минуту спустя люди захлестнули эти фигурки пестрым, живым водоворотом.

И Зойка знала, что первым оттуда вырвется Геннадий и побежит к ней прямо по лужам и еще издали будет кричать ей и махать руками.

Прибежит к крыльцу и увидит ее — лохматую, грязную, исхудалую, в каких-то обгорелых лохмотьях вместо пальто.

Она не хотела показываться ему такой и вспомнила, что в коридоре у них стоит бачок с кипяченой водой и там можно хотя бы умыться.

Она встала и пошла в контору.

И, открывая очень знакомую, обитую войлоком дверь, прикоснулась к ней с каким-то грустным умилением, будто возвратилась сюда из долгих дальних странствий, будто уже совсем взрослой возвратилась в тот уголок, где прошла ее розовая девичья юность.

Она открыла дверь и вошла. В безлюдном кори-

доре с дощатыми некрашеными стенами стоял знакомый конторский запах табачного дыма, пыльных бумаг, чернил, сургуча.

Она брела мимо знакомых дверей, и все умиляло ее, как воспоминание о далеком прошлом: доска приказов под стеклом, где месяц назад она прочла о своем отпуске, табель с жестяным номерком, который она частенько забывала вовремя повесить, пожелтевший плакат «Борись с лесными пожарами!», объявление месткома на бумажке: «Просим погасить задолженность до 5 апреля...» Взносы она тоже забывала платить, потом прибегала к профоргу Людочке и вносила за оба месяца: пайить была девичья.

В стенгазете она увидела свой портретик — «Передовая комсомолка и производственница». Стенгазета висела еще с 8 Марта и загнулась на уголках.

Бачок с водой стоял в конце коридора, и она пошла туда, оставляя мокрые следы унит на деревянном некрашеном полу.

Комната, где они работали с Геннадием, была открыта, на двери висел все тот же листок ватмана: «Тех. отдел». Помнится, эти каллиграфические буквы выводил Геннадий.

Не удержавшись, она заглянула в дверь.

И бессильно прислонилась к деревянному косяку: Геннадий был в комнате.

Геннадий стоял у окна, спиной к ней, все такой же ладный, невысокий, в своем синем костюме. Позвякивая ложечкой в стакане с чаем, он смотрел, как за стеклом синееет даль тайги.

Он всегда любил в обеденный перерыв стоять у окна со стаканом крепкого чая и смотреть на таежные сопки и облака. Говорил, что это освежает и что академик Павлов для отдыха рассматривал картины.

Она машинально поискала его бутерброд с колбасой. Бутерброд тоже лежал на своем блюдечке.

Как-то вяло и пусто стало у Зойки на сердце.

Всего она ожидала от встречи с ним. Но не этого.

Почему именно чай и бутерброд на блюде? Она не злилась, просто стояла в дверях и думала: какой же он? Пока он не увидел ее, он был один в этой пустой комнате, наедине с собой и своими мыслями.

И она смотрела на него и старалась угадать его мысли — мысли о ней, если они у него были.

Всего она ожидала, самого трудного. Только не этого — не звенящей чайной ложечки.

— Геннадий,— негромко позвала она.

Обернувшись, он увидел ее глаза и сразу сжался и побледнел от какого-то суеверного страха, от жалости к этому исхудалому Зойкиному привидению.

— Зоя! — крикнул он сипло.— Ты?..

Даже губы у него побелели.

— Не бойся,— тихо сказала она,— я не думала, что ты здесь. Я думала, ты ищешь меня.

И наверное, в глазах ее он увидел такое, что не бросился к ней, только сказал виновато:

— Понимаешь, срочная работа. Засадили меня.

Поняла: работа у него очень срочная. И простила бы, что в эту минуту он был здесь, что не бежал ей навстречу по размытой дороге. Но хотя бы теперь уронил свой стакан и свою звенящую чайную ложечку, бросился бы, не разбирая куда, только бы к ней; сбил бы к черту стол и чертежную доску, в мелкие щепы разнес бы и мебель и стены. Только бы к ней!

Нет, он осторожно поставил на стол стакан с чаем. Тонко звякнула ложечка.

И даже это простила бы, если бы не побоялся ее потемневших, чужих глаз и до хруста сжал бы ее исхудалые плечи.

Нет, он стоял и бормотал в трех шагах от нее:

— Зоя, я так волновался...

Немного же было у него, если он так легко совладал с собой!

— Уйди,— шепотом сказала она, когда он протянул к ней руку.— Не трогай меня!

Он выбежал за ней в коридор. Она обернулась и закричала сквозь слезы:

— Не смей ходить за мной! Понял — не смей!

Она толкнула дверь и на крыльце бессильно ухватилась за перила.

И все же думала, что он рванет дверь, не выдержит, бросится к ней, скажет какие-то слова.

Нет, он не вышел. Топтался за дверью и трусил.

Он и прежде не понимал, что ей было нужно. И никогда этого не поймет — теперь она знала твердо.

А к конторе уже шла толпа. И самым нетерпеливым приходилось примерять свой шаг к усталой походке Тихонова и Махоркина.

Инженер еще издали помахал Зойке. Она ответила ему грустной улыбкой.

Рядом с ним шел незнакомый высокий человек в кожаном реглане и меховой шапке, и Зойка подумала, что это и есть Байдаченко. В руках у него был сверток с чертежами — с теми самыми, которые Тихонов прятал под свитером.

А впереди всех, прямо по лужам, бежала в белом халате врачиха Косичкина — новенькая у них в поселке, молоденькая, в очках, с симпатично вздернутым носиком.

Она с разбегу суматошно схватила Зойку за руки и посмотрела испуганно ей в лицо большими карими добрыми глазами:

— Миленькая, родная, вы ли это! Зочка!

Она суетилась, всхлипывала, щупала пульс и почему-то совала Зойке в нос пузырек с нашатырем.

Толпа окружила резное крыльцо, все тормозили и обнимали Зойку, и, как во сне, она узнавала чьи-то знакомые лица, с кем-то целовалась, кому-то отвечала, пока докторша не отогнала от нее всех.

— Ей нужен полный покой! — кричала докторша. — Товарищи, что вы делаете! Полный покой!

Но Тихонов так и остался рядом с ней.

— Зоя, — сказал он счастливо, — а наш проект принят, обошлось без взрывчатки. Я сегодня же лечу в Заслоны, и завтра сразу начнем. Да, Зоя, вот знакомься — это товарищ Байдаченко.

Человек в реглане протянул ей руку!

— Привет, героиня!

Он был высокий, с веселыми глазами и моложавым умным лицом. А она представляла грозного Байдаченку толстым и хмурым.

— Какая я героиня, — сказала она. — Так, в силу необходимости.

— Не прибедняйтесь, Макарова! — весело и легко сказал он. — Большое вам спасибо.

— Я думала, ругать будете, что мы самолет бросили.

— Главное, все живы-здоровы. А пилоту всыплем, но помилуем. Пусть сам вызволит свой самолет из бо-

лота и на нем летает. Поднимешь свою машину, товарищ пилот?

Махоркин стоял рядом с ними — худой, обросший щетиной, без шапки, взъерошенный, бесконечно счастливый и очень молодой.

— Там видно будет, — засмеялся он без причины. — Как решат в отряде.

Байдаченко обнял его за плечи:

— Сынок, даже тому, кто рожден летать, приходится иногда и по болотам ползать. Иначе снова не взлетишь.

Все засмеялись. А врачиха сердилась, что вокруг все шумят и мешают ей считать Зойкин пульс.

— Доктор, какой там пульс! — кричали из толпы. — Ей в баню, а потом трое суток беспробудным!

И вдруг все притихли.

Тихонов подошел к Зойке, и они стояли на виду у всех, но близко, рядом, будто они были одни и вокруг ни живой души, как прошлой ночью в тайге, у костра.

Стояли и смотрели друг другу в глаза.

— Вот и все, — сказал он грустно. — Будешь помнить меня?

Она поднялась на цыпочках, обняла его и поцеловала в обветренные, твердые губы.

Будто и не было никого вокруг них, только пустынные таежные сопки да звездное небо над ними.

— Ты очень устала?

— Я могу еще долго идти, ты знаешь.

— Знаю, — тихо сказал он.

— Идем, — сказала она и спустилась на ступеньку крыльца, на другую, а на третьей, последней, вдруг со стоном ухватилась за деревянные перила.

Он едва успел ее поддержать.

— Она больна? — быстро спросил Байдаченко. — Может быть, сразу в вертолет — и в город?

— Плохо у нее с ногами, — ответил Тихонов. — Как дошла, не знаю.

Он поднял ее на руки, исхудалую, легкую, слабую, и спросил докторшу, куда ее нести. Все толпой пошли за ним в медпункт.

А Геннадий один стоял у крыльца и хмуро смотрел вслед Зойке, так и не понимая, почему между ними все кончилось.



Тихонов осторожно ступал по размытой дороге. Потом он остановился и посмотрел Зойке в лицо.

— Что с ней? — негромко спросил Махоркин.

— Тише, она спит, — ответил он и медленно пошел по тающему апрельскому снегу.

## ДОМ НАД РЕКОЙ

Свадьбу гуляли в воскресенье, с утра.

Но короток был для веселья морозный денек; и еще мелькали в табачном дыму бутылки и разноголо-со звенели рюмки, собранные тетей Глашей у всех соседей, еще рвал баянист мехи своей тульской трехрядки и вбивал в пол кованые каблуки, еще всем за столом было *горько!* — а под окном уже просигналил металлический тенорок:

— Пора!

Вот и прибыла их свадебная, московского автозавода, карета в сто лошадиных сил.

Сразу смолкли звонкие каблуки, с досадой вздохнул баян, все смешалось. И в комнате стало шумно и суетно, как на вокзале. Кто одевал молодых, а кто подхватывал их имущество — чемодан, одеяло с подушкой и телевизор в картонной коробке, подарок монтажников своему бывшему бригадиру и холостяку, а ныне законному супругу и прорабу Тассеевского карьера.

Сам он, Демир, прораб, в полушубке поверх синего новенького костюма, скинув остроносые полуботинки, натягивал свои выдавшие виды кирзы.

А молодая, Юля, стояла у зеркала: ее собирали подружки, решив, что она так и поедет — в белом платье и в туфлях на гвоздиках. К богу в рай старые валенки! Свадьба, девочки... — на всю жизнь! К тому же едет она ненадолго, всего лишь, увы, на три дня — на три свадебных, положенных ей по закону. Хотя бы три дня вместе с мужем — все лучше, чем ничего.

Одевшись, все повалили из комнаты. Тетя Глаша шла впереди молодых и зорко следила, чтобы кто-нибудь, не дай бог, не перебежал им дорогу.

За тетей вышагивали туфли-гвоздики и кирзовые сапоги. А дальше тянулись гости — парни из бывшей бригады Демина и подружки Юли из углового промтоварного.

Дверь на улицу была распахнута настежь. С этого неба падал редкий снежок.

У крыльца прыгали ребятишки:

— Тили-тили тесто, жених и невеста!

Из всех квартир высыпала во двор воскресная публика и окружила грузовик с красным флажком на радиаторе. В кабине суетился знакомый шофер — прихорашивал для них свадебную карету.

— Привет новобрачным! — крикнул он. — С законным, ребята! Прошу! — И распахнул перед ними дверцу.

Да разве сразу ее усмиришь, неоконченную, неугасшую свадьбу, — она уже выплеснулась на крыльцо звонном кованых каблучков, свистом, хохотом, пестротой девичьих платков. Растянув мехи, баянист грянул было увертюру к «Кармен» — молодым на дорожку. Да и под увертюру закружились девчата по мерзлому, скрипучему снегу.

Даже тетя Глаша не пожалела лаковых каблучков. Румяная от вина, чернобровая, светилась она своей вдовьей, поздней, увядающей красотой.

А когда молодых усадили в кабину, тетя Глаша все же подсунула племяннице под ноги старые валенки, подшитые кожей, а ее мужу опустила в карман полущубка бутылку с серебряным горлышком.

— Дорогу! — Шофер дал сигнал.

Толпа расступилась, но кто-то успел накинуть на радиатор цветное кольцо серпантина, и грузовик так и тронулся в путь, как свадебный конь с лентами в гриве.

Под крики и музыку они выехали со двора, и за тих позади прощальный марш баяниста.

Они быстро проехали весь поселок ГЭСстроя — щитовые дома между редкими соснами, кафе «Космос», по-воскресному людную главную улицу, спортзал, каток, огороженный снежным валом, и, наконец,

так знакомый им угловой промтоварный. Витрины его были освещены — день уже шел на закат.

Потом они спустились к реке. Дул ветер, под мостом дымилась полынья, черная среди белых льдин.

Сквозь сизую дымку мороза виднелся силуэт бетоновозной эстакады — она вырастала из скалистого берега. По ней весной пойдет первый бетон. А для бетона нужен гравий Тасеевского карьера. И вот поэтому Демин едет туда. Хотя до сих пор ему в это не верится: ведь только вчера он впервые услышал о какой-то глухой и далекой Тасеевке...

Утром его вызвал Антонов.

— Эй, Демин! — крикнули сизу.— Тебя вызывают!

— Кто?

— Антонов!

— Понял!

Он стоял на краю эстакады и медленно подтягивал балку. Ржавая махина лениво покачивалась на стальных тросах. Свистел ветер, далеко внизу светилась заснеженная земля.

Когда балка легла на место, он сунул за пояс брезентовые рукавицы, спустился вниз и пошел в управление. И пока шел, все думал, зачем же его вызывает Антонов.

Признаться, он питал слабость к главному инженеру. Антонов был высок, седоват, с сильными руками и худощавым лицом. С годами лицо его потемнело от солнца и ветра, а глаза словно выцвели.

Говорили, что еще в сорок первом Антонов взрывал мосты под Смоленском, а после войны строил какие-то объекты на Дальнем Востоке.

И давно было замечено, что Антонов не любит краснобаев и болтунов, призывающих немедля все выполнить и перевыполнить. Он больше любит слушать и думать, чем говорить, и бойкой фразе предпочитает чертеж и цифры.

— Ну, бригадир, здорово! — Антонов протянул ему руку и в упор посмотрел в глаза.

И Демин понял, что разговор у них будет серьезный, и настороженно сел у стола.

— Кури пока.— Антонов подвинул ему сигареты,

взял из ящика папку с надписью «Личное дело» и надел очки.

Бумаги на столе Антонова были придавлены затертым до блеска небольшим слитком меди. Под листом желтоватого плексигласа лежал список телефонов и табель-календарь с рисунком летящей к Луне ракеты. На сейфе стоял термос. Кабинет был деловой, пустоватый, даже без штор на широком окне.

Единственным украшением комнаты был лист ватмана на стене, который пестрел всеми цветами радуги. Там каждый цикл работ по объектам имел свой квадратик. Завершался цикл — и квадратик штриховали красным, синим, зеленым. Наверно, Антонов делал это сам.

Даже издали на ватмане было видно, чей объект отстает, а кто — впереди.

Демин дымил сигаретой и рассматривал ватман, стараясь не замечать, как Антонов листает «Личное дело». Но краем глаза увидел, как тот пробежал по всем документам и задумался над последней бумажкой — копией диплома об окончании заочного техникума.

Ясно, над чем размышлял Антонов. Начальник кадров успел доложить — вырос еще один молодой специалист с дипломом в кармане. Хорошие вести приятно докладывать: мол, растут наши кадры.

Антонов налил из термоса стакан крепчайшего, черного чая, отхлебнул глоток и снова взглянул прямо в глаза:

— Чуешь, зачем тебя вызвал? Есть мысль послать тебя на самостоятельный участок. Тебе бы я доверил, бригадир.

Бригадир изо всех сил старался, чтобы и его взгляд был по-мужски, по-антоновски твердым, но, увы, покраснел от волнения, как мальчишка.

— Спасибо,— сказал он, смутившись. И уж совсем несерьезно выпалил: — Прошу послать на самый трудный!

Антонов усмехнулся. А чему — непонятно: этой мальчишеской запальчивости или собственной мысли о том, какой же участок у него самый трудный. Все — самые трудные. Легких — ни одного.

— Самый трудный? Тогда поезжай в министерство, в столицу. Мы стройка непусковая, нас там при-

жимают, лишних денег и техники не дают. Это и есть самое трудное. Берешь на себя?

Они посмеялись, официальная часть кончилась, и перешли к делу.

— Поедешь в Тасеевку. Прораб Бакушкин оттуда давно хочет удрать. Работа у них стоит,— Антонов кивнул на цветные квадратики ватмана.— Заваливают объект, а нам теперь дорог каждый день. Не пойму, в чем там дело. Приедешь, сам разберешься. Тебя же в техникуме этому учили?

— Учили.

— Вот и давай, наверстывай, подбросим тебе кадры и технику.— Антонов с сожалением посмотрел на часы: — Сегодня уехать уже не успеешь. Иди прощайся с бригадой, а пока оформим приказ и деньги. И завтра утром — двигай.

— Да завтра у меня свадьба!

Антонов даже привстал со стула:

— И молчал! Поздравляю! По всем статьям вырос парень. А кто же она?

И похоже было, что Антонов искренне рад его свадьбе. Но, поговорив о невесте и отдав дань такому событию, Антонов подумал и сказал:

— Ну что ж. Завтра воскресенье. С утра гуляйте свадьбу, а часа в три пришло за тобой машину. К вечеру будешь в Тасеевке. В будний день с транспортом туго: все машины на котловане. Сам знаешь.

— Знаю! — Демин швырнул в пепельницу недокуренную сигарету.

Да это же просто несерьезный разговор — в день свадьбы уехать в какую-то Тасеевку! Вы что, смеетесь, товарищи? И еще неизвестно, что на это скажет невеста! Гостей пригласили, тетя Глаша хлопочет над пирогами. Даже по закону положено три дня свадебных — за свой счет. Положено — и отдай!

Так бы и сказал любому начальству: отдай, что положено!

Но Антонову так не скажешь. Он и сам бы со своей свадьбы махнул в Тасеевку. Это — точно.

— Решай, парень. Ты сам просил самое трудное. Не поднимая глаз, Демин ответил:

— Только я сначала позволю ей.

Улыбнувшись, Антонов подвинул ему телефон...

И вот летит уже по заснеженному шоссе их свадебная карета в сто лошадиных сил. И они, молодые, гадают, смеясь, что же ждет их впереди, в той бывшей деревне Тасеевке.

Одно известно — деревню снесли, чтобы строить карьер, место глухое, жилья еще нет: тайга, река и какой-то барак.

И потому молодая едет с мужем туда лишь на три свадебных дня. Хотя бы три дня — и три ночи — им вместе, если так неудачно у них получилось.

Машина ходко идет по шоссе, в кабине на зеркальце болтается шоферская игрушка — краснощекий синьор Помидор. Синими глазами синьор удивленно поглядывает на ленточку серпантина, которая чудом еще держится на стекле.

Вот и последний цветной язычок срывается со стекла и, крутясь, исчезает в поземке. Вот и кончилась свадьба, начинается семейная жизнь.

Трясется у них на коленях телевизор «Рекорд» — хрупкий и увесистый подарок новой семье. Какая же нынче семья без телевизора? Говорят, телевизоры укрепляют браки: быстрее привыкаешь сидеть дома, с женой.

И шофер, Леша Громов, крутит баранку и с удовольствием объясняет им, что если они поднимут антенну повыше, то и в Тасеевке у них будет четкое изображение.

По поводу телевидения, кибернетки и электронных машин, которые играют в шахматы и пишут стихи, Леша знает немало. У него на койке в общежитии всегда валяются журнал «Знание — сила» и потрепанные занимательные брошюры. И он вычитывает оттуда такие забавные штучки, что нормальному человеку и не приснятся.

— А знаете, ребята, — говорит он, — в «Занимательной физике» пишут, что если все человечество утопить в Ладожском озере, то уровень воды поднимется только на два сантиметра. Вот! Только и делов, что на два пальца всплеснет вода в озере. А вы говорите — человечество!

И в кабине хохочут: вот выкаблучиваются в «Занимательной физике»!

Навстречу им по шоссе в снежном вихре мчатся машины: рейсовый автобус из райцентра, автофургон,

голубая малолитражка с помятыми крыльями. Мелькает у обочины указательная стрела — в аэропорт. Потом встречается грузовик, на котором трепещет красный флажок: везут бревна из леспромхоза.

Леша закуривает и говорит, что напрямую, через райцентр, в бывшую Тасеевку не проехать, дорогу уже замело. Придется молодым ехать до леспромхоза, а там идти пешком, через реку. Карьер стоит за рекой, близко от леспромхоза.

И скоро Леша сворачивает с шоссе — на леспромхозовскую ухабистую дорогу.

Там над узкой просекой висят пихтовые лапы. Снег с нижних веток сбит машинами, а на верхних лежит пластом. Сразу становится темно, Леша включает фары. Машину мотает на выбоинах, и свет обшаривает просеку сверху донизу.

Потом они встречают трактор с саями. Сквозь ляг гусениц прорывается визг деревянных полозьев. Приходится уступать дорогу. Леша сворачивает, но, не рассчитав, попадает колесом в кювет.

Пропустив трактор, Леша и Демин прыгают из кабины в снег.

А Юля остается в кабине с телевизором на коленях. Она так и сидит в своих нарядных туфлях, валенки лежат у нее в ногах. От вина немного кружится голова. Юля дремлет и слышит, как ее муж ходит вокруг машины в скрипучем снегу и подсовывает под колеса ветки. И почему-то ей хорошо и спокойно. Будто так всегда и бывает: в день своей свадьбы дремлешь в грузовике, застрявшем где-то в тасжной глуши.

Она открывает глаза. Фары в упор освещают корявую ель. В дымном свете блестят ее иглы и бесшумно падает снег.

Потом снова машина грохочет по гулкой, ухабистой просеке. Над макушками пихт уже светится звездная синь.

Наконец вдали мелькают огни леспромхоза...

— Парень! — окликнул Леша прохожего, когда они въехали в поселок.

Белобрысый парнишка в начищенных сапогах и кепке рассеянно оглянулся.

— Послушай, как тут проехать к берегу, на Тасеевку?

Парень с удовольствием осмотрел свои сапоги, блестящие в свете фар.

— А я знаю? — пожал он плечами. — Пресекой нельзя, замело. — Подумав, он оживился: — Друг, подбрось до столовки, там спросишь у шоферов.

Ясно было, что он беспокоится за свои начищенные сапожки, в которых жалко идти на танцы по голобокому снегу.

— Цепляйся, — сказал Леша Громов.

Парень вскочил на подножку, и они поехали. Поселок тянулся вдоль пустынного поля старой вырубki. Над низкими крышами бараков горели редкие электрические огни. Сарайчики из горбылей тонули в сугробах.

Столовая была уже закрыта. Но в окнах горел свет, виднелась буфетная стойка с никелированными перилами, кассой и надписями «Чай», «Кофе», «Холодные закуски». Столы громоздились в углу. А на стене киномеханик вешал белую простыню — экран.

У крыльца, покуривая, стояли леспромхозовские парни.

— Ты у них спроси, — сказал белобрысый Леше.

Оказалось, что дальше пути нет. До реки еще два километра, дорогу занесло, и машина не пройдет. Придется им ночевать в леспромхозе, а утром как-нибудь добираться до Тасеевки.

Узнав об этом, Юля поставила телевизор на сиденье, открыла дверцу и осторожно ступила с подножки в снег.

И, увидев Юлю, парни все враз бросились ей помогать.

Белобрысый даже забыл о своих начищенных сапогах и с удивлением смотрел на точеные красные туфельки, ступавшие по снегу.

— Это ей в Тасеевку? — быстро спросил он у Лешки. — Так бы и сказал. Дуйте к директору, пока он в конторе. Просите транспорт, чего вам тут ждать до утра.

Демин и Леша пошли в контору. А Юлю обступила толпа парней — сучкорубов, чокоровщиков, трактористов.

Контора была открыта, но в безлюдных комнатах



стояла сонная, воскресная тишина. Фамилия директора — Малибаев — значилась на табличке у двери, обитой дерматином. Малорослый, плотненький Малибаев звякал ключами у письменного стола.

— Входите, входите, товарищи,— кивнул он приветливо.— Только я уже ухожу.

Пока он надевал свое длиннополое, глухое пальто с барашковым воротником и барашковую шапку, они сказали директору, зачем пришли.

— Ну что ж, товарищи,— ответил он весело и погасил настольную лампу,— почувьте, утром решим вопрос. Идемте, товарищи.

Он закрыл дверь и положил связку ключей в карман.

— Я не один, с женой,— сказал Демин.— Хотелось бы добраться сегодня.

— Это не причина, товарищ,— ласково возразил Малибаев.— Не могу же я заставить людей работать в воскресенье.

— Только два километра,— вставил Леша.

— А кто повезет? — возразил Малибаев, выходя из конторы.— Вот завтра — пожалуйста. Изыщем транспорт, подбросим. Конечно, за ваш счет,— добавил он ласково.— Режим экономии, копейка на счету.

Они втроем шли обратно к столовой, и Малибаев объяснял, что такое режим экономии. Все было очень понятно, только одно удивляло: как этот Малибаев ухитрялся быть сразу и ласковым и равнодушным?

Они с Малибаевым вошли в столовую и с порога сразу увидели Юлю.

Без пальто, в белом платье, с каштановой челкой и морозным румянцем на щеках, Юля сидела у стола, покрытого пластиком, и на манер заезжей принцессы снисходительно пила чай с вареньем и твердыми тульскими пряниками — самыми лучшими, какие только нашлись в леспромхозовской столовке.

А парни почтительно стояли перед Юлей, исподтишка оттирая друг друга локтями. Ближе всех, на правах первооткрывателя, держался знакомый белобрысый парнишка, хотя ему безжалостно топтали начищенные сапоги.

Напрасно киномеханик ворчал, что пора начинать сеанс,— его не слушали, а глазели на Юлю.

Только перед директором парни расступились.

— Моя жена,— смущенно сказал Демин.

Но даже Юля не тронула сердце Малибаева. Ни на миг он не задумался, откуда вдруг в таежные снега явилась эта ясноглазая фея с тонкой золотой цепочкой на шее.

— Очень приятно,— только и сказал он Юле и посмотрел на часы.— Что ж, товарищи, задерживаете сеанс? Время позднее, завтра рабочий день.

Белобрысый парнишка упрямо сказал:

— Товарищ директор, они же прямо со свадьбы!

— Очень хорошо. Утречком что-нибудь организуем для товарищей.

— А что им тут сидеть до утра? Нельзя же так формально, товарищ директор!

Сквозь шум и смех из угла крикнули:

— Это новый начальник Тасеевки!

Малибаев поморщился, будто обиженный намеком на то, что кроме него есть на свете и другое начальство. Он строго спросил у Демина документы и потом, вздохнув, неохотно вернул листок папиросной бумаги с крупными лиловатыми буквами: «*Назначить*».

— Ну что ж, товарищ Демин, поздравляю тебя.— И, опять вздохнув, Малибаев посмотрел куда-то мимо него погрустневшими, тоскующими глазами.— Так и быть, подбросим тебя в Тасеевку. Если общественность настаивает.

— Разрешите, товарищ директор, я их на своем драндулете?— обрадовался белобрысый.

— Давай, Савченко.

И белобрысый Савченко в начищенных сапогах исчез за дверью.

Малибаев с ласковым и грустным укором, как равный равному, шепнул тасеевскому прорабу:

— Ты бы мне сразу сказал.

Прораб усмехнулся. Директор посмотрел ему в глаза и совсем погрустнел.

— Ну, бывай, Демин. Я пойду, жена ждет. Савченко тебя доставит.— Помолчав, он добавил:— У тебя в Тасеевке дело табак, покрутишься.

— А что там?— спросил Демин.

— Сам увидишь,— ласково и равнодушно сказал Малибаев и ушел из столовой.

А Юля уже снарядилась в валенки и в свой оренбургский платок. Укутанная до самых бровей, она снова стала обычной, земной жительницей. Только глаза под пуховым платком блестели особенным, сияющим блеском: все-таки едем мы дальше, в Тасеевку!

Они вышли на крыльцо. Было морозно. Над тайгой в прозрачно-фиолетовом небе висела луна.

У крыльца тускло и холодно блестели гусеницы старенького трактора. Белобрысый Савченко суетился в кабине, вытирая сиденье.

Они стали переносить свои вещи на трактор. Помогая им, Савченко лихо подхватил тяжелый узел в байковом одеяле.

— Тише ты, лапоть! — испугался Леша и схватил узел с другой стороны.

— Осторожней, это наш телевизор, — озабоченно сказала Юля.

Савченко удивился и поставил узел на траки.

— Телевизор? Это в Тасеевку-то? — засмеялся он. — Да там, ребята, нет электричества. Сидят на первосортном керосине.

Юля вздохнула. Ободряя ее, Демин сказал со смехом:

— Вот была бы потеха! Прибыл новый прораб с женой и телевизором.

И остались у них самые холостяцкие вещички: чемодан, подушка с одеялом да связка книг. А телевизор Леша повез обратно, к тете Глаше, прощально мигнув им рубиновым фонариком грузовика.

В кабине трактора было тесно и холодно. Гремели гусеницы. Разговаривая с Савченко, приходилось кричать. Его звали Костей, в леспромхозе он был только с осени, после курсов, и пока что ему дали для практики этот старый драндулет, который у них в поселке вроде подсобника, на все случаи жизни, — подвези да отвези. А настоящие машины — на трелевке.

Трактор с лязгом печатал свой бесконечный зубчатый след на дороге. За последним баракон он круто свернул прямо в снежную целину и с ходу своротил мерзлый сугроб. И видно было, что Савченке нравится идти вот так, напролом, и красоваться своей силенкой.

В снегу траки стучали глуше. Из сугробов зелеными вешками пялился молодой ельник.

Меж елок вилась присыпанная порошей, разъезженная лыжня — единственная дорожка из Тасеевки, которой ходят в посёлок на почту и в магазин.

Фары светили прямо в снег, и вокруг радиатора плыло радужное сияние. Потом вдруг свет скользнул по верхушкам сугробов и ушел в темную пустоту: там был обрыв и река. Трактор остановился.

Под обрывом стеклянно мерцали ледяные торосы. А за рекой, на том берегу, в лунном свете был виден барак. В нем желтовато теплились огоньки.

Савченко стал мигать фарами. У барака сразу блеснул ответный луч фонаря: их уже ждали. Савченко посмотрел туда и сказал:

— А вас кто-то встречает.

От барака к реке бежал человек. Под луной на снегу была ясно видна его фигурка. Он спешил и прыжками спускался по крутому обрыву.

— Вот торопится! — прищурился Савченко. — Да еще с каким-то узлом.

— С подарками для новобрачных, — сказал Демин и засмеялся. — Ну, Костя, спасибо, бывай здоров. Заходи к нам.

— Как-нибудь забегу. Счастливо!

Демин взял чемодан, книги, одеяло, а Юля — подушку, и они с опаской ступили на лед.

Между торосами лежал жесткий, обветренный снег. Но местами на гладком, скользком льду идти было трудно.

Вдруг снег и лед у них под ногами ярко засветились. Это Савченко направил фары им вслед. Они быстро пошли по этой высветленной дорожке, и впереди шагали их тени.

На середине реки, запыхавшись, они укрылись от ветра за льдиной. В затишье с шорохом сыпался снег. Лед светился, снег был зеленоватым.

Глаза у Юли блестели, на бровях оттаивал иней.

— Ну поцелуй меня, — сказала она смеясь.

И они стояли за этой зеленоватой льдиной и целовались, пока из-за льдины не раздались:

— Эй! Где вы?

Юля быстро поправила платок:

— Увидят!

— Ну и пусть. Теперь ты моя жена. Эге-гей! Мы здесь!

Из-за льдины появился человек с рюкзаком, в пальто нараспашку. Из-под ушанки, съехавшей на глаза, торчал острый нос.

— Приветик, я — Бакушкин! — выпалил он, запыхавшись, и бросил рюкзак на снег.

— Прораб Тасеевки? — удивился Демин.

— Бывший, — торопливо ответил Бакушкин. — Слава богу, бывший. Вчера получил телеграмму Антонова — сдать тебе дела. С утра тебя жду. Я сдал, ты принял. — Он поспешно шарил в карманах. — Актик я заготовил.

Демин не понял.

— А что тебе непонятно, сдавать-то нечего! Один барак, два бульдозера, у взрывчатки свой хозяин. Чего валандаться! Я сдал, ты принял. С меня хватит, помучился. Расчет — и айда! — Бакушкин сунул ему в руки бумаги и оглянулся на свет фар. — Смотаюсь на этой машине.

— Это трактор, — сказала Юля.

— Один черт! Эй, подожди меня! — крикнул он на берег.

— Ты не спеши, — нахмурился Демин. — Я так принимать не буду. Что там у тебя в Тасеевке?

Не слушая его, бывший прораб лихорадочно рылся в карманах.

— И еще печать. Вот она. Все! Подписывай! Я сдал, ты принял. Согласно телеграмме из управления. — И внезапно Бакушкин закричал тонким, настойчивым, плачущим голосом: — Все равно уйду! Черт с вами со всеми! — Он остервенело схватил свой рюкзак. — Человек ты или нет? Меня жена ждет! Я вербованный!

Демин слушал его и злился. Так их в техникуме не учили — принимать дела под луной, в морозную ночь.

А ветер со свистом нес над ними снежную пыль. Продрогнув, Юля куталась в платок.

— Как же, Володя? — несмело спросила она.

Ладно, решил Демин, как-нибудь разберемся. Один барак, два бульдозера, у взрывчатки свой хозяин. А от этого Бакушкина пользы уже ни на грош.

— Давай, Бакушкин!

И, не читая, на ощупь замерзшими пальцами он стал подписывать акт. Один барак, два бульдозера — богатое хозяйство! И еще треугольная печать. Все. Топай, Бакушкин. Ты сдал, я принял.

И сразу бывший прораб исчез. Будто его и не было, будто он померщился в зеленоватом свете ледяных глыб. Только издали донесся его отчаянный крик: — Подожди-и-и!..

Огни барака уютно светились под елями на берегу. Но Бакушкин, задыхаясь, бежал от них в темную, морозную ночь.

А Демин сунул акт и печать в карман и с середины реки шел уже полноправным прорабом карьера.

Только на берегу, поднимаясь по крутой тропинке к бараку, он вспомнил, что лица у Бакушкина не приметил. Не было у него лица. Только острый нос под ушанкой и настойчивый голосок: «Приветик, я — Бакушкин!»

Отряхнув снег голиком, они вошли в барак, и с мороза сразу пахнуло жильем — кухней, одеждой, керосиновой копотью и слабым смолистым запахом нового деревянного дома.

В коридоре тускло горела «летучая мышь», освещающая дощатые стены и картинку «Утро в лесу». В конце коридора видна была кухня с плитой, уставленной кастрюлями, а слева — двери двух комнат. За дверью негромко наигрывали на баяне.

Они сложили вещи у теплой печи, Юля села на чемодан, развязала платок, поправила волосы.

— Иди, — шепнула она.

Демин расстегнул полушубок и негромко окликнул:

— Хозяева!

Баян смолк. Из кухни выглянула пожилая женщина в ситцевом платке, а из комнаты высунулся странный тип: шкиперская борода и очки на худом мальчишечьем лице, лыжная шапочка с помпоном и трубка в зубах.

— Ну, я хозяин, — отозвался он небрежно и сказал кому-то в комнату: — Ребята, геологи.

Женщина сказала из кухни:

— Входите, грейтесь.

— Спасибо,— ответил Демин и насмешливо кивнул шкиперской бороде: — Табачком балуешься?

Покосившись на Юлю, тот нахмурился:

— Проваливай, воспитатель!

— Ромка, стервец! — прикрикнула женщина, выходя в коридор.— Хворостины на тебя нет! Люди зашли пордеться.

— Нет, мы к вам,— сказала Юля.

— Ну-ну,— неопределенно ответила женщина, присматриваясь к Юле.— Милости просим.

Появились еще трое — все в тапочках на босу ногу. При свете «летучей мыши» трудно было рассмотреть их лица.

Дядя в свитере — худой и долговязый — подскочил к Юле:

— Позвольте познакомиться: Митя Грач. Марфуша, чайку! Ежели гражданке к геологам, то ей еще далече топать. Пожалте в нашу кают-компанию.

— А кто у вас тут за главного? — перебил Демин.

Митя Грач развел руками, играя привычную роль балагура:

— Не взыщи, сиротиночки мы. Сиганул от нас главный. Побрезговал нашим обществом.

— Ну так я вместо него. Будем знакомиться: Демин, новый прораб. А это моя жена, Юля.

— Жена! — разочарованно свистнул Грач.

— Между прочим, мы сегодня поженились,— с вызовом сказала Юля.

Шкиперская борода с любопытством выдвинулась вперед:

— И прямо сюда? .

— Прямо к вам.

— Батюшки, прямо из-под венца! — встрепенулась Марфуша.— И не пожалел молодую в такую даль. Идем, идем, доченька, поди, устала, замерзла. Непутевый у тебя мужик, прости господи,— из-под венца потащил сюда девку.

— Да нет, я сама за ним увязалась. Он не хотел меня с собой брать,— засмеялась Юля, посмотрев на мужа.

Хлопотливая, бойкая для своих немолодых лет, толстенькая Марфуша в одну охапку подхватила их вещи и увела Юлю на кухню.

— Ну-с? — поднял бровь Митя Грач.

Демин достал документы.

Пожилой, усатый мужчина в рубахе навыпуск и белых шерстяных носках долго читал лиловые строчки приказа с подписью Антонова и печатью.

— Вербованный? — заглянул в приказ черноволосый парень в ковбойке.

— Кадровый, — обиделся Демин. — С ГЭС строя.

— Вот Бакушкин был вербованный. Повертелся да смылся. Без длинного рубля дай бог ноги.

— Видел, — неохотно сказал Демин, постыдившись признаться, что дела у этого Бакушкина принял где-то на полдороге, под звездами, под свист вольного ветра. Теперь, на людях, при житейском свете тусклой керосиновой лампы все это рисовалось иначе: не мужским характером, а просто несерьезным ребячеством. Хмурясь, он нашупал в кармане акт и печать. — Кто у вас бригадир?

— Борода. Он скоро придет, — небрежно бросил Митя Грач.

— Жди его, — усмехнулся парень в ковбойке.

Бородатый Ромка выпалил:

— Ушел к Егору пить самогон!

— Знаешь ты! — зло сказал Грач, покосившись на нового прораба.

— А вот знаю! — Ромка упрямо втиснулся со своей куцей бородкой в мужскую компанию. — У него с Егором такая дружба, товарищ прораб! Старик тут у нас есть, Петухов, последний житель Тасеевки. Думаете, не из-за Петухова у нас стоит дело? Заработков нет, почти вся бригада разбежалась.

— Ладно, малец, без тебя разберемся, — сказал Ромке усатый мужчина.

Грач молчал. Парень в ковбойке делал вид, что данный вопрос его не касается.

— Самохин моя фамилия, Василий Матвеевич, — усач отдал Демину документы. — Проходи, товарищ прораб. Вот сюда. Чем богаты, тем и рады.

А какое богатство у жилья-временки: в большой барачной комнате у дощатых беленых стен стояли железные койки, застланные по-холостяцки, как попало, горела керосиновая лампа над артельным столом, а на тумбочках валялись помазки, пластмассовые стаканчики, книги, патронные пыжи, папиросы «Север».



На одной из кроватей в сапогах поверх одеяла спал детина, сунув голову под подушку.

— Эй, Нехай! — дернул его Грач. — Хватай дрыхать, встречай начальство.

Нехай не шевельнулся.

— Не трогай, человек устал, — сказал Демин.

Парень в ковбойке, по фамилии Чибисов, усмехнулся:

— Устал заливать за воротник.

— И все это из-за Егора! — выкрикнул Ромка горячась. — Честное слово!

— Атае! — Грач надвинул ему на глаза лыжную шапочку с помпоном. — Все знаешь, академик нашелся.

Ромка обиделся и хотел что-то сказать. Но тут в комнату вошла Юля, уже без пальто, причесанная, в белом платье, с золотой цепочкой на шее. И все тасеевские разом умолкли и оглядели ее удивленно.

Потом молодых повели в соседнюю комнату, где Марфуша уже хлопотала с ведром горячей воды. Комната была маленькая, в одно окно, неудобная, с голыми стенами. У порога валялись порожние бутылки, заткнутые бумажками, пахло сыростью и сивухой. На пустой кровати, бывшей бакушкинской, под тощим тюфяком из мешковины торчали железные прутья.

А вторая кровать — бригадира Бороды — была покрыта розовым ватным одеялом, на котором топорщилась острыми углами тугая подушка. У изголовья висела двустволка, под кроватью стояли огромные резиновые сапоги.

— Хижиша дяди Тома, — притворно вздохнул Грач.

— Болтай! — Самохин покосился на Юлю. — Квартирка, значит, будет вашей, располагайтесь. А бригадира — к нам.

Марфуша быстро свернула шикарное розовое одеяло Бороды, но Демин сказал:

— Пойдите, без него неудобно. Обидится.

— Вот еще! — фыркнул Ромка.

Марфуша ласково вытолкнула Деминных в коридор:

— Погуляйте, ребятки. Подышите свежим воздухом. Без вас управимся.

Посмеиваясь, они оделись и вышли из барака.

Тайга начиналась у крыльца. Рукой подать стояли темные стволы лиственниц. В паутине хвои над головой слабо мерцали звезды. Под обрывом белой громадой светилась при луне стылая, ледяная река.

За баракom поодаль горел чей-то костер. Они пошли к нему узкой тропкой.

Сложенный стенкой, из коротких бревен, костер горел недымно, но жарко, и на пихтовых лапах над ним блестели капли воды.

У костра сидел на бревне старик, узколицый, носатый, в тулупе с высоким боярским воротником, и держал на коленях винтовку. Рядом был погреб с висячим ржавым замком на двери.

— Здравствуй, дед,— сказал Демин.— Что сторожишь?

— Взрывчатку,— нехотя ответил старик, взглянув на Юлю.

— А костер — не опасно?

Старик равнодушно зевнул:

— Что ему сдеется, аммоналу? В костер брось — не взорвется. Отсырел без дела.

— Стоит дело? — как бы невзначай спросил Демин.

Сторож не ответил. Наверное, из самолюбия. Сижу, мол, тут без надобности у ржавого замка, когда дело стоит; выходит, сижу попусту. Да и мало ли шляется по свету всяких людей — всем объяснять. Доставая кисет, он спросил:

— Баба твоя, стало быть? — Чутьем понял, что они не чужие друг другу.

Юля улыбнулась:

— Жена.

— А-а-а,— протянул старик и стал скручивать сигарку.— Закуривай, парень.

Закурив махорки, помолчав для приличия, Демин смелее спросил:

— Служба идет, а дело стоит?

Сторож хмуро загнал в костер выпавший уголек.

— Стало быть, так. Тебе-то какая забота?

— Да я новый прораб. Вместо Бакушкина. Вот пришел познакомиться.

Старик не удивился.

— То-то Бакушкин с утра вертелся над бережком сам не свой. Удрал все-таки. Выходит, ты теперь на-

чальник.— Дед недовольно покосился на Демина: видно, молод был этот прораб.— Ну, пу, парень, знакомься.— И, обтерев рукавом винтовку, пробормотал: — У меня, слава богу, свое начальство. Вон идет, инспектор.

По тропе к костру шел Чибисов, подрывник — рослый и статный, без шапки, в ватнике параспашку.

— Привет, папаша! Разговорчики на боевом посту! Или все ворчишь на своего шефа?

— Тоже мне шефы! — вдруг разозлился старик.— Одна шайка-лейка с Бородой! Ну чего ты на меня уставился? Все одно новый прораб дознается.

— Не все сразу, папаша,— подмигнул ему Чибисов.— У прораба сегодня свадьба.— И таким добрым молодцом повернулся к Юле: — Прошу к нашему шашу. Все в ажуре, и пол-литра на столе.

— Эту работенку вы любите,— проворчал сторож, захакивая воротник.

В комнатке для молодых было вымыто, прибрано, на окне висела тюлевая занавеска, у кровати на тумбочке стоял чей-то радиоприемник. Ярко и празднично горели семилшнейки.

Только угол Бороды выглядел по-вокзальному. На голой железной кровати лежало свернутое узлом розовое одеяло и поверх него — подушка и охотничье ружье.

Готов был и стол: чистая скатерть, граенные стаканы, бутыль мутного самогона, капуста в большой эмалированной миске и белое, с розовыми прожилками, домашнее сало. В самом центре стояла бутылка, которую тетя Глаша сунула им на дорогу,— венгерское шампанское с затейливой этикеткой и серебряным горлышком.

Тасеевские сидели за столом чинные, бритые, в пиджаках. На углу приткнулся Нехай, бульдозерист. Мордастый, заспанный, в мятой рубаше, он сонно мигал белесыми глазками и жевал огурец.

Молодых посадили особняком. Юля сидела усталая, побледневшая, зябко куталась в пуховый платок, но бодрилась. Ей и Марфуше налили шампанское.

Наливая мужчинам самогон, Самохин покосился на Демина: мол, как отнесется новый прораб к та-

кому противозаконному напитку? Прораб вежливо ничего не заметил. Церемонно пропустили по первой, самой торжественной, и Митя Грач, поднявшиоь и приосанившись, без прибауток завел было содержательную культурную речь о пользе супружества. Но сонный Нехай вдруг пробасил:

— Короче! Не видишь, люди устали. Дорвался!

— Оно и верно, люди с дороги,— сказал Самохин.— Ты, Митя, учти.

Сбившись, Грач перешел на другую тему — почему-то стал ругать Бакушкина и хвалить бригадира Бороду. Тут Ромка вскочил и, волнуясь, крикнул, что у бригадира печки-лавочки с Петуховым и поэтому дело стоит.

— Это же безобразие! — выкрикнул Ромка, озлясь и, наверное, совсем забыв, по какому поводу сидят они за столом.

А бригадира Бороды все еще не было.

Потом Чибисов взял свой баян, нарядный, с перламутром, и тассевские по очереди танцевали с Юлей на пяточке у двери, и Демин, смеясь, кричал им:

— Ребята, пожалейте ее! Мы сегодня уже по второму кругу!

Меняя кавалеров, она все кружилась, кружилась и думала о том, какой это длинный, бесконечный, счастливый день: словно целая жизнь. Кружилась долго, пока совсем без сил не приткнулась на кровати,— и вдруг сразу уснула.

— Тс-с! — сказал Чибисов своему перламутровому баяну и на цыпочках первым вышел из комнаты.

Когда все ушли, Демин открыл форточку. Морозный воздух был особенно свеж. Сквозь иней на стеклах ясно светила луна.

В комнате было тихо, потрескивал фитиль лампы, невнятно слышались голоса за стеной.

— Муж, я не сплю,— пробормотала Юля,— я просто так, на секундочку.— Она приподнялась на кровати, сонная, с розовой, примятой от подушки щекой...

Одни — и первая своя крыша над головой.

— Даже не верится: я — жена,

— Обниму, поверишь?

— Верю, верю...

И тлеет керосиновый прикрученный фитилек.

— Смотри, луна совсем голубая.

— Как твои глаза.

— У меня глаза почти серые.

— Покажи...

На тумбочке светится шкала приемника. Сквозь шорохи ночи диктор рассказывает о событиях дня. Обо всех на свете событиях, кроме одного, для них самого важного.

— Мы будем жить с тобой долго-долго, правда?

— И когда-нибудь станем ста-а-ренькими.

— Неужели это когда-нибудь будет?

— Я не верю.

— И я тоже...

Где-то в стене поет сверчок, стережет их сон. А сон не идет. И вспоминается весь этот день, морозное утро, синие плюшевые шторы в загсе и девушка в черном костюме с белым кружевным воротничком — депутат райсовета. Смущаясь, путаясь в заученных словах, она поздравляла их от имени местной власти. Заведующая загсом включила деловито радиолу, и под невидимые трубы и литавры они брали перо и ставили свои подписи в толстой книге — *расписывались*. А в коридоре их ждал фотограф и шампанское на подносе: старательный, наивный загсовский уют. И девушка-депутат шутила: чем не Дворец бракосочетаний! Придумали же такое название: не слово, а железобетонная конструкция — *бракосочетание*.

Лучше просто — свадьба!

А потом они бежали домой, к свадебному столу, светило раннее морозное солнце, скрипел под ногами утренний розовый снег.

«Горько!» — кричали им за столом, и они с удовольствием целовались.

Все, все вспоминается — снова и снова.

В окно светит луна. Догорая, тлеет керосиновый фитилек...

— Эй!

Демин открыл глаза. В дверях комнаты стоял человек. Дверь была распахнута настежь, и в свете «летучей мыши» рисовалась его рослая фигура. Полушу-

бок был ему короток, шапка едва умещалась на затылке.

Юля не проснулась. Демин набросил ей на плечо одеяло, встал, чиркнул спичкой. Лицо у Бороды было широкое, безбровое, с чуть раскосыми пьяными глазами. Ни усов, ни бороды у бригадира не было, кличку ему дали по фамилии — Бородачев.

— Тихо, Борода, не шуми, жена спит, — шепотом сказал Демин. — Выйди, поговорим.

Ругнувшись, Борода шагнул было в комнату. Но за его спиной появился Нехай — босой, в одной нательной рубашке — и легонько вытолкнул бригадира обратно через порог. Шапка Бородачева упала на пол. Демин поднял ее и прикрыл дверь.

В коридоре стояли полуодетые Самохин, Ромка и Чибисов.

Грузно прислонясь к стене, Бородачев задел плечом бумажную картинку «Утро в лесу», и она с шорохом сорвалась с гвоздя.

— Держи. — Демин отдал бригадиру шапку.

Тот рывком смял ее в жилистом кулаке.

— Зараза! Щенок желторотый! Сопля ты против меня, а не прораб!

— Да будет тебе, Борода, — примирительно сказал Чибисов. Ежась в майке от холода, переступая босыми ногами, он взял его за плечо. — Иди к нам, проспись, утром поговорим.

Вдруг бригадир отбросил Чибисова коротким и сильным тычком кулака. Но и Чибисов с неожиданной быстротой подставил ему ногу, и, не удержавшись, шаркнув спиной по стене, Бородачев съехал на пол.

— Так-то лучше, привели его в чувство, — усмехнулся Самохин.

— Кончай базар, деятель, — зевнул Нехай.

Бригадир сидел на полу, широко раскинув ноги в сапожищах.

— Спелись с начальством? Так, значит. А я один, да? Так, значит, со мной! Митька-а!

Из общежития показался Митя Грач, посмотрел на пьяного дружка, потом на прораба и, оценив ситуацию, деликатно исчез за дверью.

Прораб взял у кого-то папиросу. И, прикуривая, медлил, тянул время — знал, что сейчас должен что-то

решать. А бригадир, цепляясь за стену и матерясь, уже поднимался во весь свой немалый рост.

— Так вот,— сказал Демин,— от бригадирства тебя отстраняю. За пьянки и дебош. Ясно?

— Меня? — удивился Бородачев и хитро прищурил пьяные раскосые глазки.— Комнату захотел, начальник? Хитер ты. Не мытьем, так катаньем, а?

Демин молчал.

— Черт с тобой, уйду! — Прогоняя хмель, трезвея, Бородачев что-то соображал. Потом для порядка ругнулся и ногой распахнул дверь в комнату.— Пользуйся, начальник!

Юля сидела на кровати, укрывшись одеялом.

— Ты не спишь? — спросил ее Демин и, подойдя, закрыл от Бородачева.

Потом снял остывшее ламповое стекло и зажег фитиль. Коптящий язычок огня осветил пустоватую комнату. По стене над голой железной кроватью двигалась тень человека в полушубке. Молча, рывком Бородачев потуже затянул узел со своим розовым одеялом и вскинул на плечо двустволку. И, лишь выходя из комнаты, дал себе волю: шибанул ногой табуретку, и, крутанувшись, она с треском ударилась в стену.

— Герой! — фыркнул из коридора Ромка, но, поймав взгляд бывшего бригадира, попятился.

Самохин поставил табуретку на прежнее место.

— Иди спать, Борода. У нас свободная койка.

Не ответив, тот надел шапку, поправил ремень двустволки и распахнул дверь из барака на улицу. На полу за клубился студеной воздух.

Шаги бывшего бригадира проскрипели в мерзлом снегу за окном и стихли...

Светало поздно. Морозные стекла едва налились утренней синью, и барак еще спал, когда Демин, муж и жена, вышли из дома: им не терпелось увидеть Тасеевку.

Хрустнул снег у крыльца, метнулась над ними белка, и с пихты, шурша, рухнула маленькая лавина. Оседая, снежная пыль висела, как облако.

За рекой розовел край бледно-голубого холодного

неба. Далеко в леспромхозе в студеном безветрии стоял столб белого дыма.

Они шли к стройплощадке извилистой и узкой дорогой сквозь ельник. Жесткий снег у обочин был искрошен траками, но в стороне, под еловыми лапами, он лежал открытой чистой страницей, розовой от зари. Нагнувшись, Юля варежкой написала: «В + Ю = ?» Демин внес в данный вопрос мужскую ясность: изобразил на снегу дом с трубой.

— Наш дом,— угадала Юля.

— Третий этаж, дверь налево,— показал он на снежную макушку ели.

Юля посмотрела наверх:

— Муж, я тебя вижу. Ты сидишь у окна с газетой.

— И покуриваю.

— Не кури в комнате, ребенку вредно,— засмеялась она.

Дорога вывела их на пустынное поле у самой реки. Из сугробов торчали печные трубы бывшей Тасеевки.

Тут и таилась «линза» — залежь лучшего гравия для бетонной плотины.

Одна-единственная изба с тесовой крышей стояла на пустыре. Заплот был разобран, шатровые ворота нелепо кособочились среди поля в глубоком снегу.

Последняя тасеевская изба — изба Егора Петухова — курила утренним дымком в самом центре будущего карьера.

— Идем-ка к нему,— сказал Демин.

По тропинке в сугробах они пошли к избе. Звонко скрипел снег под ногами.

Деревянные ставни избы были запечатаны коваными болтами-чекушками. Темные доски покрылись, как морщинами, мелкими трещинами.

На резных столбах висел над крыльцом узорчатый старинный шатер.

Дверь отворилась, скрипнув мерзлыми петлями. В сенях было темно. Что-то гроыхнуло у них под ногами. Потом Демин нащупал обитую кошмой дверь в избу.

И еще на пороге он ощутил первозданно острый дух самогона.

— Кого там черт принес? — ругнулись из полумрака.

Солнце скупыми струйками текло сквозь щели в



ставнях. Но ярко пылала печь, и в отблесках пламени Демин увидел лицо старика с реденькой бородкой и цепко прищуренными глазами.

— Ай, начальство? — глаза впились в Демина. — Актик составишь? Валяй! А то давай, налью первача.

Старик пошарил у окна. Звякнул кованый болт и, скрипя, ставни распахнулись. Хлынуло солнце.

В пустоватой избе с грязным полом стояла кровать, заваленная каким-то барахлом, и стол с выщербленными досками. Висел в простенке чей-то портрет.

С печи из-под знакомого розового одеяла торчали босые ноги.

На загнетке пламя лизало котел, обмазанный глиной. Демин хмуро потрогал медный змеевик:

— Сам ломаешь?

— Не лапай, — проворчал Петухов.

— Я акты писать не буду. Не люблю писанины. Ясно?

— Сопляк, а уже командует. Слыхали о такой птице.

Демин кивнул на печь:

— Агентура твоя работает.

— Догадливый ты, смотрю. — Петухов подошел к печи: — Эй, ахент, по твою душу пришли!

Розовое одеяло упало на пол. Ворча, Бородачев подобрал босые ноги и, повернувшись, заспанный, лохматый, глянул с печи мутными щелочками:

— А-а, начальник. Ну как там моя кроватка? Поди, умаялись на ней молодые.

Юля дернула мужа за рукав:

— Ну их, идем.

— Выйди, — ответил он. — Я с ними поговорю...

— Прыток ты, парень, — зевнул Бородачев. — Поди, и аппарат ломаешь? Егор, а вчера он твой первач хлестал за милую душу, не брезговал. Так, что ли, прораб?

— Ты мне скажи, почему эта изба до сих пор стоит на площадке? — шагнул к печи прораб.

— Стоит себе, хлеба не просит. — Свесив с печи босые ноги, бывший бригадир всем своим видом являл хитроватое равнодушие. — Вот гражданин Петухов не желает выезжать из своей избы. Не согласен с оценкой его личного имущества. Верно, Егор?

— За такие деньги? Дудки! Турнул я за порог таких оценщиков. А силком меня не выселишь.

— Высселим,— не слишком уверенно сказал Демин.

— Молокосос,— пробормотал старик.— Собака лает, ветер носит.

Бородачев захохотал и грузно спрыгнул с печи.

— Так его! Крепкая твоя порода, Егор. А ты, начальник, нарвался на орешек.— Стоял он перед Деминым под самую притолоку — в старых штанах, исподней рубахе, нагловатый, уверенный, еще хмельной — и беззлобно смеялся.— Тебя как учили, прораб? Напиши бумажку, шлепни печать — и все тебе исполнится, как в сказке. Освободит тебе площадку гражданин Петухов.

Старик усмехнулся, тряхнув реденькой бородой.

— Бумажкой меня не возьмешь. Я закон знаю. Закон за меня.

— А самогон гнать — это тоже по закону? — крикнула от двери Юля.— Постыдились бы в вашем возрасте! Развращаете молодежь!

— И генеральша подала голосок,— весело сказал бывший бригадир.— Агитирует!

Демин швырнул окурок в печь:

— Как бы не пришлось агитировать по-другому!

— А ну! — Бородачев нагнулся к нему, дыхнул перегаром. Под глазами-щелчками зло натянулись острые скулы.

— Будя вам! — разозлился старик.— Проваливайтесь да в сенцах деритесь.

Бородачев прикрыл злость усмешкой:

— Еще отвечать за него. Шелчком перешибу.

— Да что с ними говорить! — покраснев, сказала мужу Юля.— Были бы люди...

— А мы не люди, мы звери лесные,— буркнул Петухов, почему-то обидясь.

Демин застегнул полушубок:

— Так вот, Петухов, даю тебе сутки. Мне нужно строить. Понял? Потом пеняй на себя.

Старик пристально посмотрел ему в глаза:

— Зарвешься, парень!..

И когда они вышли из этой избы, пропахшей сивухой, было очень обидно, что для них уже начались

будни. Три дня праздничных, свадебных уложились в двадцать четыре часа. Где-то близко, за ельником, уже лязгали гусеницы. В студено-голубое небо летели черные кольца дыма.

И, обогнав бульдозер, уже шли к ним по дороге тасеевские работяги. Первым — Ромка с его несерьезной бородкой и в валенках не по росту. Потом — зятый в телогрейку, по-солдатски обстоятельный Василий Матвеевич Самохин с мотопилой «Дружба» на правом плече. А последним — Чибицов, как всегда, небрежно-щеголеватый, с расстегнутым воротником, в заячьей ушанке набекрень. Заметив Юлю, он сдвинул шапку совсем к затылку и выпустил на волю кудрявый чуб.

И пока Демин стоял и ждал их на дороге, он все думал, кому же из них быть бригадиром, и, боясь ошибиться, не доверяя себе, старался увидеть их всех глазами Антонова.

— Здравствуйте! — с открытой мальчишеской радостью крикнул издали Ромка.

Самохин, подойдя, поздоровался, снял с плеча мотопилу и поставил ее к ноге, как винтовку.

— Привет! — чуть красуясь, небрежно сказал Чибицов и посмотрел на Юлю.

Демин засмеялся:

— Ну, ну, на мою жену не заглядывайся. Танцы кончились. Пошли трудовые будни.

— Так-таки сразу будни? — в тон ему спросил Чибицов.

— Я же говорил! — с радостью выпалил Ромка. — Это вам не Бакушкин!

Скрывая улыбку, Самохин пошарил в карманах и вытащил пачку «Махорочных».

— Закури термоядерных, — сказал он дружелюбно.

Демин взял сигарету. «Термоядерные» драли горло, но зато чувствовались на морозе.

Пока шел перекур и разговоры о деле, Юла стояла около мужа, кутаясь в теплый платок. Потом Самохин снова вскинул пилу на плечо, и мужчины пошли через поле к увалу. И Юля с грустью смотрела вслед мужу: впервые в жизни она провожала его на работу, впервые с ним расставалась.

Бульдозер шел к ней, грохоча ножом по мерзлой дороге, и Юля отступила в снег. Солнце сияло в во-

гнутом, отполированном ноже, словно в зеркале. Сквозь стекло был виден в кабине Нехай, а рядом с ним — Митя Грач.

Поравнявшись с Юлей, бульдозер остановился, и Грач открыл дверцу:

— Девушка, замерзла? Давай к нам, подвезем, согреем.

Юля, смеясь, потерла варежкой нос:

— Я вам не девушка. Я законная жена.

— Ай, опоздали! — развеселился Грач. — Ну пока, замужняя.

Дернув гусеницей, бульдозер круто свернул с дороги и пошел к избе Петухова — прямо в петуховские шатровые ворота, которые одиноко торчали на пустыре. И Юля засмеялась, зная, что это для нее озорует Нехай, показывает ей класс. Гусеницы прошли ворота впритык, не задев столбов, только с шатра от сотрясения легонько осыпался снег.

Потом бульдозер свернул к увалу. Там, на снежном пологом склоне, у подножия старой лиственницы уже тарахтел, набирая силу, моторчик «Дружбы». Голый пик дерева врезался высоко в небо.

Юле было холодно, но она все стояла и смотрела туда, пока там не оборвался визг мотопилы и, беззвучно и плавно падая, лиственница косо срезала горизонт и с тяжким, глухим ударом взметнула сухую снежную пыль. «С почином, Володя!» Облако пыли закрыло увал. «Где ты там?» И, беспокойно всматриваясь, она вдруг впервые, еще смутно, одним сердцем поняла, как он ей близок, как без него тревожно. Не за свадебным столом, не в грузовичке, тесно прижавшись друг к другу, даже не в эту долгую лунную ночь, слыша рядом его дыхание, а только теперь, одна, без него, укрытого где-то там снежным облаком, до конца ощутила она, что им быть вместе всегда, всю долгую жизнь, в горе и радости. И ее охватила какая-то бесконечная, еще незнакомая, небывалая теплота...

В тот же вечер в барак пришел Бородачев. На кухне ужинали за артельным столом. Но Демин, был у себя, и Бородачев появился на пороге его комнатухи, оглядывая тюлевуую занавеску и чисто убранные кровати.

— Красиво живешь, начальник.

Демин сидел за столом один, жена хлопотала на кухне. Свет лампы падал на проектную кальку с синими и красными линиями.

— Была и у меня супружница,— сказал Бородачев, прикуривая от лампы. Пламя вытянулось и мигнуло, оставив на стекле след копоти.— Спуталась, стерва, пока я в дальних местах загорал.

— А где тебя носило?

— Где Макар телят не гонял,— усмехнулся Бородачев и с папирсой в зубах полез под бывшую свою кровать.— Сапоги я у тебя забыл.— Он вытащил резиновые сапоги с рваными голенищами. И, обтирая с них пыль, спросил: — Ну так как, прораб? Выходить мне на работу?

Этого Демин не ожидал. Скорее поверил бы, что исчезнет бывший бригадир из Тасеевки навсегда вместе со своим розовым одеялом и рваными голенищами.

— Что ж, пойдешь разнорабочим,— ответил Демин. Шел он ва-банк. Ждал — вот не выдержит тот, взорвется, шибанет табуретку, как в прошлую ночь. Тем и кончится их недолгое перемирие. А мира между ними быть не могло, это он знал твердо.

Но, усмехнувшись, бывший бригадир согласился и на разнорабочего.

— Только запомни, прораб,— ты Петухова не трогай. Убью! — вдруг шепнул он мягко и ласково, стиснув глаза в тугих, как щетина, белесых ресницах.

Не от него ли бежал тогда Бакушкин в темень морозной ночи?

Стало так тихо, что, обманувшись тишиной и покоем, в стене подал голос сверчок.

— Володя, открой! — Это Юля стукнула в дверь.

Бородачев отступил. Демин прошел мимо него и открыл дверь. Юля в одной руке держала чайник, в другой — сковороду с картошкой.

— Муж, ужинать!

Но, переступив порог, она увидела Бородачева и молча поставила сковороду на стол. Непрошенный гость так же молча вышел из комнаты. И дверь не хлопнул, а притворил ее тихо и вкрадчиво, и Демин подумал, что лучше бы кончить с ним сразу, чем играть вот так в кошки-мышки.

— И чего ему надо! — сказала Юля.

— Сапоги забыл,— ответил муж полуправду.

— Я почему-то его боюсь. Не ссорься с ним, ну его в болото, пропойцу.

— Трусиха ты.— Он потрогал на ее шее тонкую золотую цепочку.— Моя трусиха.

— А знаешь,— засмеялась она,— у нас с тобой уже юбилей. Уже два дня, как мы поженились. Мы супруги со стажем.

— И ты у меня уже ста-аренькая.

— Нет, я красивая! Ребята за мной ухаживают. Даже Самохин помогал жарить картошку. Я у тебя еще молоденькая. А ты меня еще любишь?..

Остыла картошка на сковороде и в лампе потускнел керосиновый огонек, а они все шептались обнявшись.

Но непрочно было их одиночество. За дощатой стеной, в общежитии, все громче шумели пьяные голоса. И, прислушавшись, Демин не выдержал: оставил жену и пошел в коридор.

В коридоре под лампой Самохин дымил «термоядерной» и читал вслух газету. На табуретке сидел старик сторож с винтовкой и в казенном тулупе. Слоями плыл махорочный дым.

Послушав громкую читку и закурив, Демин спросил, что там за праздник у них в общежитии.

Самохин нехотя оторвался от газеты.

— Обыкновенное дело,— сказал он.— Петуховский самогон.

Сторож усмехнулся:

— Три бутылки приволок Борода. Чего-то он разошелся.

— А вообще, что он за человек? — спросил прораб.

— Кто его знает? — ответил Самохин.— Болтают, отсидел срок, потянуло на честную жизнь. А деньги он любит, факт. Свое всегда возьмет.

— И еще чужое прихватит,— проворчал сторож.— Сообразительный, да не туда соображает.

— А куда? — Демин прислушался к голосам в общежитии.

— Поди разберись.

Демин чувствовал, что старик не досказывает — побанвается бывшего бригадира или ему, новому прорабу, не доверяет. Узнал он только, что в Тасеевке Бородачев появился, отбыв срок по темному делу, на

первых порах помалкивал, и его взяли в бригаду «в целях трудового воспитания».

— Этого волка корми! — Сторож сердито притоптал на полу окурков и запахнул тулуп. — Ну, мне пора.

Он ушел на свой пост, а Демин с Самохиным стояли в коридоре, курили, слушали ожесточенные голоса из-за двери.

— ...Я, говорит, тебя, Петухов, выгоню, как собаку! Плевать, говорит, мне на закон. Братцы, да он нас всех тут разгонит! Прокурору надо писать!

Это Бородачев — его слова, его и музыка. А вот запальчивый дискант Ромки:

— Это твоего Петухова надо под суд! Самогонщик!

— Прокурор разберется! Митька, тащи бумагу!

— Сей момент! — Митя Грач захохотал.

— Ребята, к Егору бы сбегать, добавить, — прогудел бас Нехая, и Демину вспомнилось, как этот хмурый, неразговорчивый, полюбившийся ему работяга дотемна ворочал и рвал трактором лес на увале. А вот сидит Нехай за пустыми бутылками — и нет работяги, нет Нехая.

И снова пьяненький, с хитрецей голос бывшего бригадира:

— Митька, пиши! Мы, нижеподписавшиеся...

И вспылчивый окрик Чибисова:

— Брось крутить! Он парень дельный. Не Бакушкин.

— Митька, пиши!

— Борода, заткнись, зараза!

Что-то там громыхнуло, наверное табуретка. Нахмуясь, Самохин по-строевому подтянул ремень.

— Ты погоди, не ввязывайся, прораб.

Он вошел в общежитие и прикрыл дверь. Там стало тихо. Потом захохотал Бородачев:

— Ничего, она у нас привыкнет. Братцы, выпьем за новобрачную! Культурная девочка.

Крутит, хитрит Борода!

Да, у него изворотливость и опыт всей его хитрой жизни и знание человеческих слабостей. А что у тебя, кроме диплома с непросохшей печатью и веры в человеческую справедливость?

Демин стоял и смотрел в окно. Над темными пих-

тами, над рекой висела луна. И вокруг — ни одного огонька.

Но ведь есть и яростный спор там, за дверью. Есть люди. Прибавь их к твоему диплому и твоей вере. Все собирай по крупинкам. Все сложнее, чем тебя научили на лекциях, чем ты думал, к чему ты готовился.

Он оделся и быстро ушел, сказав жене, что идет к Петухову...

Он шел по дороге, к избе Петухова, и мысленно уже спорил с ним и подбирал для него самые веские и убедительные слова.

Было морозно, где-то лопнуло дерево, и эхо замерло в стылой, ночной тишине. Над тайгой висел яркий шар полной луны.

Изба Петухова одиноко темнела на пустыре. Ее окна не светились. Шатровые ворота торчали, словно забытая, обветшавшая декорация, и бросали на снег четкую тень.

У крыльца прораб опустил воротник полушубка и обмел сапоги. И хотел было войти в дверь, как услышал вдруг за избой какое-то звяканье. Постояв, он с осторожностью заглянул за угол дома.

В свете луны там виднелась фигура старика Петухова, который тюкал лопатой заледенело-звонкую землю. Потом Петухов снял рукавицу и пошарил в ямке. Она была пуста. Петухов забросал ее снегом и с лопатой пошел вдоль своего бывшего заплота, когда-то окружавшего дом.

Там, где стоял покосившийся столб, старик огляделся, будто припоминая знакомое место, в раздумье ковырнул снег лопатой и, постояв, пошел обратно к избе.

С каждым шагом его фигура все яснее проступала в лунной, морозной мгле. Старик казался усталым, в бороденке блестел иней.

Демин отступил в тень и прислушался. Скрипнуло крыльцо, в сенях, загремев, упала лопата. Хлопнула дверь. Потом в избе зажгли лампу, и на сугроб под окном легла неяркая полоса света.

Только тогда Демин почувствовал, как у него замерзли ноги в кирзовых сапогах. Он закурил и, согре-



ваясь, быстро пошел по дороге домой, и думал уже о том, что слова, которые он подбирает, для Петухова были бы пустой шелухой.

Луна угасала, темнело. У горизонта тлело далекое зарево — огни ГЭС строя. Как зарево гавани, откуда он вышел в опасное плавание. И вот уже первая штормовая волна накренила его суденышко.

Сквозь ельник проглянуло окно барака, и Демин вспомнил, что Юля ждет к ужину.

В бараке было тепло и тихо — все спали. Демин снял промерзшие сапоги и отнес на кухню, к горячей печи. За кухонным столом Марфуша и Ромка чистили картошку к утру — на всю бригаду.

— Бродишь, полуношник, прости господи, — зевнула Марфуша. — Да ты ставь на загнетку, высохнут.

— Однако холодновато, — сказал он, примостив сапоги.

Ромка недовольно швырнул в котел очищенную картофелину.

— Ходили уговаривать? Ребята говорят, хватит с ним валандаться.

— С кем опять не поделили? — спросила Марфуша.

— Да с Петуховым! — Ромка сердито резанул картофелину.

И вот Демин тихо открывает дверь в свою комнатушку.

Юля спит, не дождавшись его, пригравшись под пуховым оренбургским платком. Около кровати лежит книга — «Анна Каренина».

Он поднимает книгу и кладет на стол. На столе у лампы-семилинейки стоит сковорода с остывшей картошкой.

Тут все просто и ясно — дом, жена, книги, сковорода с картошкой. Нужно поесть и спать — тоже понятно.

Он подвигает к себе сковороду, отрезает хлеба. Буханка лежит на папке с чертежами карьера. И там, в чертежах, тоже полная ясность — твердые линии на кальке, цифры и директивные подписи. Что к чему и в какой срок.

Красная, генеральная линия на кальке непоколебимо пряма, как стрела удара в плане сражения.

Ведь любая диспозиция не ставит иной цели, кроме победы.

И все-таки полководцы проигрывают.

Юля улыбается во сне, и он думает, что еще никогда не видел у нее такой сонно-покойной улыбки.

А знаешь, жена, там, на заснеженном поле боя, стрела удара согнулась о бревенчатую стену последней тасеевской избы. И ни на одной кальке об этом нет ни слова. Не предусмотрен такой вариант. Проектировать любят в идеале, с излишком потребной техники. А потом получают любую половину и, чертыхаясь, дают план. Тоже ясно: дай план — и точка!

И, забыв о холодной картошке, он сидит и все думает, думает о том, что видел у одинокой избы...

Утром вдруг потеплело, брызнуло солнце, потянуло весной.

По талому снегу бригада гуськом пробиралась к петуховской избе.

А когда все подошли к самому дому, на крыльце появился хозяин — Егор Петухов. Закрыв свою дверь, он навесил на скобу амбарный замок с ржавой дужкой, ключ спрятал за пазухой и, обернувшись, молча оглядел их с крыльца — прораба и всех остальных, кроме Бородачева.

На бывшего бригадира Петухов не взглянул — за него был спокоен. Тот стоял в стороне и покуривал, делая вид, что его хата с краю. Рано утром, как ни в чем не бывало, как самый примерный работник, он явился к бригадному котлу с горячей картошкой и салом — вроде пришел с повинной после вчерашнего шума. И даже помалкивал, когда за столом спорили, будут ли сегодня раскидывать по бревнышку петуховскую избу.

— Слышал я, желаете разорить мой домишко? — спросил с крыльца Петухов.

Прораб ответил, что нужно освободить строительную площадку.

— Ну, ну, пробуй, замок у меня крепкий. — Петухов запахнул полушубок и спустился с крыльца по шатким ступенькам.

— Вот саботажник! — вскипел Ромка.

— И закон за меня! — закричал Петухов и по тропе пошел прочь от своей избы.— Только сунься!

И хотя он, Петухов, наверное, делал все по закону, Демину было немного жаль старика, покидающего свой обреченный дом.

Он воткнул топор в бревенчатую стенку и закурил, жадно затягиваясь перед долгой и трудной работой.

Ставни избы были закрыты железными болтами-чекушками. Тяжелая лиственничная кладка лежала в пазах намертво.

Обухом топора Самохин постучал по темному дереву. Удары были звонкие: с годами лиственница твердеет, как дуб, не поддаваясь тлену.

— Бульдозером бы ее,— неуверенно сказал Самохин.

— А где Нехай? — спросил Демин.

— У него мотор барахлит.

— С перепоя у него заклинило,— фыркнул Ромка.

— Ладно, примолкни,— сказал ему Чибисов и глазом примерился к избе.— Такую дуру легче взорвать, чем растаскивать.

— Тебе бы только взрывать,— впервые подал голос Бородачев.

— Кому что,— огрызнулся Чибисов.

Демин посмотрел на дорогу. Петухова уже не было. Наверно, ушел в барак, к теплу — ждать, чем все это кончится.

— Быстро ты обернешься? — спросил Демин у подрывника.

— По-быстрому? — обрадовался Чибисов настоящей работе.— Полчаса.

Он побежал за взрывчаткой, а Демин поднялся на крыльцо и потрогал тяжелый замок с медным язычком, позеленевшим от старости.

— Дай топор,— сказал он Бородачеву.

Тот усмехнулся:

— Отчаянный ты, прораб. Знаешь, что за это бывает?

— Знаю! — отрезал прораб, хотя и понятия не имел, что ему будет за эту лихость.

Одну секунду он колебался. Но отступить было поздно, и, размахнувшись, с великой злостью ударил он обухом по скобе, успев только подумать, что, наверно

но, делает глупость, что не так, не так нужно поступать, что ошибся Антонов, доверив ему Тасеевский карьер.

— Эх, семь бед, один ответ! — захохотал Бородачев и всем грузным телом навалился на дверь.

Спустя минуту все было кончено. Амбарный замок валялся на крыльце, дверь была распахнута, из полутемных сеней тянуло слабым запахом самогона.

Демин поднял замок и положил на перила:

— Не пропал бы замочек. Чужая собственность.

— Чего там! Проклятый пережиток прошлого, — с лихорадочной веселостью сказал Бородачев. — Входи, прораб!

В избе было темно, холодно, печь не топилась, стоял застарелый перегар махорки и сивушной барды. Громыхнув в темноте, Самохин распахнул ставни.

Демин огляделся. Вещей у старика было немного — кровать, стол, сундук, кое-что из одежонки и всякий хлам в сенях, которым давно не пользовались. Красной медью блестел в углу змеевик самогонного аппарата.

Подскочил Ромка и со злорадством вырвал змеевик из котла.

— Жаль, машина была классная! — усмехнулся Бородачев и полез на печь за своим розовым одеялом. Как рачительный хозяин, он ничего не забыл своего — ни резиновых сапог с рваными голенищами, ни подушки, ни фанерного чемодана с проволочной петлей. — Опять меня выселяешь, прораб!

Но на этот раз он выселялся очень охотно, даже с прибавками, и Деминна не покидала тревога. Он сам проверил, все ли вынесено из дома. Будто спасенные из пожара, петуховские небогатые пожитки были свалены на столе среди дороги.

Потом Самохин взвалил на плечо сундук и пошел к бараку размашистым строгим шагом. Ромка едва поспевал за ним, волоча узел с петуховской одежонкой.

А у избы уже появился Чибисов с мотком бикфордова шнура через плечо. Он развязал бумажный мешок с аммоналом, и его движения были точны и медленно мягки, без той беззаботной небрежности рубахи-парня, которой он щеголял.

Демин ушел за дорогу, подальше, лег в снег, и оттуда смотрел на покинутую всеми избу с рас-

пахнутыми настежь дверями и окнами, и думал, что все-таки не мог поступить иначе.

Чиби́сов уже заложил взрывчатку и протянул по тропе бикфордов шнур в яркой оплетке. Из-за пазухи он достал красный флажок и спички и присел на корточки. Потом, прикрывая ладонями огонек, поджег шнур.

И через секунду Чиби́сов бежал к дороге. Бежал легко и расчетливо, стараясь не поскользнуться, и над головой держал красный флажок. Перемахнув дорогу, он лег в снег рядом с Деминым.

Где-то поближе к избе, за полуразрушенной печью, укрылся и Бородачев.

Демин взглянул на часы: последняя минута последней тассевской избы. И уже шипит горячий бикфордов шнур, и ничто на свете не остановит того, что должно случиться. Демин уже не думал, правильно ли поступил,— все это, самое трудное, было уже позади,— а просто ждал и смотрел, как по тропе, чуть приметный издалека, бежит, извиваясь, синий дымок. Вот он у крыльца, поднимается по ступенькам, вот сейчас юркнет через порог в пустую избу — в заряд аммонала.

— Стой! — вдруг рывком вскинулся Чиби́сов. — Сто-ой, гад! — Красный флажок запылал над ним близкой бедой.

И в то же мгновение и Демин метнулся наперерез Петухову, бегущему по дороге к своей избе.

Потом он вспоминал, что в эти секунды все происходило как-то замедленно и беззвучно, и казалось, что на его глазах бородастый старик в распахнутом полушубке бесшумно и плавно летит прямо в огненную пасть взрыва, и он даже вытянул руку, чтобы схватить его на лету. Но вдруг старик исчез, мелькнув перед ним полой полушубка, Демин с маху налетел на живой ком в снегу и, уже падая, ощутил, как содрогнулись под ним далекие глубины земли.

Потом в звенящей тишине он услышал стук кирпичных осколков по мерзлой земле.

Он протер глаза, ослепленные снегом, и увидел Чиби́сова, который, распластавшись, своим телом закрывал старика.

Последний, заблудившийся в высоте обломок кирпича тюкнул в сугроб неподалеку от них.

— У-у, гад! — без зла, с облегчением выругался Чиби́сов и стал поднимать старика.

Наверное, Петухов сидел в бараке, в тепле, выжидая, но, увидев, что Самохин несет его сундук, понял все и бросился спасать избу.

Теперь он стоял на дороге, обессиленный, сгорбившись, еще более постарев. Покорно он дал стряхнуть с себя снег и застегнуть полушубок.

— Ну, успокоился? — Демин вытер свой потный, холодный лоб, удивляясь, как можно так вспотеть на морозе. — А за дом ты получишь сполна. Все, что тебе причитается по оценке. Акт я напишу.

— Я на тебя найду управу, — вяло пробормотал Петухов.

Чиби́сов разозлился и заорал:

— А чего ты устраиваешь саботаж? Долбанули твой курятник — и правильно. Иди, жалуйся! Дает тут концерты!

— Все одно, моя земля, по закону!

— А иди ты!.. — И Чиби́сов еще долго ругался, отводя душу после того, что пережил минуту назад.

А там, где минуту назад была изба, висело облако пыли. Сквозь эту завесу темнело черной копотью развороченное нутро печи. Оседая, кружились хлопья сажки.

Вместе с запахом сухой, застарелой пыли из развалин тянуло сивушной бардой.

Шатровые ворота сбило наземь, и над сугробом торчал расщепленный обломок столба. Но куст рябины около избы уцелел. Взрыв только сорвал с веток бахрому инея, и рябина покачивалась оголенно-тонкая, как ранней весной.

Демин подошел ближе и увидел, что бревна разворотило до нижнего венца. Он прикинул, что для бульдозера работы осталось на пару часов и можно будет сразу начинать вскрышу.

В пыли кто-то закашлялся, хрустнуло битое стекло. Демин шагнул туда, в пепельную муть, просвеченную солнцем. Треснув, под ним осела балка, загремел обломок чугунного котла.

В мутной пелене он разглядел Бородачева, который стоял на коленях и поспешно разбрасывал руками обломки кирпичей и щебня. Шапки на нем не было, но он этого даже не замечал.

— Ты чего потерял? — спросил Демин.

Бывший бригадир оглянулся и вдруг исчез.

Кашляя, Демин выбрался из пыли и услышал оклик Чибисова:

— Куда вы, к черту, полезли! Я еще там не проверил.

Отдышавшись, Демин сказал:

— Не знаю, чего он там ищет?

— Борода-то? Наверное, петуховское золото, — засмеялся Чибисов. — У него там кубышка пуда на два. Верно, старик?

Петухов стоял рядом с ними у развалин избы.

— А-а, какое там золотишко! — пробормотал он. А острым глазом косился туда, где в пыли исчез его друг-приятель.

— Да ты не боись, Егор, у меня как в могиле, — подмигнул ему Чибисов. — Знаем, прячешь ты золотишко. Говорят, промышлял ты золото в давние времена. Болтают, продаешь потихоньку свои золотники за хорошую цену.

— Клевета! — быстро и твердо сказал Петухов.

— Ладно, оправдываться будешь в милиции, — рассмеялся Чибисов и крикнул в светлеющее, пронизанное солнцем, пыльное облако: — Эй, Борода, одолжи миллиончик!

Из мутной мглы неохотно показался Бородачев, потный, грязный, без шапки, с беспокойными, бегающими глазами.

— Золотонскатель! — захохотал Чибисов.

— Ну что, Борода, нашел? — со злостью спросил Демин: он уже многое понял в этой темной истории с последней избой.

Бородачев воровато отвел глаза:

— Шапку я потерял, не видели, братцы? Все там обшарил, искавши.

— Шапку он там потерял, — проворчал Петухов. — Он там ворон в небе считал, шапка свалилась.

Словно не слыша старика, Бородачев сапогом поддел в снегу медный змеевик.

— Эх, прораб, лишил ты нас радости жизни. — Он зло усмехнулся. — Придется мотаться за выпивкой в леспромхоз.

А Петухов, распаясь, закричал:

— В кумовья лез, защитник! Прикинулся! Думал, на след тебя выведу? Выкуси!

Бородачев бешено сжал скулы:

— Топай отсюда, старый хрыч!

— Выкуси, пес! Не вышло!

Демин взял старика за плечо:

— Шел бы ты в барак, Петухов.

— И ты мне ответишь! По закону. Прокурору буду писать!

— Пиши, жалуйся! — насмешливо крикнул Чибисов. — Считаю, скупой рыцарь, свои червонцы, успокаивай себе нервы.

— Свои посчитай, босяк!

Голоса их заглушил грохот бульдозера, который шел к бывшей петуховской избе.

Когда бульдозер остановился, из кабины выпрыгнул Митя Грач.

— Ай, ай! — притворно ужаснулся он. — Разделали Егора, как бог черепахи.

Чибисов засмеялся:

— Митя, ищи, тут у Петухова кубышка с золотом.

— А что, бывает, — полусерьезно сказал Грач. — Вот, рассказывают, умерла одна нищая, а у нее в матрасе целый миллион.

— Заткнись! — заорал Бородачев и швырнул окурок в снег.

Болтливый Митя Грач вдруг смолк, съежился и полез обратно в кабину.

— А ну, давай! — крикнул ему прораб. — Давай, Грач!

Мотор взревел, гусеницы подмяли оголенный куст рябины. Пригнувшись к стеклу, Грач с ходу врезал нож под уцелевший нижний венец. Бревна трещали, и, напрягаясь, бульдозер дыбился и скреб траками по мерзлой земле.

Развалины избы снова заволокло клубами сухой, лежалой пыли...

А к вечеру это петуховское золото и впрямь сыпалось на стол тонкой струйкой песка и самородков-горошин. Лишь один тускло-медный, тяжелый камешек был величинной с вишню, и Демин взвесил его на ладони и поскоблил ножом. На мягком металле блеснула



ярко-желтая полоса и сразу стала тускнеть, запотевая с мороза.

Демин вытряхнул последние золотые песчинки из кожаного мешочка, который Ромка нашел в глыбах земли на стройплощадке.

Золото горсткой лежало на артельном столе у керосиновой лампы. И все толпились вокруг стола, рассматривая самородки и удивляясь, какие они неказистые с виду — просто тяжелые камешки с металлическим отливом, до округлости обкатанные в таежных ручьях.

И от этих желтоватых камешков ни у кого руки не дрожали. Хотя, по всем книжным источникам — по «Острову сокровищ» или по «Угрюм-реке», — у человека при виде живого золота должна непременно начаться трясучая золотая лихорадка.

— Подумаешь! — фыркнул Ромка, поправив на носу очки. — А вот видел кто из вас настоящий уран? Или плутоний?

Чибисов засмеялся:

— Какой любознательный юноша! Может, тебе интересно еще знать, свистит ли атомная бомба, когда падает?

— А что? — серьезно сказал Ромка. — По всем законам физики она должна свистеть.

— Типун тебе на язык! — рассердился Самохин, сгребая самородки в кучку.

— Я же теоретически, — упрямо сказал Ромка.

— Теоретик! — засмеялся Демин. — Кстати, когда у тебя экзамены?

— В августе. Трудовой стаж я заработал. Поеду в Новосибирск, к академику Соболеву. Там такой конкурс!

— Не боись, — подмигнул ему Чибисов. — С мешком золота примут вне конкурса. Только зайкнись о своей находке.

— Да это не мое! — обиделся Ромка. — Это Петухов спрятал.

Стоявший у стола Бородачев с издевкой сказал старику Петухову, который молча сидел в углу:

— Жмот! Все дурачка из себя строил.

Егор Петухов не ответил, не шевельнулся. С прилипшим к губе окурком он так и застыл на своем сундуке и, не мигая, издали ощупывал глазами каждую

горошину на столе. Оцепенело смотрел он, как прораб ссыпает самородки обратно в мешочек и по-хозяйски стряхивает с газеты каждую золотую пылинку.

— Хватит, ребята, полюбовались.— Демни затащил тяжелый мешочек.— Составим протокол и сдадим в милицию.— А если это твое,— сказал он Петухову,— напиши заявление. В милиции разберутся.

— Пиши, Егор! — насмешливо крикнул Грач.— Они там быстро с тобой разберутся.

— Силен, прораб,— ухмыльнулся Бородачев.— На бога берет.

Тот не понял, над чем они потешаются.

— Ты, Петухов, не темни! — хохотал Митя Грач.— Раскальвайся, Егор, пиши на себя заявление. Мол, укрываю государственное достояние — рассыпное и самородное золото. Может, у тебя еще килограммчик зарыт? Напиши, Егор, обрадуй милицию, она до тебя давно добирается.

Петухов усмехнулся в лицо прорабу, как малолетнему дурачку:

— Ну чего пристал? Знать не знаю, чье то золотишко.

— Не твое? — Прораб не поверил.

Петухов прищурился:

— Статью мне пришиваешь, начальник?

— С конфискацией,— подсказал Грач.— Чтобы тебе за избу не платить.

— А пусть попробует доказать,— нахмурился Егор Петухов.— Я закон тоже знаю. Пусть сначала докажет.

— И докажу! — сказал Демни.

— Знать не знаю! Выкуси! Не мое!

— Твое! — крикнул Ромка.— Докажем!

— Катись ты!..

— Тихо! — стукнул по столу Самохин. Стукнул так, что на артельном столе, подпрыгнув, мигнула керосиновая лампа.— Тихо! За стенкой все слышно. А там женщина — соображать надо!

«А там женщина — соображать надо!» — гремело за тонкой дощатой стенкой.

И Юля слышала, с каким грохотом Самохин наводит там тишину. И с грустью думала, что и это смеш-

ное самохинское усердие она будет потом вспоминать.

Она одиноко сидела в своей комнатушке. За окном начинало темнеть,— кончался последний свадебный день. Еще одна ночь, и рано утром она соберет вещички, перейдет на тот берег реки, и в леспромхозе муж усадит ее на какую-нибудь попутную машину.

Она будет ехать обратно по знакомой леспромхозовской просеке, по шоссе, через мост, своей улицей и наконец войдет в свою комнату, где все, конечно, по-старому: тетя Глаша с ее заботливой воркотней, линялые ситцевые занавески на окнах, часы-ходики, украшенные сухим бессмертником, розовая гулкая раковина из Крыма, которая издавна лежит на комодe, а за ширмой, на девичьей узкой кровати так и висит ее старый халатик,— с собой, в Тасеевку, она его не взяла.

И снова потечет ее девичья жизнь в угловом промтоварном: «Девушка, покажите! Девушка, отмерьте!» Лампы дневного света над прилавками будут казаться ей слишком яркими после тасеевских керосиновых семиллинеек. И, отмеривая покупателям километры ситцев, шелков и штапелей, она все будет думать о муже, о том, как он живет там, в Тасеевке, вдали от нее, и будет ждать его, и все вспоминать эти очень короткие ночи и дни вместе с ним в этой тесной тасеевской комнатушке, к которой она уже успела привыкнуть.

Юля сидела, думая и грустя, пока за стенкой не смолкли громкие голоса.

Вошел ее муж и со стуком швырнул на стол тяжелый кожаный мешочек:

— Все из-за этого золота, будь оно проклято!

Вздыхнув, Юля потрогала свою тонкую золотую цепочку:

— Володя, ведь это тоже золото. А если и оно принесет нам несчастье?

— Ну, это ты уже с перепуга. То — совсем другое дело. Вроде символа без объявленной ценности. Ты, Юлька, суеверна, как старая бабка.

— Разворчался, старый муж! — Краешком платка она вытерла на его лице пятна сажки и копоти. — На кого ты будешь тут ворчать без меня? — С тревогой она заметила, как осунулось и потемнело его лицо за

эти три дня.— Никуда я от тебя не уеду, слышишь, не оставлю тебя одного.

— Не выдумывай. Тебе пора собираться.

Он закурил, открыл форточку. Повеяло влажным запахом снега и хвои.

— Утром выйдем пораньше, пока не начало таять,— сказал он, не обернувшись.

Она с шумом задвинула пустой чемодан под кровать в дальний угол.

— Не поеду я к тете Глаше за ширму!

— Юлька, ты неразумная!

— А ты и рад! — вдруг сказала она лукаво.— Ну, признавайся. Рад, по глазам вижу. Такая тебе и нужна — неразумная. Которая со свадьбы пошла за тобой в тайгу.

Он рассмеялся:

— И такая глазастая. Которая видит все.

Она потянулась к нему на цыпочках:

— Прораб, возьми меня на работу. Я буду тебе помогать, я смышленная. Не прогоняй меня от себя.

Ответить он не успел: в дверь постучали.

— Ну вот, опять,— с досадой сказала Юля.— Входите!

Это был Петухов, смиренно-тихий, без шапки, как бедный проситель. Но глаза его сразу заметили на столе тяжелый мешочек и уже не могли от него оторваться.

— Что, передумал? — спросил Демин.— Твое золото?

— Нет, я насчет акта,— пробормотал Петухов.— За избу с тебя причитается. Пиши бумагу, начальник.

— С такого начальника хоть шерсти клок,— усмехнулся Бородачев. Он стоял у порога и через голову Петухова тоже смотрел на заветный мешочек.

Демин, подумав, снял с гвоздя полушубок.

— Ладно, я выйду, поговорим. Заодно посмотрю, как там, на площадке.— И, одеваясь, он негромко шепнул жене: — Ты завтра все-таки поезжай, тебя ждут. А потом, может быть, ты вернешься ко мне.

— Конечно, вернусь,— улыбнулась она, скрывая при чужих свою радость.

Демин взял со стола тяжелый мешочек и вышел с Петуховым в коридор.

Барак спал, было тихо, у потолка тонко шипела «летучая мышь». На кухне за столом Ромка читал книгу.

— Ну, Петухов, потолкуем. Акт я тебе напишу, свои деньги получишь. А вот с этим как быть? — Демин взвесил на ладони мешочек.

— А то не моя забота, — хмуро и твердо ответил старик. — Знать не знаю. Уйду в город — и дело с концом.

— Брось, не дрейфь, Егор, — сказал Бородачев. — Бьют — беги, дают — бери.

— А-а, — махнул рукой Петухов. — Что с воза упало, то пропало.

— А на возу у тебя еще много? — жестко спросил Демин.

И опять — как тогда, в общежитии, — старик усмехнулся ему в лицо:

— Ты и за это скажи мне спасибо. Схватил кусок — и молчи. Думаешь, поверю, что отдашь в милицию?

Демин чуть было не швырнул мешочек к ногам старика.

— Ну да что с тобой разговаривать, Егор Петухов!

— А может, все же столкнемся? — быстро вмешался Бородачев. — И концы в воду.

Демин молча сунул мешочек в карман полушубка. Потом толкнул дверь и вышел из барака, не сказав больше ни слова.

На крыльце он достал сигареты и закурил. Но снова хлопнула дверь, и появился Бородачев.

— Дай прикурить, — сказал он и, прикуривая, спросил вроде бы с полным безразличием: — На площадку пойдешь?

Демин кивнул, спустился с крыльца и пошел по дороге, хрустящей ледком.

Сквозь ельник вдаль просвечивали костры. Они ярко полыхали на пустыре — там, где утром стояла изба Петухова и где теперь будет первый забой.

Он шел, вспоминая Антонова: «Давай, Демин, на-верстывай. Давай к весне гравий». Ладно, думал он, будем ночью и днем жечь костры и взрывать мерзлый грунт: ведь весна и впрямь не за горами. От реки, из

тмы и льдов, уже тянуло чуть слышным, неясным шелестом: казалось, река дышала.

Вдруг где-то близко и звонко лопнул сучок. Демин взглянул туда, и ему показалось, что у дороги, около старой пихты, стоит человек.

— Эй, кто там?

Никто не ответил. Чья-то тень шевельнулась и скрылась за пихтой.

Демин нащупал в кармане тяжелый мешочек и оглянулся. Дорога была безлюдна. Далеко от него, за ельником, тускло светились окна барака.

Тогда он пошел прямо к пихте. Нет там Борода! Он не может быть там! Он где-то в бараке — сидит и материт Петухова. У Петухова он бы из глотки вырвал мешочек, тяжелый от золота, — тому некуда жаловаться. А в открытый бой Борода не пойдет: он хитер, но труслив.

Как-то сразу пришла к Демину эта уверенность. И он не ошибся: у пихты не было никого. За тень человека он принял клочок черного дыма, долетевшего от костра.

Вот и конец тебе, Борода. Ты как темная тень, и ты страшен для тех, кто не знает тебя. А тебя надо знать. И тогда крышка тебе, Борода!

Дойдя до стройплощадки, он огляделся. Высоко над кострами косматились дым и огонь. Из отвалов земли, словно из кратеров, крутятся и швыряя искры, взлетало языкастое пламя.

Лишь один костер, не занявшись, дымил чадно, беспламенно. У костра, в березовом пне, торчал кем-то забытый топор. Острым, ловким в руке топором Демин быстро натесал с пенька бересты и сунул ее тугие кольца в грудку углей.

И, враз вспыхнув и затрещав, черно-оранжевый огонек сноровисто втиснулся в щель между бревнами бывшей петуховской избы и стрельнул в небо первой искрой.

Давай, огонек, наверстывай!



## КОМАНДИР

Если театр начинается с вешалки, то полет — с бортироводницы, для пассажира, конечно. И поэтому у Вики туфли на шпильках, короткая юбка, китель в талию, чуть тронутые краской губы и каштановый завитой локон под пилоткой с золотыми крылышками, — и форма, и мода, и дисциплина, и косметика — все в меру, как на заманчивых рекламах Аэрофлота. Хотя нелегко быть такой подтянутой и свежей в обратном рейсе, после дальнего полета и короткого отдыха на земле.

Шла посадка, и Егоров, командир, стоял у люка и смотрел, как пассажиры тянутся на крутой синевелый трап. У последней ступеньки их встречала Вика: здравствуйте, проходите, пожалуйста, у вас первый салон, занимайте свое место, не толпитесь в проходе, пожалуйста, будьте добры.

Егоров взглянул на часы — до вылета было двадцать минут. Пассажиров у трапа осталось немного, экипаж занял свои места, пора и командиру идти в кабину. Он платком вытер лоб. Было жарко, солнце раскалило машину. Зато в полете будет прохладно.

Он надел фуражку и хотел было идти, как вдруг заметил у трапа паренька в белой рубашке. Рослый юноша, темноволосый, худошавый, как-то знакомо хмурясь, ждал, пока его спутница, наверное мать, найдет в сумке билеты. Лицо женщины было скрыто шляпой, но руки тоже казались знакомыми. Когда она подняла голову, Егоров увидел ее близоруко прищуренные глаза и тонкие губы.

Это была Надя.

А за ней стоял, улыбаясь, веселый блондин в шляпе, сдвинутой на затылок. Его, Сорокина, Егоров узнал сразу.

Тогда он узнал и юношу, вернее, догадался, кто он.

Егоров вдруг облизнул губы — остро, до боли захотелось курить, хотя он давно бросил свою последнюю, самую последнюю сигарету.

И пока трое поднимались по трапу, Егоров жадно смотрел на этого бывшего мальчика, которого видел один раз в жизни, лет десять назад.

И как отчетливо ему вспомнилась их первая встреча!

Тогда, в тот далекий день, он вел машину в Иркутск. Осенний туман внезапно закрыл трассу, и пришлось переждать непогоду на запасном аэродроме вблизи небольшого города. Но Егоров был даже рад, что судьба занесла его сюда: в этом городке жила Надя.

Узнав у синоптика, что до вечера погоды не будет, Егоров сел на попутный грузовик и спустя полчаса шагал по деревянным городским тротуарам. Моросил дождь, холодный ветер срывал с тополей мокрые листья.

Егоров шел к Наде, чтобы сказать ей нечто важное. Он давно представлял, как придет к ней и докажет, что он совсем не такой, каким остался в ее памяти. И то, из-за чего они расстались несколько лет назад, будет выглядеть совсем по-иному.

Надя работала в городском суде — в старинном особняке с колоннами. Егоров поднялся по стертым ступеням каменной лестницы. В полутемном коридоре горели тусклые лампочки. На дубовой двери с резьбой висела табличка: «Зал заседаний». Егоров открыл дверь и сразу услышал и узнал голос Нади. Она стояла за столом судьи и читала приговор. Она мало изменилась — тот же выпуклый лоб, тугий жгут волос и белая строгая кофточка. После судебного заседания он подошел к ней. Она, узнав его, вспыхнула, растерялась, потом сказала, чтобы он ждал ее внизу, у выхода и минут через десять появилась в плаще и берете, с хозяйственной сумкой, с зонтиком, вся какая-то настороженная.

— Надолго к нам?

— Случайно застрял, из-за непогоды.

— А-а,— протянула она с облегчением, сказала, что Егорова не узнать, и стала расспрашивать о его жизни. Он отвечал рассеянно и злился на свою нерешительность: не мог начать разговор о том, ради чего пришел к ней. И пока они не касались прошлого.

— Ты проводишь меня? — спросила она.— Я зайду в школу за Алешкой.

— У тебя сын?

— А разве ты не знал? — она посмотрела ему в глаза.



— Да, мне кто-то давно говорил, что у вас сын. Извини, забыл.

— Ничего,— сказала Надя.

Сын ждал ее возле школы. Она взяла его за руку и повела домой. Он был самым обыкновенным конопатым первоклассником в казенной фуражке с вензелем. Егоров заметил только, что мальчик застенчив и украдкой оглядывает его форму и золотые пуговицы с крылышками.

— Дядя, а вы летчик? — спросил он.

— Да, брат, летаю.

— Дядя, а мой папа тоже был летчиком.

— Не дядя, а Сергей Ильич,— перебила мать.

Она явно отвлекала сына. Ее Алеша, наверное, вообще любил приврать: «А вот мой папа! Знаете, какой он летчик!» А его папа, Сорокин, никогда не был пилотом. Правда, летал, но бортрадистом.

Они дошли до деревянного дома в два этажа.

— Ну вот мы и пришли,— сказала Надя.— Ты зайдешь? Или уже торопишься? — Она сняла с руки перчатку.

По этому ее жесту и по ее глазам Егоров понял, что она хочет проститься. Но он сказал:

— Мне нужно поговорить.

Она пожала плечами:

— Ты же знаешь, это бесполезно... Ну хорошо, идем.

В небольшой квартирке с крашеными полами и полосатыми ковриками, с изразцовой старинной печью и тюлевыми шторами, с традиционным круглым столом и абажуром было тепло и уютно. Надя ушла на кухню готовить чай, а Егоров разделся, сел на диван. Мальчик с любопытством смотрел на его орденскую колодку.

— А за что у вас ордена?

— За войну, Алеша.

— Вы бомбили фашистов?

— Все бывало.

Помолчав, мальчик сказал:

— Мой папа тоже бомбил фашистов. У него тоже был орден.

Егоров усмехнулся: Сорокин на войне никогда не был.

— Не верите? — обиделся Алеша.— Я вам покажу.

Откуда-то с книжной полки, из своего тайника, он достал старую фотографию с обломанным уголком. На ней около самолета стоял летчик в шлеме, с орденом и значком Гвардии. И Егоров сразу узнал свой остроносый «ястребок» и себя, молоденького лейтенанта. Он снимался в сорок пятом году, под Веной. Такая фотография была и у него дома. А эту он подарил Наде много лет назад, после войны.

— Только я его не видел, — вздохнул мальчик над фотографией. — Когда он умер, меня на свете еще не было.

— Кто умер? Твой отец? — опять усмехнулся Егоров.

— Да, он полетел в Арктику, и там его самолет разбился.

Егорову стало немного не по себе.

— Послушай, брат, — сказал он со всей строгостью, — ты все сочиняешь. Я твоего отца знаю, он жив и здоров.

— Нет, — тихо сказал Алеша, — он не настоящий мой папа. А мой папа давно умер.

Еще не сознавая, что произошло, еще вдумываясь в эти слова, Егоров недоуменно смотрел на мальчика. Стриженный наголо, с округлой, лобастой, как у матери, головой, с тощей шеей и пухлыми губами, он казался совсем ребенком, но по-взрослому печальны и серьезны были его доверчивые глаза.

Вошла Надя с чайной посудой в руках, и Егоров сказал ей:

— Алеша показал мне одну фотографию. Я и не знал, что его отец давно умер.

Повторив слова мальчика, Егоров ждал, что она рассердится на Алешу и крикнет, чтобы он не выдумывал всякие глупости. Но мать смолчала. Бледная, подошла к столу, расставила чашки, заварила чай и только тогда сказала:

— Алеша, садись за стол. И приглашай Сергея Ильича.

Она налила чай, размешала сахар и подвинула чашку сыну; и все это делала слишком размеренно и ровно. Спросила, любит ли Егоров крепкий чай, добавила заварки, сказала что-то о скучной жизни в их городе. А Егоров, рассеянно слушая, украдкой поглядывал на мальчишку, и она, конечно, все замечала.

— Сынок,— вдруг сказала она,— кушай быстрее, тебе пора гулять.— На ее лице с бледной кожей и родинками выступили розовые пятна.

— Ну, что ты его гонишь? — неловко заступился Егоров.

— Ему скоро делать уроки.

Когда Алеша одевался в передней, уходя гулять, Егоров стоял в комнате у окна и курил. За окном была осень, мокрые крыши, деревья с голыми ветками. Начинало смеркаться, желтели ранние огни. Егоров слышал, как в передней стукнула дверь. Потом он услышал у себя за спиной быстрые, легкие шаги Нади.

— Ты будешь еще пить чай? — Ее голос звучал тверже и свободней.

— Нет, спасибо.

Она стала убирать со стола посуду. Уютно, по-домашнему звякали чашки.

— Так о чем ты хотел со мной говорить?

О чем? Если бы он сказал ей, если бы она узнала правду — весь этот уют, весь ее теплый домашний мир разлетелся бы вдребезги. Месть за прошлое? Пожалуй, да. Но из прошлого внезапно всплыла и старая фотография с обломанным уголком, которую бережно хранил этот мальчик Алеша. И все, о чем думал Егоров, когда шел к Наде, все, чего он хотел, теперь уже теряло значение. Что-то другое врывалось в его жизнь. И он обостренно следил за каждым словом и взглядом женщины, которую когда-то любил.

— Странно, Алеша считает меня своим отцом.

— Мало ли что придумает мальчик с богатой фантазией.— Сжав губы, Надя смотрела ему в лицо. Она всегда умела владеть собой, а с годами, на людях, за судейским столом, ее выдержка закалилась. Только одно ее выдавало — бледность и розовые пятна на лице.

Не выдержал сам Егоров:

— Он мой сын!

— Твой? А у тебя есть доказательства? — она даже нашла в себе силы усмехнуться ему в лицо.

— Ты говоришь как судья. Но я не обвиняемый!

— Нет, ты истец.— Холодно-замкнутая, враждебная, она, как любая женщина, была готова на все, защищая своего сына, семью, свой теплый домашний мир.— Но ни один суд не признает тебя отцом.

— А ты?

Она не ответила. Всеми силами она пыталась укрыться за маской судьи. А лицо ее было бледно, в глазах стыли слезы. И если она была безжалостна и жестока, то не к Егорову, а прежде всего к самой себе.

— Надюша, милая! — он шагнул к ней.

Она отстранилась, сказав отчетливо:

— И знай, Алешин отец давно умер.

Егоров стоял, задыхаясь, голос его охрип:

— Веселенькая новость! Оказывается, я давно покойник.

— Да! — внезапно выкрикнула она. — По крайней мере, для моего сына. Не хочу, чтобы он страдал за мои ошибки. Что я могла сказать о тебе? Что его отец — трус и подлец? И если ты пришел ко мне за прощением, то знай, ты пришел зря!

И тогда Егоров едва не выкрикнул то, ради чего и пришел: что этот «трус и подлец» — вовсе не он, Егоров, а ее муж, и что он, Егоров, наконец может все доказать.

Но он думал уже о другом, о том, что не может, не имеет права разрушать эту семью, — семью, в которой живет его сын.

Он постоял у окна, помолчал.

— Сережа, — вдруг сказала за его спиной женщина. — У меня хорошая семья, муж любит Алешку, они друзья. Я надеялась, что никогда не встречу тебя. — Теперь она говорила тихо: устала, надломилась от этой встречи. — Обещай мне, дай слово забыть Алешу и всех нас. Забудь, что он есть на свете. Не ради меня или мужа, которого ты ненавидишь, не ради нашей семьи. Ради твоего сына.

Он обернулся. Надя стояла перед ним, не скрывая горя и слез.

И он дал ей слово. Так она и не узнала, зачем он к ней приходил. Не разлетелся вдребезги ее теплый домашний мир, все в ее жизни осталось по-прежнему.

А в жизнь Егорова навсегда вошел сын. Покидая дом, Егоров увидел его — Алеша бегал по двору с мальчишками. Были уже сумерки, горел фонарь. Егорову хотелось сказать: «До свидания, Алеша». Но он сдержал обещание — ни словом не напоминать сыну о себе. Только у калитки он обернулся. И долго стоял

и смотрел издали на Алешу. Словно еще тогда знал, что снова увидит его очень нескоро — почти через десять лет.

И все это вспомнил он, пока по крутому сне-белому трапу поднимался в самолет его сын — уже не тот вихрастый и конопатый мальчишка, каким был в детстве, а рослый, рукастый, чуть нескладный юноша, одетый по моде: узкие брюки, бслая рубашка, сандалеты с ремешками и яркие носки. На плече у него висели плащ и сумка на длинном ремне, тоже модная, спортивная, с пластмассовым кармашком. И Егоров смотрел на сына, стараясь распознать в нем частицу себя, и, казалось ему, видел в Алеше неуловимо знакомые, близкие, свои признаки, — и то, как он сутулился, поднимаясь по трапу, и то, с каким любопытством провел ладонью по тускло сияющему гладкому фюзеляжу. Потом сын шагнул с трапа в самолет и прищурился — в салоне было темновато. Бортпроводница Вика спросила, какое у него место. Он обернулся к матери и отчиму, те еще стояли на трапе.

— Мама, какие у нас места?

И голос у него был тоже другим, не тем, по-детски тонким и слабым, каким он когда-то сказал Егорову: «А мой папа был летчиком».

— У вас первый салон, — сказала Вика. — Проходите сюда, налево.

Егоров отступил от люка. Не заметив его, Надя и сын прошли мимо. Но Сорокин взглянул на пилота пристально. Вряд ли Сорокин сразу узнал его, они не виделись очень давно, и все же что-то задержало этого пассажира в полутемном проходе. Повернувшись, Егоров пошел в кабину. И знал, что Сорокин стоит в коридорчике и смотрит вслед, раздумывая, тот ли это человек, которого он избегал много лет.

Егоров быстро прошел через салон. Надя его не видела — укладывала в сетку плащи и свертки. А сын уже сидел в кресле, прильнув к иллюминатору. Да и все равно Алеша не узнал бы его.

Он с облегчением закрыл за собой дверь. В кабине было жарко и душно, сквозь прозрачную броню стекла светило закатное солнце. Сняв пиджак, он сел в свое кресло. Но не расстегнул воротник белой рубашки, как делал это всегда перед взлетом; более того, тщательно подтянул и поправил галстук. Ведь

совсем рядом, за тонкой стенкой, сидел его сын. И это ощущение было для него ново и необычно, и в нем зрела высокая, даже праздничная настроенность.

А все остальное шло своим чередом. Посадка была окончена, дверь закрыта, отъехал высокий трап. Тягач тронул самолет с места. Мягко качнулись крылья и почти неслышно поплыли над бетонными плитами.

И Егоров знал, что сын смотрит в иллюминатор и тоже видит, как это гибкое и ненадежное с виду крыло, покачиваясь, плывет мимо самолетов на стоянке, окрашенных закатом в розовое, и все дальше уходит от коробки аэровокзала со стеклянными стенами и пестрыми фигурками на перроне.

Потом все это, разворачиваясь, пропадает, а в иллюминатор вливается раскаленный шар солнца, крыло скользит над бетонной бровкой и над рыжей, сухой травой, и вот широко распахивается простор летного поля.

Все это Егоров видел уже тысячи раз. Но теперь он думал о сыне и на все смотрел словно его глазами. Егоров ясно представил себе и салон, где сидит сын. Пока самолет бесшумно катится по бетону, в салон войдет Вика, скажет, куда и на какой высоте они полетят, и по традиции назовет фамилию командира. Фамилия у него рядовая. И пассажиры, как говорится, пропустят ее мимо ушей. Пассажиров больше интересует имя этой симпатичной бортпроводницы.

— Меня звать Викторией, — с традиционной улыбкой ответит она. — Можете звать меня Викой.

Только один человек в салоне, Сорокин, запомнит фамилию командира. И пока Вика говорит пассажирам, что им разрешается и что запрещается, Сорокин молча смотрит на дверь пилотской кабины. Теперь Сорокин не сомневается: да, это *тот* Егоров. Вряд ли Сорокин скажет об этом жене; авось, подумает он, обойдется. Томясь, он будет проклинать себя за то, что взял билеты на этот рейс, и все будет смотреть на дверь, ожидая, что вот-вот она распахнется и на пороге появится *тот* Егоров.

А тягач уже дотянул их до рулежной дорожки и ушел. Лопастни лениво чертили в воздухе черно-желтые диски. Потом тень крыльев легла на взлетную полосу. Дали газ, Егоров отпустил тормоза, и, разбе-

гаясь, крылья все быстрее заскользили над серым бетоном.

Первый раз в жизни Егоров поднимал в воздух своего сына. Еще десяток секунд, и он возьмет штурвал на себя и легко оторвет от земли тонны металла, горячего, пассажиров и груза в серебристой дюралевой оболочке.

Но тот рослый юноша, который сейчас смотрит в иллюминатор, не знает, что эту машину ведет в небо его отец.

А началось все это, вспомнил Егоров, в летнее утро далекого сорок шестого года. В то утро он и Сорокин последний раз взлетали в машине, которую вел капитан Цыганок. И вот так же тогда начинался их взлет, и перед глазами тоже бежала серая бетонная полоса...

Да, вот так же скользила лента бетона, хотя та машина и не сравнилась бы с этой, да и летали они тогда не в белых рубашках и галстуках, а в меховых комбинезонах, перетянутых на груди парашютными ляжками.

Помнится, когда взлетели, Егоров посмотрел вниз. Все было обычным — зеленое поле, купол ангара и строй самолетов. Блеснули стеклом ребристые крыши авиационного завода.

А машина круто набирала высоту. Это был давно отработанный в воздухе серийный самолет. Изо дня в день они стартовали на нем в свою зону. Сначала шел полет на обычной машине. Ровно гудели моторы. В сильнейшей пустоте сияло косматое солнце.

Необычное начиналось потом. В высоте они разогнались и, доложив земле: «Начинаем!» — нажимали кнопку реактивного ускорителя. Секунда — и в кабине возник свист и гул. Из ускорителя с ревом рвалось пламя и струя раскаленного газа. И минуту-другую они неслись в синем небе с фантастической скоростью. Стрелки приборов переходили предел. Нужно было успеть записать в планшет их показания.

Рев обрывался, стрелки облегченно катились влево, и самолет шел на посадку.

Через сутки — снова взлет, и еще две-три минуты полета с невиданной для того времени скоростью.

А у посадочной полосы обязательно ждали инженеры с завода: «Ну как?» Им не терпелось поднять в воздух не эту опытную, а полноценную боевую машину. В ту послевоенную пору реактивная авиация только рождалась.

И вот самолет опять лез в высоту, и солнце слепило глаза. В дымке еще виднелся аэродром. У речки торчала луковка сельской церкви. А за речкой Егорову был виден станционный поселок. Там, на тихой улице, среди садов и дачек с мезонинами, стоял домик Нади. Была суббота, и с самого утра Егоров помнил, что вечером он увидит Надю. Она училась в Москве, в юридическом институте, жила в общежитии, но по субботам приезжала домой, к матери, в домик у станции с палисадником и верандой. До Москвы было километров сто, и электрички сюда не ходили. К деревянной платформе в облаках пара подкатывали старые пригородные вагоны с узкими окнами. Надя приезжала в семь вечера. Обычно Егоров и Сорокин шли на станцию вместе, пили в буфете пиво и, поглядывая на часы, ждали поезда. Иногда Егорову казалось, что сержант Сорокин смотрит на свои часы слишком часто.

Но если Сорокин и был тайком влюблен в Надю, то умел не подавать вида. Бойкий и разговорчивый, он умел при Наде притихнуть и только смотрел на нее своими синими наивными глазами. Когда она приезжала и выходила из вагона, Сорокин брал ее чемоданчик и шел с ними, стараясь не мешать их разговору. Надя, смеясь, называла его своим рыцарем. Вечером они втроем шли в клуб, а потом, после кино и танцев, Сорокин умел исчезнуть и оставить их вдвоем.

«Так будет и сегодня», — подумал было Егоров и тотчас об этом забыл — сквозь пространство к ним в кабину пробился голос:

— «Седьмой!» «Седьмой!» Я — «Земля». Как слышите? Прием!

Егоров узнал голос полковника Самойлова.

— «Земля!» — ответил капитан Цыганок. — Я — «Седьмой». Все нормально. Вышли на боевой.

— «Седьмой!» Я — «Земля». Выполняйте.

Цыганок отдал штурвал от себя. Самолет пошел полого вниз. Скорость нарастала. И Егоров точно знал, когда нужно включить ускоритель. Выждав, он нажал кнопку.



Секунду спустя он ощутил резкое ускорение. Все шло нормально. Он не сводил глаз с приборов.

Еще десяток секунд все шло нормально. Он даже успел подумать, что земля уже смотрит в небо, где вот-вот должна показаться темная точка.

А следующая секунда изменила всю его жизнь. Стрелки перед глазами вдруг резко метнулись. Кто не выдержал — металл или человек? Может быть, металл. А может, и человек: захваченный мыслью о скорости и доверившись своей интуиции, оказался за красной чертой опасности.

Со своего места радист Сорокин сразу увидел пламя — горел ускоритель. Едва он доложил командиру, как в шлемофоны ворвался голос с земли — там тоже заметили, что темная точка в небе внезапно обросла хвостом дыма.

— «Седьмой»! Я — «Земля». «Седьмой»! Что с вами? Капитан! Отвечай! Вижу вас, «Седьмой»! — Полковник Самойлов, сам испытатель, уже не выбирал уставные слова, он думал только о летчиках, которые там, в небе, оказались один на один со знакомой ему смертельной опасностью.

Они еще пытались сбросить ускоритель, но аварийный сброс не сработал, и пламя охватывало весь фюзеляж. Стало ясно: машину не спасти. Цыганок развернул ее от аэродрома и завода и, посматривая на приборы, торопливо писал в планшете. Хотя приборы показывали причину пожара, радировать об этом летчики уже не могли — связь оборвалась.

Не отвечал им и сам стрелок-радист. Его кабину в хвостовой части окутали языки огня. Он мог задохнуться в дыму. Чтобы Сорокину легче было вывалиться с парашютом, Цыганок крутым разворотом сбил пламя в сторону.

Сорокин не прыгал.

А машина уже теряла скорость, валилась на крыло. Кажется, целую вечность падали они в бездну, пока не увидели внизу, в синеватой глубине неба, белое пятнышко. Среди редких облаков плыл парашют. Борясь с огнем, они не заметили, когда серая птичка покинула свое место. Но прыгнул он давно, потому что его парашют был уже у земли.

Командир выругал труса и велел Егорову прыгать. Тот откинул фонарь, встал на сиденье. В лицо пахнуло

жаром — горели плоскости, с крыла срывались клочья пламени. Цыганок кулаком толкнул его в спину — давай! Он рывком скользнул через борт прямо в огонь и потом дернул кольцо.

Парашиот раскрылся. В плавном и беззвучном спуске Егоров слышал, с каким гулом машина идет к земле, и все всматривался в ее дымный след, ожидая, что там вспыхнет белый спасительный купол.

А земля была уже близко — лес, шоссе и деревушка в десяток дворов. Его несло на лес. Он подтянул стропы и на несколько секунд потерял из виду самолет. Краем глаза он видел, как из деревни по шоссе к нему бегут люди. Он едва перетянул через острые пики деревьев. А когда коснулся земли и упал боком, то сразу посмотрел вверх. Клубок дыма и пламени еще чертил дугу среди облаков.

На шоссе круто затормозил грузовик, какие-то парни прыгали из кузова и бежали к Егорову. Он сбросил парашютные лямки и побежал им навстречу по скошенной мягкой траве. И все оглядывался на бегу, и смотрел в небо.

Помнится, кто-то помог ему влезть в пустой кузов грузовика, потом его держали за плечи, грузовик с грохотом проскочил деревню и толпу людей на шоссе и свернул на едва заметную в траве колею — туда, к лесу, где над деревьями вдруг блеснуло желтое пламя и потом раздался гулкой удар. И Егоров, мотаясь в кузове, все смотрел в небо, веря, что вот сейчас, вот еще секунду спустя, из-за облаков покажется белое пятнышко парашюта.

Грузовик мотало в рытвинах, кузов, грохоча, плясал под ногами, а Егорову все казалось, что они едут слишком медленно, и он стучал кулаком по кабине — скорей!

Колея нырнула в лесную просеку, и березы сразу закрыли над ним все небо, оставив лишь узкий просвет, в котором, как в прорези, висело черное облако взрыва.

Грузовик петлял по просеке меж кустов и трухлявых пней, ветки берез хлестали по лицу, в глазах рябило от мельканья солнечных пятен в листве.

Потом просека уперлась в белоствольную стену леса, грузовик проскочил еще немного по тропе между

березами и замер, уткнувшись радиатором в куст боярышника. Мотор заглох, стало тихо.

— Ва-а-ся! — крикнул Егоров. — Капита-а-н!

Отозвалось лесное эхо. Он прыгнул из кузова и побежал по тропинке в глубь солнечного прозрачного березняка и, задыхаясь, все звал и звал своего командира. Соленый пот заливал глаза.

Шатаясь и почти падая от усталости, он сорвал мокрый шлем и прислонился к дереву. Едва слышно шелестели над головой листья. А еще выше, между листвой, между березовыми гибкими макушками, в чистой утренней синеве неба, ветер уже размывал темное, как траур, одинокое облачко дыма.

Но тогда он не знал еще, что самое трудное для него только начиналось.

Теперь же память неслышно несла его сквозь те далекие годы — все было уже в прошлом. Даже тот осязаемо живой солнечный блеск листвы и темное облачко в синей глубине неба были только бестелесным воспоминанием в клеточках мозга.

А реальностью были его руки, сжимающие штурвал, тяжелый гул винтов, фосфорические стрелки приборов и розовые от заката облачка, которые он пронизывал легко и неслышно, как собственные воспоминания.

Реальное солнце остывало в глубине облаков, отдавая им свет и тепло. Небо и землю делил раскаленный мазок заката. Небо было спокойно. Но на локаторе холодным огнем загорелись белые неровные пятна — прямо по курсу бушевала гроза. И, меняя курс, обходя грозу, Егоров думал, что вот машине легче, она видит опасность далеко впереди себя, а для человека такого локатора нет, нельзя высветить свои дни и годы вперед и увидеть все свои будущие радости и несчастья. Такого локатора нет, и, не зная, что у тебя впереди, ты иногда идешь в самое пекло еще невидимой для тебя, уже бушующей где-то грозы. Но, думал он, если бы ты знал и всякий раз стороной обходил опасность, самую пустяковую, она все равно оставалась бы на дороге — для других, для потомков.

Гроза уже блистала левее и ниже. Они снова шли своим эшелонном — отведенной им узкой полоской неба.

Егоров включил автопилот и откинулся в кресле. Очень хотелось курить. Он знал, что, вдруг появившись, это полузабытое желание исчезнет не скоро и не легко. Он ждал Вику и ее кофе. Когда-то кофе помог ему бросить курить. Кофе хорошо помогает и в рейсе. А Вика летает давно, у нее опыт, и она угадывает, когда в кабине включен автопилот и летчики вольны наслаждаться своим черным кофе. Это маленький ритуал, которым они отмечают нормальный взлет. Обычно первую чашку Вика подает командиру. Она вообще внимательней к нему, чем другие бортпроводницы. Ему тоже приятно видеть ее. Иногда ему даже нужно видеть ее. Но об этом, подумал он, никогда не будет сказано ни одного слова.

Наконец Вика появилась с чашками на подносе.

— Командир, вы сегодня такой нарядный, в галстук! — Она весело проявила свою женскую проницательность. — У вас праздник?

Он заставил себя улыбнуться, взял кофе, спросил, как дела у пассажиров. Она ответила, что все спокойно.

— Пойду взгляну. — Егоров встал.

Теперь вахту нес Иннокентий, второй пилот. Прихлебывая кофе, он не отрывал глаз от пульта.

А Егоров приоткрыл дверь в салон.

Сорокины сидели близко от двери, во втором ряду, и выглядели дружным семейством, которое летит в отпуск, на юг, к теплому морю. Сын смотрел в иллюминатор, мать о чем-то говорила ему, и оба они смеялись.

Правда, сам Сорокин не казался таким беззаботным. Во всяком случае, не таким, как час назад, когда поднимался по трапу. Рассеянно листая журнал, он сразу заметил, что дверь приоткрылась, и, конечно, знал, кто стоит там. Его рука замерла, не перевернув страницу, а глаза опустились и уставились в одну точку — спрятались. У него были холеные щеки, юная лысинка и мягкие, капризные губы, которые кривились в уголках, как у певицы, которая старается петь, не слишком открывая рот. У него все было в меру — легкая полнота, неширокие брюки, светлая рубашка с глянцевитым воротничком и пестрый галстук.

И вообще трудно было распознать в Сорокине того

юнца с розовым лицом и синими глазами, молчаливо влюбленного в Надю.

Жена о чем-то спросила, и он с готовностью обернулся к ней,— лишь бы не встретить взгляд человека, которого избегал много лет.

Да, они не виделись очень давно. И конечно, Сорокин и сейчас не хотел бы встречаться с Егоровым даже взглядом и вспоминать *тот* день и все, что было потом.

Когда в тот день Егорова привезли на аэродром, он знал уже и о гибели Цыганка, и о том, что сержант Сорокин остался жив и здоров.

Сразу же Егорову сказали, что его ждет полковник Самойлов. Егоров снял комбинезон, от которого пахло дымом, умылся, смыл с лица копоть. Лицо еще не остыло от жара горячей машины. Он жадно пил воду прямо из крана. И помнится, почему-то подумал тогда, что сегодня суббота и уже вечер, а они с Сорокиным не встретили на станции Надю. Потом все так же машинально он застегнул гимнастерку, подтянул ремень и пошел в кабинет к Самойлову.

Полковник был не один. У самой двери на краешке стула жался Сорокин. С каким-то недоумением он смотрел на Егорова, когда тот вошел,— будто вообще не ожидал этой встречи. И в синих, рязанских, наивных глазах бывшего друга Егоров увидел вдруг нечто новое — холодноватую, глухую усмешку.

А полковник уже встал навстречу Егорову и, подойдя, тоже посмотрел в глаза так, будто видел впервые.

— Жаль, если я ошибся в тебе,— сказал он с горечью, помолчав.

Егоров не понял ни смысла, ни тона его слов. Но дисциплина предписывала ему стоять «смирно» и ни о чем не спрашивать. Он стоял и молчал. Наверно, это и взорвало полковника.

— Причина пожара? Ну! — Глаза у него стали злые и острые.

— Точно не знаю. Все записи были у командира.

— Его уже нет! И не ссылайтесь на мертвых! Я вас спрашиваю, старший лейтенант! Почему не радировали о причине аварии?

— Не было связи.

— А вот он говорит — была связь! — Полковник резко обернулся к Сорокину, и сержант сразу вскочил и вытянулся, теребя свою синюю форменную пилотку.

Егоров пожал плечами:

— Он что-то путает.

— Путает? — Самойлов опять пристально посмотрел в глаза, и Егорову снова стало не по себе, хотя он знал, что говорит правду. — А кто из вас первым покинул машину?

— Сержант Сорокин.

— По вашему приказу?

— Нет. Вероятно, решил, что пилоты погибли и машина уже неуправляема.

— Струсил? Тогда ему дорога в трибунал.

— Не знаю.

— Так... А потом прыгнули вы?

— Да. По приказу командира. Сержант в это время был уже на земле. — Егоров взглянул на Сорокина: — Спросите у него, он подтвердит.

— В том-то и дело, что он не подтверждает, — сказал неохотно полковник и взял со стола исписанный лист бумаги. — Вот, читайте.

Это был рапорт сержанта о том, как возник пожар и как до последней возможности он, Сорокин, держал связь с землей, и как второй пилот, Егоров, приказал ему прыгать. И как он, Сорокин, ничего не зная о командире, не решался покинуть машину, пока не увидел, что старший лейтенант Егоров С. И. выбросился на парашюте; и только тогда, вслед за ним, покинул машину. И что по его, Сорокина, мнению, старший лейтенант Егоров С. И. по трусости или умышленно оставил в кабине потерявшего сознание командира и тем способствовал гибели капитана Цыганка Василия Ивановича, а также гибели опытного образца машины.

И все это было написано без помарок, твердой рукой, четкими, хотя и мелкими буквами, и прямые строчки плотно лежали одна на другой, как хорошо подогнанные пластинки. Это писал человек, понимающий, на что он идет; он даже оставил себе лазейку для отступления — *забыл* расписаться под рапортом. Не так уж наивно он видел мир своими синими, наивными глазами.

Усмехнувшись, Егоров положил бумагу на стол:

— Послушай, сержант, а ты забыл поставить тут свою подпись.

Самойлов хмуро заглянул в рапорт.

— В самом деле. Сержант, подойдите сюда.

Сержант подошел. Его вытянутая и прижатая к телу рука держала пилотку.

— Вам следует тут расписаться,— сухо сказал полковник.

Рука сержанта смяла пилотку в комок. Он взял со стола свой рапорт и стал читать, шевеля губами, вернее, делая вид, что читает. Было очень тихо. Часы в углу кабинета гулко ударили один раз.

— Или вы передумали? — помедлив, спросил полковник.

Рука сержанта разжалась, пилотка упала к ногам. Схватив перо, он расписался поспешно, подумал секунду и уже спокойно вывел на рапорте дату.

— Гнида! — усмехнулся Егоров.

— Лейтенант, помолчите! — устало, без зла обрвал Самойлов. — А вы свободны, сержант.

Сорокин нагнулся и поднял пилотку. Он был бледен. Потом четко повернулся и вышел.

Когда дверь за ним закрылась, полковник сказал:

— Ну, докладывай.

Рассказ Егорова был долгим и для него очень трудным. И не потому только, что Сорокин уже нанес удар и теперь приходилось как бы оправдываться. Скорее, потому, что для себя самого Егоров хотел понять степень своей вины перед мертвым другом.

— Да, он погиб, а ты жив,— хмуро сказал Самойлов. — Это непоправимо. Ты сам летчик, и ты знаешь наши законы. Никто не спросит тебя, почему ты оставил в беде своего командира. Но об этом подумают многие. Даже твои друзья. Особенно друзья Цыганка. К тому же единственный свидетель — против тебя. Дело серьезней, чем тебе кажется. Я уже получил приказ отстранить тебя от полетов. А верю ли я тебе? — Он помолчал. — Тебе верю. И за тебя буду драться. Вот так. А теперь иди.

Из кабинета Егоров медленно шел по безлюдному коридору. В окнах виднелись огни летного поля. Часовой в подъезде проверил его пропуск и козырнул.

От проходной до поселка было недалеко. На шоссе

горели фонари. Зеленая листва тополей светилась. Была душная ночь.

Егоров свернул на свою улицу. Вдали, на углу, под часами, стояли двое — парень и девушка. Подойдя, он внезапно узнал Надю и Сорокина.

Помнится, он сразу подумал, что сержант не зря добился свидания в поздний час. Невольно он замедлил шаги. Он еще надеялся, что сержант сказал Наде правду. Но вот совсем близко, в свете фонаря, Егоров увидел ее лицо и все понял... А он так привык встречать в этих глазах мягкость и затаенную ласку. «Ты слишком добра,— говорил он ей.— Какой из тебя юрист!» — «А ты знаешь,— смеялась она,— как почесски называется министерство юстиции? Министерство справедливости. Я буду работником справедливости».

И помнится, он чуть было не ударил Сорокина — прямо в его сирые, наивные, холодновато-скользкие глаза. Но что-то тогда остановило его, кажется, слова Нади.

— Мое счастье,— тихо, почти шепотом сказала она,— что я не связала жизнь с таким трусом и шкурником.

Наверное, она еще не знала тогда, что у нее будет ребенок и что жизнь их уже связана навсегда.

А он понял, что никакие его слова сейчас ничего не изменят. Он подумал только, что впереди еще будет время ей все доказать,— не знал, что после этой ночи они увидятся снова спустя много лет.

Он не ударил Сорокина и ни слова не сказал Наде. Но, уходя от них, оглянулся и опять увидел ее глаза и услышал:

— Как ты мог!..

И хотя с той ночи минуло много лет, до сих пор он слышит тот крик: «Как ты мог!»

Он распахнул дверь кабины и в упор посмотрел на Сорокиных. Конечно, бывший сержант *не заметил* своего бывшего старшего лейтенанта. Но Надя, подняв глаза, узнала Егорова.

Первый раз за многие годы они снова были втроем,— как в ту далекую ночь на пустынной улице. И в глазах Нади снова вспыхнул так и не угасший отблеск



той ночи, и Егоров понял, что для нее годы не изменили почти ничего.

Он подошел и поздоровался. Сорокин был приятно удивлен. Даже улыбнулся своей холодноватой, едва осязаемой, скользящей улыбкой, знакомой Егорову. А Надя, не таясь, ответила сдержанно.

— В Москву? — спросил он.

— Нет, на юг, в отпуск, — ответила Надя. — В Москве будем один день, заедем к маме.

— Она все там живет?

— Да, все там, — неохотно сказала Надя: Егоров неосторожно коснулся их прошлого.

Он понял это и, меняя тему, сказал, что на юге погода отличная, что недавно летал в Адлер, отдыхающих там полно, разгар сезона.

А сам видел украдкой, что сын, Алеша, разглядывает значки пилота-миллионера на его пиджаке.

— Мой отец тоже был летчиком, — сказал он.

И Егоров вспомнил, как эту же фразу сын сказал в их первую встречу; и опять вспомнился тот осенний дождливый вечер, и грустный мальчик, и старая фотография с обломанным уголком.

Но вот что задело Егорова: те же слова Алеша произнес теперь как-то легко и небрежно.

А мать сразу перебила его:

— Алеша, ты задерживаешь товарища.

— Ничего, — ответил Егоров. — Может, он сам будет летчиком.

Алеша, подумав, спросил:

— А это трудно?

— Можешь увидеть сам.

— Я видел только в кино.

— Ну, идем, покажу.

Сын смотрел недоверчиво.

— Ты будешь там мешать, — быстро сказала Надя.

Сорокин молчал.

— Не помешает, — сказал Егоров. — Он на одну минуту.

— Можно, мама?

— И не беспокойтесь за него, мама и папа. — Это Егоров сказал с чуть заметной горечью.

Конечно, они поняли, что хотел он этим сказать.

— Хорошо, иди, — вздохнула Надя.

Егоров пропустил сына в дверь. И в кабине были удивлены, увидев рослого незнакомого паренька.

— Здравствуйте,— сказал он.

— Здорово! — ответил Иннокентий, второй пилот, взглянув на командира: хотел понять, чем вызвано нарушение дисциплины.

— Знакомьтесь,— сказал Егоров.— Это Алеша. Его отец был летчиком.

— А-а,— успокоился Иннокентий.— Сын летчика, наше племя. А где отец? Уже на пенсии?

— Погиб,— быстро сказал Егоров.— Погиб в Арктике.

Алеша обернулся и посмотрел на него странно, с пытливостью, с недоверием.

— Ну, ну, садись. Ты же хотел посмотреть.

Алеша осторожно втиснулся в левое, командирское кресло.

— Командуй,— подмигнул ему Иннокентий.

Тронув Иннокентия за плечо, Егоров дал понять — оставь его, пусть сидит.

Сын чуть подался вперед и замер. И отец понимал его: когда-то он сам впервые увидел, как величаво и плавно плывет навстречу все небо и вся земля.

Небо у горизонта пылало закатом, светились облака, а земля под ними темнела пятнами гор и тайги.

Сын сидел и смотрел, а отцу очень хотелось дотронуться до него и почувствовать его теплоту. Да, у него есть и дочь, и, когда он, вернувшись из рейса, входит в свой дом, она уже спит, и он стоит у детской кровати и думает: а где-то есть сын. Есть сын. И — нет его.

Хотя вот он, живой: рука отца легла ему на плечо.

Молниеносно они пронзили легкое облачко, и по кабине скользнула бесшумная тень. Потом снова казалось, что они висят в фиолетовом небе. Землю закрыло сумраком. В темной глубине мерцали редкие искры огней. Только у горизонта, отражая закат, светилось тусклое пятно.

— Что это? — спросил сын.

— Байкал.

Потом землю начало затягивать пасмурной дымкой. Серая пена клубилась близко под крыльями.

Постояв немного еще, Егоров сказал Иннокентию:

— Я выйду к пассажирам.

Тот взглянул на него пылливо: мол, что сегодня с тобой, Сергей Ильич?

— Я тоже пойду,— встал Алеша.

— Нет, останься,— тихо и твердо сказал Егоров: не то разрешил, не то приказал.

— Ладно,— согласился Алеша и сел обратно в командирское кресло.

Егоров открыл дверь. Кажется, его уже ждали, крайнее кресло было пусто — Сорокин пересел к иллюминатору.

Егоров сел рядом с Надей, и Сорокин не оглянулся, делая вид, что смотрит на небо и облака. Просто не хотел им мешать: что бы ни было, но Алеша — их сын.

— Ну, как он? — спросил Егоров.

— Ничего, здоров, учится хорошо,— ответила Надя.

— Кем хочет быть? Летчиком?

— Ну, об этом говорить еще рано. Хотя я иногда и сама думаю, что он уже не мальчик. Знаешь, у него есть девушка. Симпатичная.

— Не рано ли?

— Вместе ходят в парк и в кино. Вот и вся их любовь, как мне кажется.

— И мы с тобой начинали с малого.

— Мы — дело другое. Мы были не дети,— с грустью улыбнулась она, наверное вспоминая то далекое время.

Конечно, с той поры она изменилась. Но что-то близкое ему так и осталось в ее глазах.

Последние годы она изредка присылала ему весточку о сыне — жив, здоров. Это была молчаливая благодарность человеку, который не нарушал покой ее семьи.

— А ты по-прежнему судья? — спросил он. — Работник справедливости?

— Ты еще помнишь? — снова улыбнулась она. — Да, служим справедливости. Она, как никогда, в цене.

— И ты справедливый судья?

— Если бы я была циничной, я бы ответила: за это мне платят деньги.

— Мало ли за что и кому платят деньги. Ну а к самой себе и сыну ты справедлива?

Она ответила мягко:

— Не надо об этом. Все уже в прошлом.

Но он был настойчив:

— Говорят, в суде узнаешь так много плохого, что сомневаешься, есть ли вообще настоящие люди.

— Да,— сказала она,— быть судьей нелегко. Люди всегда сложнее, чем кажутся с первого взгляда, хотя и не такие все умные, как им кажется. Они иногда задают загадки. Но рано или поздно начинаешь понимать их поступки.

— Лучше поздно, чем никогда,— усмехнулся Егоров.

Что-то очень жесткое, очень убежденное в его голосе заставило Надю задуматься.

— Знаешь,— не сразу сказала она,— я сохранила твои старые письма. Ты писал их, когда мы были вместе. Иногда я их перечитываю. В них совсем другой человек. И я не понимаю, что заставило этого человека поступить так.

Впервые он услышал от нее слова сомнения в том, что он поступил так. Словно за эти годы что-то подточило ее уверенность.

— А ты до сих пор в это веришь? — спросил он и взглянул на Сорокина. Тот все смотрел в иллюминатор. На коленях спокойно лежала его рука с золотым кольцом.— Тебе еще нужны доказательства? Да, ты строгий судья.— Задыхаясь, Егоров заставил себя глубоко вздохнуть.— Тогда спроси у него о планшете.

Он видел, как вздрогнул Сорокин. Рука его с золотым кольцом сжала колено.

И он вспомнил, как эта рука, перед тем как подписать рапорт, в комок смяла пилотку.

Да, Сорокин услышал. Может быть, не слышал все остальное, но это слово — «планшет» — уловил настроженным ухом. Но, сдержавшись, не оглянулся и все смотрел на небо и облака.

А Надя не поняла.

— О каком планшете? — спросила она с безразличием.

Егоров не успел ей ответить. Дверь кабины открылась, и радист сделал знак командиру.

Он взглянул на часы. Скоро им начинать снижение.

— Извини,— сказал он Наде и, поднявшись из кресла, быстро вошел в кабину.

Около радиста стоял Алеша.

— Ну, парень, иди садись и пристегивайся ремнями.

Алеша взялся за ручку двери.

— Послушайте,— вдруг обернулся он.— Вы сказали, что мой отец погиб в Арктике. Откуда вы знаете? Вы были с ним знакомы?

— Иди, иди, сейчас не время.

— Ясно.

Посмотрев ему прямо в лицо и почему-то усмехнувшись, сын вышел. Егоров молча закрыл за ним дверь, сел в кресло.

Они летели еще высоко, над белым хаосом облаков. Бесконечно тянулись вершины и ущелья, будто покрытые снегом. Снежные лавины безмолвно висели в воздухе.

Потом кабина пронзила самый высокий снеговой пик. Тугие клочья шаркнули по стеклу, крылья вздрогнули.

Удары становились все чаще, а просветы чистого неба — все реже.

Сквозь серую мглу к земле их вел острый луч локатора. Егоров смотрел на зеленовато-светлые стрелки приборов — все шло нормально.

А перед глазами все стояло то дымное облачко взрыва в небе — ни ветры, ни годы его не развеяли.

Годы расступались, и в глубине лет он снова видел себя в полутемной своей комнатушке; помнится, он стоял у окна, думая обо всем, что случилось в тот день: о темном облачке в небе, о гибели Цыганка, о рапорте Сорокина и Надином крике: «Как ты мог!»

Помнится, в ту ночь он не уснул. Рассвет за окном медленно разгорался зарей. Бледная луна таяла за силуэтами сосен. Много трудных ночей было потом, но та ночь — самая долгая.

Если бы не ушла Надя, было бы легче. А в справедливость он верил: с детства, со школы его учили — у лжи ноги короткие.

Но ложь умела ходить и в сапогах-скороходах. Рано утром, без задержки, его увезли в Москву, в военную прокуратуру. На столе у следователя уже лежал рапорт сержанта Сорокина и тонкая зеленая папка — личное дело старшего лейтенанта Егорова.

Ему объявили приказ о невыезде и — пока отпустили. Числясь в резерве и томясь от безделья и неизвестности, он целыми днями слонялся по городу. Иногда где-нибудь на тихом арбатском сквере он ловил отдаленный гул самолета и тогда жадно слушал: винтовой или уже реактивный?

А в иные дни с тоской валялся на койке в казарме. Как-то сквозь тяжелые от дремы веки он увидел, как открылась дверь и в комнату вошла Надя. Впрочем, это был сон. О Наде он не знал ничего, даже на письма она не отвечала.

А дело шло медленно. Иногда его вызывал следователь — бледный майор с университетским значком на кителе.

— Ну, подумали? — в который раз спрашивал он.

— Я уже все сказал.

Причину пожара аварийная комиссия еще не нашла. Неясно было и то, почему командир экипажа не покинул кабину. Не мог объяснить этого и второй пилот. А единственный свидетель — радист — упорно держался за свои показания.

Так шли месяцы, наступила зима. Однажды следователь снова достал из сейфа зеленую папку.

— Вы были в плену? — внезапно спросил он.

— В плену? — усмехнулся Егоров. Такого вопроса он действительно не ожидал, но знал свою неуязвимость. — Нет, бог миловал.

— А на вражеской территории? — Карандаш в руке майора легонько, но со значением стукнул по столу.

А-а, вот что! В сорок пятом, под Братиславой, сбитый в воздушном бою, он попал за линию фронта и трое суток полз на брюхе по кустам и канавам к востоку, пока не добрался к своим. А через день снова был в воздухе — война кончалась, он захватил только самый ее конец, и ему, молоденькому лейтенанту, выпускнику Качинской школы, не терпелось стать асом.

— Ну, — ответил он, — можно считать, что был. Был и на вражеской территории.

— Ну, — в свою очередь усмехнулся майор, — мы то об этом знаем. Был. Но скрыл.

— В полку все знали.

— То было в войну. А год назад, вот здесь, в собственноручно заполненной вами анкете, в соответст-

вующей графе, вашей рукой написано: «Нет». — Следователь поднял глаза: — Почему вы скрыли?

— Просто я не придавал этому значения.

— Мы всему придаем значение. Это наш долг.

Может быть, и тот полузабытый случай из фронтовой жизни Егорова сыграл свою роль. Когда к весне дело было прекращено за недостатком улик, Егоров уже ходил в шинели без погон, как все бывшие фронтовики в послевоенной Москве. Несмотря на хлопоты Самойлова, в армию его не вернули, боевую машину не доверили. Послали в гражданскую авиацию, в Омск.

Перед тем как отправиться туда, Егоров все же приехал на знакомую подмосковную станцию — к Наде.

Ее домишко как-то изменился, обветшал, опустел. В палисаднике торчали сухие стебли прошлогодних цветов. Знакомо скрипнули доски крыльца.

Мать Нади узнала его. Лицо ее тоже постарело, она носила очки. Помедлив, она открыла дверь шире.

— Входите, если пришли. — А прежде она называла его на «ты» — как будущего зятя.

Нади дома не было. В комнате Егоров присел на скрипнувшую табуретку. Мать молчала, поглядывая поверх очков. Потом сказала, что Надя уехала. Куда-то на Дальний Восток, она не знает. Конечно, мать знала, только не хотела говорить. Сказала лишь, что дочь перевелась в институте на заочное отделение и уехала.

— Почему? — спросил он.

— Это вам лучше знать. — Мать, отвернувшись, заплакала. — И уходите, пожалуйста, уходите...

Он ушел и в тот же день первым поездом уехал за Урал, на Иртыш.

Летал он там на ветхом «кукурузнике», в шлеме и очках; спиной к нему сидел обычно какой-нибудь командированный дядя. Неторопливо тарахтел винт. За козырьком близко и медленно плыли заросшие осоклой барабинские озера. Издали он видел в степи домики райцентра. Пустынный луг на краю села назывался аэродромом. Там стояла хата в одно окно и торчал шест с полосатым конусом, «колдуном». Шли на посадку, и по колесам хлестала трава — зеленая с весны и желтая к концу лета. А осенью он почти не ле-

тал — земляные аэродромы Барабы раскисали от дождей. Тогда было совсем тоскливо.

Даже с Надей все было кончено. Она жила где-то на Дальнем Востоке, и Егоров никак не мог понять, что заставило ее бросить родной дом и институт. Он долго искал ее, но не нашел; а ее мать так и не дала ему адрес. Два года спустя он случайно узнал: Надя замужем за Сорокиным, который демобилизован из армии, и у них есть сын.

Одно время Егоров совсем было пал духом. Тарахтя в самолетике над тихими озерами и полями, он иногда видел в недосыгаемой для себя высоте стреловидные крылья и слышал гул, похожий на гром. И думал, что мог бы и сам вести такую машину, и на секунду представлял себя там, в высоте, а потом трезво, с горечью понимал, что мечта эта с каждым днем уходит все дальше — как все выше и все быстрее пролетают над ним эти реактивные стрелы. И все-таки всеми силами заставлял себя верить в близкие перемены.

И вот однажды он получил весточку от Самойлова. Тот писал, что найден планшет Цыганка. Его нашли в лесу деревенские ребята. Планшет висел на дереве вместе с лоскутом мехового комбинезона. Лоскут истлел, но планшет сохранился, а в нем уцелели бумаги и карта. находку эту дети принесли в школу. Поначалу думали, что планшет остался с войны, потом разобрали дату на полетном листе и записи, сделанные карандашом. И вспомнили, как несколько лет назад в том месте взорвался самолет, как двое летчиков спаслись на парашютах, а третьего, погибшего, долго искали в лесу.

Самойлов писал, что эта находка дает основание, как он выразился, «для пересмотра дела», обещал скоро быть в Омске проездом и просил встретиться.

Всю неделю Егоров томился. Когда пришла телеграмма, он долго брился, чистился, утюжил китель и наконец поехал в аэропорт. Был дождь и ветер. Егоров боялся, что рейс отменен, но самолет прибыл, и полковник спустился по железной лесенке на мокрую траву — все такой же смуглый, суховатый, обветренный, с колючими, а иногда и очень веселыми глазами.

В буфете они выпили за встречу, и Самойлов, торопясь, достал копию записей Цыганка. С волнением Егоров развернул лист бумаги. Сначала шли цифры,



за ними — несколько слов. «Нет связи, радист сбежал». Это командир написал сгоряча, со злостью. Почему же он сам не прыгал? Оставшись в машине один, он еще записывал показания приборов. Теперь причина пожара была ясна. Вот и последняя цифра. И, готовясь к прыжку, Цыганок успел застегнуть планшет, — иначе бы записи потом не сохранились под дождем и снегом. Ему не хватило десятка секунд.

— А Сорокин это читал?

— Да, — ответил полковник. — Мы его вызывали, показывали. Молчит.

— Есть еще совесть?

— Совесть или трусость, не поймешь. Так и уехал, больше не показывался у нас. Он свой срок отслужил, работает на Дальнем Востоке.

— Знаю, — неохотно признался Егоров.

— А-а, ты уже знаешь. Будешь сводить с ним счеты?

— Это не главное. — Егоров быстро разлил по рюмкам остатки водки — спешил, боясь, что не успеет сказать о главном. Но он и прежде так часто повторял про себя все эти мысли и все слова, что теперь они безошибочно вылились в точную и краткую формулу. Он дал понять, что до сих пор считает себя военным летчиком.

— А ты думаешь, мы не пытались вернуть тебя? Куда только не писали! Такого пилота, как ты, поискать. И ты пиши, помогай нам. Тем более теперь у тебя документ.

Спустя полчаса Самойлов улетел. И к вечеру Егоров отправил в Москву пакет. Через неделю послал еще письмо и, хотя ему не отвечали, продолжал писать.

На третьем месяце его вызвали в местную прокуратуру и спросили, чего он хочет. Пересмотра дела? Юридически такого дела нет. Оно было прекращено на стадии следствия. Есть доказательство невиновности? Тем лучше, значит, следствие не ошиблось. Чего же вы добиваетесь, товарищ Егоров, — возвращения в армию? Тогда обратитесь в военное министерство, дорогой товарищ Егоров.

Только в пятьдесят четвертом году Самойлов — уже генерал — своей властью перевел его из Омска. Правда, в армию его так и не взяли, да и в Аэрофлоте

он работал сначала только на внутренних линиях. А уже потом осваивал реактивные лайнеры и летал в Париж, Рим, Каир, над Атлантикой и Гималаями.

Все у него менялось, и свежесть перемен захватила Егорова. Для воспоминаний о прошлом было мало времени. Но иногда он доставал и перечитывал последние записи Цыганка и думал, должна ли Надя узнать правду о своем муже. Еще из Омска он сгоряча написал ей и потом очень жалел: она вернула письмо, не распечатав, решила, наверное, что он кается и просит прощения. А когда несколько лет спустя Егоров случайно попал в город, где жили Сорокины, и пришел к Наде с решимостью рассказать ей все и на этом вообще поставить точку, оказалось, что свое и чужое прошлое вот так просто не зачеркнешь. И, узнав о сыне, он и дал Наде слово— не вмешиваться в ее жизнь.

И почти десять лет Егоров был верен слову, втайне надеясь, что Сорокин сам скажет Наде всю правду.

А теперь убедился: она до сих пор ничего не знает. До сих пор она считает ошибкой их былую любовь и чувствует себя виноватой перед сыном за то, что у него был *такой* отец. А сын до сих пор верит в ее сказку о погибшем отце.

Стараясь не думать об этом, Егоров следил за посадкой. В черном кружке прибора вздрагивал белый самолетик. Земля была близко, но они не видели ее сквозь серый сумрак— шли в тучах, и по стеклу хлестал дождь. Вот когда пилоту особенно нужны нервы. Земля неохотно отпускает в небо своих детей, а когда они возвращаются, готова до хруста прижать их к своей груди; и очень опасна ее родительская любовь.

Наконец посветлело: они вынырнули из туч. Под крылом понеслись огородики и домишки почти в натуральную величину. Вдали черным лаком блестела посадочная полоса. Успокоенно, мягко пели моторы. И вот колеса коснулись темного от воды бетона.

Пока подруливали к перрону, дождь почти перестал. Черно-желтые лопасти, замирая, беззвучно рубили воздух. Потом подкатился трап.

Когда Егоров вышел из кабины, тускло освещен-

ный салон был уже безлюден. Кресла Сорокиных пустовали.

Он сошел по трапу. Было жарко, но не душно. Шлепали последние капли теплого дождика. На клумбах пестрели цветы.

Пройдя перрон, он вошел в зал. Аэровокзал был старый, с колоннами и лепными карнизами. В зале Егоров огляделся. Сорокиных не было. Тогда он пошел в ресторан.

Там его ждали. У окна сидел за столом весь его экипаж. Еще издали улыбнувшись командиру, Вика показала на свободный стул рядом с собой.

Конечно, горячий кофе над облаками — вещь приятная, но куда приятней сесть на земной тверди за широкий стол с белой скатертью. И в обществе Вики дать себе и экипажу хотя бы полчаса отдыха и разрядки. Он любил и ценил эти короткие полчаса на земле, обычно был весел, ел ржаной хлеб с солью, шутил, подхватывал острое словечко.

А сейчас весь экипаж заметил его рассеянность. Разговоры за столом умолкли. Мужчины смотрели на командира в упор. Одна Вика тактично ничего не заметила.

— Командир, а я уже заказала вам пельмени. Ваши, сибирские, — засмеялась она. На правах хозяйки стола она уже приготовила для него и ломоть ржаного хлеба с солью.

— Спасибо, — сказал он и быстро оглядел ресторан. Сорокиных нигде не было. — Только я минут на пять выйду:

— Обед уже несут.

— Я скоро вернусь.

Сорокиных он увидел в дальнем углу пустоватого зала. Там у окна шипел и пускал кофейные пузыри никелированный автомат. Между колоннами стояли мраморные высокие столики. За крайним столиком пили кофе Сорокины.

Егоров подошел к буфету. Пока ему готовили кофе, он украдкой, издали наблюдал за Сорокиными. Муж что-то говорил жене, явно нервничая. Может быть, Надя спросила его о планшете и он ей все рассказал? Вряд ли. Да и сын стоял рядом и слышал, о чем они говорили.

Сын стоял за мраморным столиком и, шурясь, цеп-

ко оглядывал зал, колонны и бронзовую огромную люстру. Потом осмотрел и синюю чашку с маркой Аэрофлота, которую держал в руках, даже провел по ней пальцем. И в этих жестах и взглядах Егоров узнавал самого себя и свою привычку вот так же цепко, прищурясь, трогать глазами и пальцами все новое и незнакомое вокруг себя. Усмехнувшись, он подумал о таинственных генах, вокруг которых так много шума.

Он взял чашку кофе и, выйдя из-за колонны, остановился. Все столики были заняты. Сорокин увидел его и замолчал. Надя тоже смотрела на него настороженно. А он так и стоял с чашкой в руке, и не пригласить его к своему столику было бы просто невежливо. Его пригласили.

Он поставил чашку на мраморную круглую плиту и сказал что-то о погоде в Москве.

— А нам еще долго лететь? — спросила Надя, поддерживая пустой разговор.

Он ответил, что почти шесть часов.

— И без посадки? — быстро спросил Сорокин и обернулся к жене: — Вот видишь, целых шесть часов без посадки.

— Он плохо переносит полет, — неохотно сказала Надя.

Перемешивая в чашке кофе, Егоров усмехнулся:

— Когда-то переносил отлично.

— Годы не те, — защищая мужа, ответила Надя.

— Да и сердце пошаливает, — слабо улыбнулся Сорокин. Лицо у него в самом деле было бледное, потное, нездоровое, а улыбка — как у страдальца. — Ну, идем? — страдальчески спросил он жену. Очевидно, это было продолжение их разговора.

— А зачем нужна я? Сходи сам и выясни. — Надя явно не хотела оставлять сына вдвоем с Егоровым.

Но и у Сорокина были причины не оставлять жену за этим круглым мраморным столиком.

— Нет, идем вместе, — сказал он настойчиво.

— Ну хорошо, если тебе так хочется.

Перед тем как уйти, она поправила воротник Алешиной белой рубашки. Сын застенчиво и грубовато — по-взрослому — отвел ее руку. И Егоров подумал, что вот он, отец, первый раз остается наедине со своим сыном, а тот уже давно не мальчишка.

— Знаете, — сказал юноша, когда мать и отец вы-

шли из зала, — папа не хочет дальше лететь. Ему в самолете плохо.

«Еще бы! В моем самолете! — подумал Егоров. — И папа попытается улизнуть». Но вслух он ответил другое:

— Пожалуй, они опоздали. Через полчаса вылетаем. Не успеют снять ваш багаж. Куда они пошли?

— К дежурному. Но мама не хочет поездом, говорит, жаль времени.

— Да, время летит. — С грустью Егоров добавил: — Только встретились — и расстаемся.

Алеша посмотрел на него пристально; может быть, начинал понимать, что человек этот имеет какое-то близкое отношение к матери и отчиму, а не просто их старый знакомый.

— А ты помнишь, — спросил отец, — я приходил к вам лет десять назад? Ты учился тогда в первом классе. Помнишь? Ты еще показал мне фотографию своего отца. Там он снят около самолета, на фронте.

— Нет, вас я не помню. А фотографию храню. — Хмурясь, юноша провел пальцем по гладкому холодному мрамору. — Послушайте, вы обещали ответить мне. Вы знали моего отца?

— Нет.

— А откуда вам известно о его гибели?

— Кто-то рассказывал. Очень давно.

Сын, подняв глаза, усмехнулся:

— Вот так всегда.

— Как? — не понял Егоров.

— Где-то и кто-то рассказывал. Очень давно. А я должен им верить на слово. Но никто, кроме мамы, его не видел. Правда, она говорит, он был богатырь и герой. Рост — во! Выше вас. Не верите? А вы спросите у моей мамы. — Алеша смотрел на него с откровенной усмешкой.

Похоже, сын в самом деле начинал мыслить взрослому. И кажется, не верил более в сказку о богатыре-отце, которую ему придумала мать.

Подумав так, Егоров сказал тихо:

— Послушай, парень... А если твой отец не погиб? Если жив?

— Жив? — На миг Алеша вспыхнул надеждой, как-то засветился весь. И сквозь усмешку вновь прорезался тот доверчивый, грустный мальчик, который

когда-то протянул отцу старую фотографию с обломанным уголком.— Жив? Нет...— Надежда в глазах угасала.— Если он жив, где же он?

— Просто мне так подумалось.

— Он бы ко мне пришел.

— Да, ты прав.

— Но иногда мне тоже кажется, что он жив.

— Почему?

— Сам не знаю. Может быть, потому, что никто не может мне рассказать, где и как он погиб.

— И все-таки его нет,— ответил отец устало.

А сын, помолчав, сказал вдруг с холодноватой улыбкой:

— Да и был ли он? Был ли мой героический папа?

И отца поразили не слова эти, а эта улыбка: давно ему знакомая, холодноватая, скользящая сорокинская улыбка. И отцу уже не казалось, что сын так похож на него, он даже почувствовал к нему неприязнь и вместе с тем острую боль за него.

— Ну, юноша, мне пора,— с усилием сказал он, боясь, что больше не выдержит.— В самолете увидимся.

Его чашка кофе осталась нетронутой на мраморном столике. Уходя, он не оглянулся.

А до вылета было еще двадцать минут. Вспомнив, что его ждут, он пошел в ресторан. Стол у окна был пуст. Экипаж уже ушел к машине. Одна Вика сидела и ждала командира. Мисочка с пельменями была закрыта салфеткой.

— Кажется, я опоздал.

— Ничего,— мягко сказала она.

Похоже было, что Вика о чем-то догадывалась. Но молчала, не спрашивала.

— Садитесь.— Она подвинула ему мисочку.

— Спасибо, не хочется. Да и времени у нас мало. Идем.

— Да, пора,— согласилась она.

Вместе они вышли на перрон. Было уже темно. Горели матовые шары, чуть моросило, блестели лужи.

В полутьме тускло отсвечивал фюзеляж самолета с желтоватыми точками иллюминаторов. У трапа тянулась очередь. Но пока Егоров и Вика шли к машине, очередь растаяла, у трапа остались последние пассажиры. Сорокиных среди них не было.

Егоров оглянулся. Перрон был безлюден, никто не спешил, никто не опаздывал. И Вика, вероятно, заметила его взгляд. Но опять ни о чем не спросила, сама догадалась.

— Вы идите, я подожду их,— сказала она.

Он стал быстро подниматься по трапу. У него еще была надежда, что Сорокины давно заняли свои места. Войдя в салон, он увидел у двери три пустых кресла.

Он прошел в кабину, закрыл дверь и молча снял пиджак, оставшись в белой рубашке. Сквозь стекло ему был виден безлюдный перрон. Под дождем вхолостую сияли матовые шары. Ветер рябил лужи. Около самолета стоял трап.

Несколько минут заняла подготовка к запуску двигателей. А когда он опять оглянулся, трап уже отъехал от борта. И он не знал, вернулись ли Сорокины в самолет или три кресла у двери так и остались пустыми.

Завыл стартер, замелькали черно-желтые лопасти. В кабине погас свет — глаза привыкали к темноте. И пока рулили по мокрому бетону, шли на взлет и, взлетев, пробивали тяжелую облачность, Егоров уже не думал ни о чем, кроме полета.

Туго и сильно гудели турбины. Машина круто резала сероватый мрак облаков. В кабине было темно. Даже огни на крыльях наглухо затянуло мглой.

Постепенно стало светлеть. Сверху робко просачивалась белизна.

И внезапно белесый мрак оборвался. В фиолетовом небе среди звезд висел чистый и яркий диск луны. Белую пустыню облаков заливал молочный свет.

Только тогда, не снимая рук со штурвала, Егоров разрешил себе вспомнить о сыне. Но он так и не знал, летит ли сын вместе с ним или остался под облаками.

— Командир!

Он оглянулся — у его кресла стояла Вика. Задумавшись, он не видел, как она вошла в кабину. После взлета она принесла пилотам их черный кофе.

— Пожалуйста.— Вика подала ему чашку, наклонилась и сказала негромко: — Они здесь.

— Кто?

— Ваши знакомые. Они едва не опоздали. Я немало задержала посадку.

— Спасибо, — ответил он, взяв у нее чашку. И непонятно было, за что он благодарил — за кофе, или за то, что она задержала посадку, или вообще за весть о трех пассажирах, которые чуть было не остались под облаками.

Вика ушла, и он жадно, одним глотком выпил весь кофе. Сжав в ладонях пустую теплую чашку, он подумал, что на земле Сорокину сбежать так и не удалось. А теперь бежать некуда — за бортом только холод, и тьма, и пустота, прослоенная облаками. За бортом, в темном небе, блестела луна. Ее холодный свет лежал на тусклом металле крыльев. А Егорову было жарко, лицо горело. Он расстегнул воротник. Потом решил сходить в туалет и умыться холодной водой. И сказал Иннокентию, что отлучится на минуту.

Даже себе он не признался бы, что это только предлог для того, чтобы выйти из рубки и увидеть сына.

Он открыл дверь. В салоне горел слабый свет, почти все пассажиры уснули — по дальневосточному времени была уже ночь.

Спал и сын, уткнувшись в плечо матери. А она при свете ночника читала книгу. В пухлом томе были прочитаны только первые страницы. Видно, мать давно подступалась к этой книге, да все не хватало времени, и она отложила чтение до самого отпуска. Видно, у нее много забот и мало отдыха и она изголодалась вот по такой минуте покоя наедине с собой. Она была в роговых очках, строгая и спокойная. В ней уже исчезла та напряженность, с которой она встретила Алешиного отца. Видно, она поверила, что эта встреча ничем не грозит сыну, и к ней вернулось потревоженное было покойное ожидание отдыха.

Но сам Сорокин не спускал глаз с Егорова, и взгляд его ясно выражал холодный, злой вызов.

Егоров прошел в тесный туалетный отсек. Сквозь иллюминатор заглядывала луна. Он снял галстук, посмотрел в зеркало и подумал опять, похож ли на него сын. Человек в зеркале — черноволосый, но светлоглазый — мог быть еще молодым, если бы не резкие морщины у глаз. Дубленая кожа делала лицо грубей и старше. С таким лицом в кино любят показывать асов неба. И пожалуй, сын все же похож на этого темно-



лица человека. Только у отца, как говорится, серебро на висках, да и глаза, если подумать трезво, у них очень разные, — у отца, например, усталые.

Да, сегодня усталые. От жизни иногда устаешь. Но не следует путать усталость с мудростью. Пережить и устать — не значит понять. Можно устать и выдохнуться еще на дальних подступах к истине. Например, как в сетях, запутаться в сложностях.

А сложность явления, подумал он, бывает от неумения видеть его основу, которая обычно проста и закономерна — и в человеке и в обществе. Простое — самое трудное; и чем раньше найдешь его, тем лучше — и для тебя, и, как говорится, для общества.

Он расстегнул воротник, открыл кран с холодной водой и умыл лицо. А когда поднял голову и взглянул в зеркало, то увидел, что за ним, за его спиной, в отсек входит Сорокин.

Признаться, Егоров этого ожидал. Обернувшись, он близко увидел пухловатое лицо с бесцветными волосами и некогда голубые глаза. Сорокин был бледен. Сквозь рыхлость щек проступали острые скулы, в глазах тлел огонек.

— Закурим? — он достал сигареты.

— Нет, я бросил. — Егоров отвернулся и стал расчесывать волосы. — А ты куришь? — Он опять видел Сорокина в зеркале. — У тебя же сердце болит. Так болит, что ты не мог дальше лететь. Или соврал? Хотел от меня удрать?

— Ну, соврал. — Сорокин в зеркале усмехнулся: уже не хитрил, а сам шел на прямой разговор. — Ну, хотел удрать. Пусть будет так. А к чему старое ворошить? Зачем? — И по той убежденности, с которой он это сказал, видно было, что ради этих слов он и явился. — Для тебя-то что изменится?

— Почти ничего. Для меня ты был и останешься тем, что ты есть. Но вот другие, Сорокин, не ведают до сих пор, что ты есть. Правда, я не знаю, как ты жил все эти годы. Думаю, однако, избытком совести ты не страдал. Ошибаюсь? Тогда почему ты и сегодня хотел сбежать?

— О сыне беспокоился! Ведь от тебя можно всего ожидать.

— Врешь, я всегда держал слово. И не прячься за моего сына!

— Он мой сын! Я его вырастил!

— Да, и лепишь из него свою копию! Но у него есть мать, не забудь! Не та наивная девочка, которую мы с тобой по субботам встречали на станции. Ты помнишь, Сорокин?

Бывший сержант смолчал.

— И рано или поздно она будет судить тебя! И — меня! Да, — крикнул Егоров, — нас обоих! Я тоже виновен. Я молчал и тем покрывал тебя. Годы прошли, а что изменилось? Сын вырос, и все стало куда сложнее. — С трудом он передохнул. — И не знаю, простит ли она...

— Ну, — сказал Сорокин, — я-то и не надеюсь.

— Допустим, у тебя есть один шанс. Как судья, она оценит твоё покаяние.

Сорокин усмехнулся:

— Покаяние?

Глубоко вздохнув, он облизнул сероватые губы, расстегнул воротник. Он сидел на диване около зеркала. Рядом лежали его сигареты и блестящая никелем зажигалка.

Егоров молча взял одну сигарету, размял в пальцах, прикурил от зажигалки и жадно глотнул горький дым табака, будто и не бросал курить.

— Только ты, Сорокин, кайся скорей. Как бы тебе не опоздать.

— А тебе как бы об этом не пожалеть!

— Хуже того, что было, не будет. Вот так, Сорокин. — Разговор этот мог стать бесконечным, а время бежало. — Ну, мне пора, — сказал он, взял из пачки ещё одну сигарету и сунул в карман.

Обратно Егоров снова прошёл через салон. Сын по-прежнему спал, но мать не читала. Её ночник был погашен, и толстая книга, которую она давно собиралась прочесть, была закрыта и лежала у неё на коленях. Долгожданный покой для неё оказался недолгим. Кресло рядом с ней — кресло её мужа — было пусто; она знала, где он и почему так долго его нет. Ей легко было догадаться, о ком говорили отец и отчим Алеши. Она не знала только, чем кончился их разговор. Когда Егоров шёл мимо, она смотрела на него настороженно.

А он вошёл в кабину и захлопнул дверь. Щёлкнул замок.

В кабине все было обычно. Иннокентий допивал свой кофе и был особенно сосредоточен, как и полагается второму пилоту, если рядом нет командира.

Егоров сел в кресло. И только тогда заметил, что в руке у него дымится сигарета. Украдкой он сунул окурок в пепельницу. Конечно, Иннокентий видел, но промолчал. Наверное, по миссию Иннокентия, сегодня он вел себя как нервная девица.

Он вдруг разозлился. Да, он встретил сына, да, волновался, все понятно, и кому-то другому он простил бы минутную слабость. Но не себе. Что бы ни было, в воздухе он — командир. И теперь ему хотелось скорее войти в работу.

А работы, слава богу, человеку хватает в небесах. Едва он сел, как радист протянул листок с прогнозом погоды на трассе, а штурман доложил — подходим к контрольному пункту. Он и сам это видел. Было безоблачно, в лунном свете ярко блестели барабинские озера. Прямо по курсу светлая нить реки прорезала огни Омска. На краю города тусклой свечкой горел газовый факел.

Бегло читая эту живую карту, он взглянул на часы. Омск проходили вовремя. Он нажал кнопку радиации. Как всегда, сообщил диспетчеру свою скорость и высоту, курс и остаток топлива; как всегда, получил разрешение следовать дальше.

Выключив радиацию, он на секунду закрыл глаза. Он знал, что там, на земле, магнитная лента запомнила каждое его слово и даже шорох его дыхания, что эту бесстрастную память будут хранить положенный срок, потом сотрут и магнитными письменами запишут новые шорохи и слова.

А память человеческую, думал он, не сотрешь и не запишешь заново. То, что было, не вырвешь из памяти, как страницу из книги, как кусок мрамора из мозаики. То, что было с тобой вчера, всегда с тобой и сегодня — в твоей памяти.

И за ветровым стеклом, среди звезд, опять ему виделись глаза сына, и он сам рассказывал сыну всю правду, и снова шел сквозь далекие и близкие годы.

«И значит, ты жив?»

«А ты не веришь, сынок?»

«Если бы ты был жив, ты бы пришел ко мне».

«Вот я и пришел. Давай начнем нашу жизнь с тобой заново. Ведь жизнь — как стебелек сквозь гранит, как корабль сквозь бурю. Поэтому и мы с тобой встретились».

«Мы? С тобой?.. А был ли ты, мой героический папа?» — И сын вдруг улыбнулся той самой холодно-вастой, так знакомой ему улыбкой.

И для него все сразу исчезло. За ветровым стеклом, среди звезд, снова была только холодная пустота.

А время летело, и пока он думал, все вспоминая, миновали Урал и крылья, серебристо-холодные под луной, повисли над светлым пятном Казанского моря.

Дом был близок. У горизонта начинало разгораться красноватое зарево — словно остров в океане тьмы и звезд. Постепенно в зареве прорезались сгустки света, а потом и они распались огнями дачных поселков и станций.

Было ясно и ветрено. И Егоров подумал, что в такую погоду сын увидит с воздуха почти всю столицу. Он был уверен, что сын не спит уже и видит каждый огонек на земле.

Долго они тянули над линиями электричек и темными прогалинами лесов. Потом стал открываться сам город: сначала пестрый пояс новых окраин, всяких Черемушек и Кузьминок, а за ним, в крутом изгибе реки, — сияющий монолит старой Москвы.

Ее огни — белые, красные, голубые, зеленые — мерцали под жарко светящимся куполом неба. И, сливаясь в кольца, квадраты, спирали, овалы, в самые причудливые фигуры, рисовали контуры города.

Среди них, думал Егоров, был и его огонек, его дом и семья. Но он не может показать сыну тот огонек и сказать, что вон там, в старой Москве, в тесноватой квартирке с балконом, живет его маленькая сестра. Он подумал и о жене. Конечно, она ждет его и поглядывает на часы. А его это мало волнует — сейчас он ощутил это особенно остро. Да, после Нади он никого так не любил. Но об этом, устало подумал он, не знает ни один человек на свете. Даже сыну своему он не может сказать ни слова.

А земля приближалась. Он мягко добрал штурвал, и колеса коснулись бетона. Все было, как тысячи раз. Мелькали искры почного старта.

И перед глазами опять бежали бетонные плиты — совсем как тогда, когда он взлетал с дальневосточного аэродрома. Правда, там был закат, а здесь уже поздний вечер. И за эти часы прошло полжизни. Он словно вновь пережил все те годы, вновь испытал все и теперь был очень усталым.

Но, подумал он, вот что самое трудное: хотя за эти часы так много произошло и так много вновь пережило, для него, собственно, ничего не изменилось; еще полчаса, и он расстанется с сыном.

Они подрулили к ярко освещенной многоцветной коробке Внуково-2 с прозрачными стенами.

Со свистом затихли турбины. Медленно угасал бег винтов. К люку уже двигался высокий сине-белый трап.

— Приехали! — Иннокентий со вкусом потянулся в кресле.

А Егоров молча стал надевать пиджак.

Когда он надел пиджак и вышел в салон, там была обычная суета. Пассажиры разбирали свои портфели, шляпы, плащи. Самые нетерпеливые толпились у двери.

Только двое — Сорокин и Надя — сидели в креслах, не суетились, не спешили, вообще, кажется, не замечали, что полет окончен и они уже в Москве.

Егоров сразу понял — что-то произошло. Правда, лица Нади он не видел, она сидела, опустив голову. Но очень бледный Сорокин смотрел перед собой вяло и тупо, без сил, без мысли.

А сын стоял около них с плащом на плече. Видно, ему хотелось скорее сойти на московскую землю, да он не решался торопить мать. Видно, он тоже понял, что между матерью и отчимом что-то произошло — и не без участия этого летчика. Знакомым Егорову холодноватым взглядом он посмотрел на него исподлобья.

Егоров кивнул ему:

— Ну, будь здоров, Алексей.

Услышав его голос, мать быстро встала.

— Алеша, ты все собрал? Ничего не забыл? — Потом обернулась к Егорову и сказала с нарочитой небрежностью: — До свидания. — А в глаза ему смотрела не отрываясь.

Губы ее дрожали, на щеках не высохли слезы. Но странно, лицо ее словно помолодело.

В ней опять было много от той наивной, горячей, заражающе чистой девчонки, которую он любил. И в глазах ее вновь он увидел все ту, как в юности, не сломленную, не запятнанную годами и болью, только ставшую зрелой, ее строгую чистоту.

А ее слезы казались слезами радости; казалось, она счастлива, что перед ней снова человек из ее юности и для нее он снова такой, какому она отдала первую свою любовь.

Но он не знал, всю ли правду открыл ей Сорокин или лишь самую безобидную, удобную для себя часть, которая только кажется правдой и покаянием, а в сущности ничего не меняет.

И они прощались так, будто между ними ничего не случилось.

А сын и не догадывался о спектакле, который разыгрывали для него взрослые,— тоже кивнул знакомому летчику и забросил на плечо дорожный мешок.

Егоров проводил их до трапа. Когда Сорокин и Надя сходили на землю, он вспомнил, как беззаботно они поднимались по такому же сине-белому трапу несколько часов назад. Может быть, подумал он, и для них в этом полете прошла вся их жизнь.

Один Алеша был человеком без биографии. Торопясь, он шел впереди матери и отчима и даже не оглянулся на знакомого летчика, который смотрел ему вслед.

Егоров стоял у люка, пока Сорокины не скрылись в толпе на перроне.

Было жарко. Внизу у трапа его ждал Иннокентий и весь экипаж. Вика провожала последних пассажиров.

— Командир! — крикнул Иннокентий. — Есть деловое предложение. По кружке холодного пива. Спикеруем?

Кто-то из экипажа засмеялся. Конец рейса для них был там, на земле, у последней ступеньки трапа. Там начинались шуточки, запрещенные в воздухе. И командир был там уже просто товарищем, другом, таким же летчиком-работягой, как и они.

— Ну, Сергей Ильич? — с нетерпением спросил Иннокентий. — В такую жару сам бог велел.

И снова кто-то засмеялся: для разрядки рад был сейчас самой незатейливой шутке.

— Мужики, вы идите, я догоню,— ответил Егоров.

— Ладно. Ждем обоих,— Иннокентий подмигнул Вике, которая стояла у трапа. Она засмеялась тоже.

Все шло, как всегда после дальнего рейса, и Егорову давно были знакомы эти традиционные шуточки и намеки.

Он вернулся в салон и достал из кармана помятую сигарету — ту, что взял у Сорокина. Очень хотелось курить, да он не нашел спичек. В безлюдном салоне было тихо и темновато. На кресле, в котором недавно сидел Алеша, валялся журнал «Польша». Егоров вспомнил, что сын читал «Польшу» в полете. Он сел в Алешино кресло и стал листать журнал, стараясь угадать, что именно читал сын, и хотя бы немного узнать, какой он, что думает и каким видит мир.

Потом отложил журнал и взглянул в иллюминатор. Толпа на перроне уже растаяла, втянувшись в огромную коробку аэровокзала. За прозрачными стенами по всем этажам и лестницам двигались люди. И он долго смотрел туда, в пестрый хоровод лиц и одежд, стараясь угадать там знакомую фигуру сына.

Он даже не слышал, как подошла Вика. Наверное, она заметила, что он сидит с незажженной сигаретой.

— Вот спички, пожалуйста,— сказала она.

У нее было прямо чутье на доброе дело. Она вообще обладала редким даром — быть рядом именно в самую трудную минуту. В этом он особенно убедился сегодня. И он был рад, что сейчас рядом с ним именно Вика, с ней легко, просто, она сама все видит и понимает.

— Спасибо,— сказал он и зажег спичку.— За все спасибо. Вы очень помогли мне сегодня.— Жадно затянувшись сигаретой, чуть успокоясь, он признался: — Это мой сын.

После долгой паузы она сказала:

— Я так и думала. Он похож на вас. Но он не знает, что вы — отец?

Теперь и он помолчал, прежде чем ответить:

— Почему вы так думаете?

— На отца так не смотрят. Особенно, если давно не виделись.

— Как?

— Ну... как на чужого. Это заметно. Вот для вас он близкий человек. Это тоже заметно.

Егоров курил, молчал. Сигарета догорала. Слышно было, как из багажного люка со стуком выгружают чемоданы. Потом Вика тихо спросила:

— Я могу что-нибудь для вас сделать?

— Спасибо.— Он коснулся ее руки.— Но мне никто не поможет. Я сам виноват. Вот так.— Он сунул окурок в пепельницу и встал.— Ну, идем. Ребята нас ждут.

Узким коридорчиком они прошли к двери. Около трапа уже никого не было, ушли и Викины подружки, бортпроводницы.

— Ушли и оставили нас вдвоем,— улыбнулась она.

— Ребята шутят,— сказал он, хотя не был уверен, что это только шутка. Да и Вика, кажется, не очень верила этому.

Они спустились по трапу. От бетонных плит тянуло теплом. На земле было жарко и душно. С прохладным плеском мимо прошумела поливочная машина. Они пошли ей вслед, обходя лужицы на бетоне. В лужах сияли огни аэровокзала с его многоцветьем реклам, киосков, указателей, журнальных витрин, буфетных стоек из никеля и эмали. У прозрачных стен темными силуэтами стояли и бродили люди.

Но сколько ни всматривался Егоров, нигде он не видел своего сына.

И опять Вика угадала его мысли.

— Вот не подумала бы, что у вас такой взрослый сын.

— Ну, я и сам не юноша. Особенно рядом с вами, Вика.

— Ну, я тоже не девочка,— чуть грустно, ему в тон сказала она.

Верно, устала после дальнего рейса — устала ходить в небе на тоненьких каблучках и улыбаться под сотней прилипчивых глаз. И шла просто так, для себя, без улыбки, как все девушки на земле идут с работы домой.



Но шаги у нее были легкие и счастливые.

А он с горечью думал, как она ошибается в нем, в командире с плакатным лицом героя. Если бы она знала всю правду о том, с кем ей легко идти рядом! Как он не спас сына, когда мог это сделать. Как он годами молчал. Пока на лицо того мальчика с доверчивыми глазами не легла, подобно слепку, сорокинская улыбка....

А вокзал был уже близко. С балкона кто-то махал им рукой: Иннокентий звал их — идите скорей! Холодное пиво уже стояло в запотевших стаканах. И Егорову захотелось туда, за столик кафе, к друзьям, — пить пиво, шутить, спорить, даже закурить сигарету и хотя бы на полчаса забыть обо всем. Он кивнул Иннокентию — да, идем! — и было прибавил шагу.

Вдруг Вика быстро взяла его за руку:

— Смотрите, он ждет вас!

— Кто?

— Сын.

Сначала он увидел Сорокина. Войдя в подъезд, тот был уже за стеклянной дверью. Устало волоча плащ, уходил немолодой человек в модном костюме.

По эту сторону двери стояла мать.

А совсем близко к Егорову — четким силуэтом на прозрачной стене — застыл его сын. В мокром асфальте вокруг него блестели огни.

Егоров замер, сжал пальцы Вики. Она мягко освободила руку — идите! Но он медлил. Случайный свет фар вылепил в полутьме лицо сына. Глаза его щурились остро и холодно. Казалось, он хочет узнать человека со старой фотографии, не узнает его и вот-вот усмехнется: *а был ли ты?*

Свет скользнул и погас, лицо ушло в тень, а Егоров все видел перед собой туго сжатые губы и холодноватые, с затаенной усмешкой глаза. И думал уже не о том, похож ли сын на него, а о том, насколько тот похож на молодого Сорокина. И, ясно увидев это, он понял, что самое трудное в его, Егорова, жизни только еще начинается.

## ПОБЕГ

После развода с женой, чувствуя себя одиноким в пустынной квартире, Павел Глебов взял отпуск и уехал в Батуми. А там месяц спустя, уже бронзово-смуглый и моложавый, твердо решил, что жизнь продолжается и для начала неплохо бы совершить этакое холостяцкое морское путешествие до Ялты или Одессы. Но было лето, и туристские лайнеры, лебедино-белые на фоне рекламного синего моря, были все переполнены, и пришлось ему брать билет на рейсовый теплоход — без роскошных салонов и баров.

Ранним утром с легкой своей холостяцкой поклажей он влился в толпу пассажиров у трапа и, увидев высокий борт со зрачками иллюминаторов, белую громаду надстроек и пестрые флаги на мачтах, решил с удовольствием, что и на этом корабле путешествие будет приятным.

Поднимаясь по трапу, Глебов с той же охотой отметил и загорелые женские ножки, которые топали перед ним по ступеням, а когда пассажирка вдруг оступилась, с легкостью подхватил ее чемодан.

Женщина обернулась, и он сразу отметил ее приятно-ласковые глаза.

— Спасибо,— сказала она, и голос был тоже приятный.

— Пожалуйста,— улыбнулся ей Глебов, подумав, однако, что чемодан-то увесистый. Взглянув вверх, прикинул, долго ли подниматься, и заметил на поручнях красно-белый спасательный круг с четкими буквами — названием корабля. Он вспомнил, что это имя значится и в билете, и на секунду задумался, не понимая еще, отчего так тревожно. А перед ним уже встало скуласто-худое лицо, покрытое тающим снегом, и очень светлые, голубые глаза...

И так ярка и внезапна была эта вспышка, что, ослепленный, он запнулся на трапе. Но сразу сказал себе: мало ли было на свете людей с этим именем!.. И все же поднялся по крутым, бесконечным ступеням и дотащил чужой чемодан.

— Ну,— спросил он на палубе,— а теперь вам куда?

— Да я сама,— виновато ответила женщина.— Вы совсем запыхались.

— Пустяки,— сказал он, бодрясь.— Где ваша каюта?

— В первом классе.

— И моя там же. Шестая каюта.

— Соседи.— Она улыбнулась.

Совсем успокоившись, повеселев, Глебов снова обрел прежнюю бодрость и с двумя чемоданами, своим и чужим, легким шагом пошел рядом с этой приятной женщиной и подумал, что они похожи, наверное, на счастливых супругов, которых ждет их семейный уют, или на счастливых любовников, у которых впереди еще много безоблачных дней.

— А между прочим,— сказал он,— мы еще не знакомы.

— Маша...

— Павел,— подхватил он, хотя было немного неловко, что взрослый дядя делает вид, будто молод еще, чтобы называть свое отчество. И все же продолжал игру в юность: — Маша, а вот и ваша каюта!

Медным ключом она открыла каюту и заглянула туда с любопытством. Глебов внес ее чемодан и поставил на узкий диванчик, отметив про себя с удовольствием, что Маша будет в каюте одна.

— А ваша каюта? — спросила она.

— Через дорогу,— сказал Глебов, выходя в коридор.— Не потеряемся!

— Конечно,— согласилась она.— Ну, пока! — И закрылась в каюте.

С легкими, приятными мыслями он подошел к своей двери. Но когда открывал ее, то и на медном ключе вдруг увидел литые, четкие буквы с именем корабля.

В каюте Глебов бросил ключ на диван и тут же о нем забыл — так казалось ему. Конечно, он думал совсем о другом. О том, что в тесной каютке душно и жарко и нужно открыть окно; и о том, что в крохотной нише, отделанной пластиком, есть кран и можно освежиться холодной водой. С удовольствием скинул рубашку и, стараясь не брызгать, умылся до пояса. И пока растирался жестким вафельным полотенцем, все оглядывал свое временное жилище, прикидывал, как удобней разложить свои вещи. Еще прохладный и

влажный, ощущая морской ветерок, залетавший в окно, он взял кожаный лакированный чемоданчик, с легким треском открыл послушную медную змейку и из атласной глубины, пахнувшей морем и солнцем, стал доставать самое нужное: безопасную бритву, блестящую никелем, лезвия в ярко-красных конвертиках, тюбик пасты «Флорена», сине-белые плавки с фирменным знаком, туалетную воду, пижаму, полосатый купальный халат. И, раскладывая все это так, как хотелось, и там, где было удобно, он старательно погружал себя в мир приятных вещей.

Только одно мешало ему: на диване, куда падало солнце, блестел медный ключ. Тогда он взял ключ, положил его в пустую тумбочку и со стуком захлопнул дверцу.

И опять раскладывал вещи, прикидывал роль, какую они могут сыграть в том приятном, что его ожидало. Он достал новенькую рубашку, которую еще даже не примерял, и решил, что пришла наконец и ее пора, — надел и посмотрелся в зеркало.

Но что-то все же мешало ему быть счастливым. И, почему-то забыв о модной обновке, он смотрел в глубину своих глаз.

А корабль уже поворачивал в море, солнце плыло по стенам каюты: вот оно заглянуло и в зеркало и оттуда внезапным ослепительно-белым огнем полыхнуло в глаза. И тогда все исчезло — стены, каюта, приятные вещи; остался лишь этот слепящий, режущий свет, и в нем, высвеченное до волоска, то скуласто-худое лицо, покрытое тающим снегом, и очень светлые, яркие, голубые глаза, смотревшие остро и зло...

Это было ранней зимой сорок первого года, когда Глебов, воевавший под Наро-Фоминском, попал в окружение и оказался в плену — в лагере около Орши. Отсюда пленных гнали в тыл — в Пруссию, в Польшу. «И если бежать, — думал Глебов, — то из этого лагеря, близкого к фронту, к своим». Он был лейтенантом, а врагам назвался солдатом: рядовых охраняли не так строго. Опасаясь доноса, он и в бараке соседям по нарам выдал себя за солдата, а те, чувствуя, что он врет, платили ему недоверием: если заговаривал о побеге, отвечали усмешкой, молчанием.

Конечно, побеги были, иногда удачные; однако, как это сделать, кому довериться, Глебов не знал.

Но однажды в глухую ночь он заметил, как в полутьме по бараку скользнула бесшумная тень, и услышал, как звякнуло окошко над нарами, и почуял, как пахнуло снегом и холодом. Тогда он прокрался вслед, тоже втиснулся в пустое оконце и упал по ту сторону барачной стены. В тусклой мгле Глебов увидел свежий след на земле, припорошенной снегом, и полз по следу, не зная, куда тот ведет, но веря, что вот он, случай, которого ждал много дней.

След нырнул в едва заметную впадину под колючей проволокой, и Глебов приметил, что место выбрано толково и ловко. Но когда сам полз этой ложбинкой, то сбился со следа и запутался в ржавой сети. А на вышке зажегся прожектор, свет скользнул по баракам и лег на ограду. На снегу паутиной раскинулись тени железных колючек, висевших над головой. Свет плыл неслышно, неотвратно, как смерть.

Не выдержав, готовый на все, Глебов уже приподнялся и вот тогда вдруг увидел то скуласто-худое лицо и очень светлые, острые, злые глаза. Человек в рваной шинели, прижатый к земле колючими иглами, лежал пластом, будто распятый. Уже присыпанный снегом, человек показался бы неживым, если бы его глаза не блеснули угрозой, когда он, шевельнув только губами, выдал с силой:

— Лежи!

И Глебов опять затаился, застыл, до боли сжал веки, укрываясь от бело-голубого огня. Потом свет угас, и навалилась густая, белесая тьма. Только на вышке, остывая, вишнево тлели угли прожектора.

— Давай сюда, — шепнул человек.

Глебов полз за ним, ощущая, как безошибочно беглец использует малейшую щель или рытвину, забитую снегом. Видно, он давно рассчитал и запомнил свой путь сквозь эту ржавую сеть. И за колючей оградой не бросился сразу в открытое поле, а свернул к вышке, где стоял часовой, — и это тоже был точный расчет: еще несколько метров, и оба оказались в глубоком старом окопе и, пригибаясь, бежали от вышки в сторону леса.

Когда они были уже в лесу, снова вспыхнул прожектор. Зарево обрисовало голые сучья. И Глебов

близко увидел скуласто-худое лицо, мокрое от пота и снега. Тяжело дыша, человек обтер лицо рукавом. Оказалось, он молод, почти ровесник. Глебов вспомнил: в бараке этот парень ходил с палкой, хромой, угрюмый и молчаливый. Теперь же не прятал глаза, а смотрел зорко и цепко:

— Ты кто?

— Человек...

— Сам вижу! — Глаза стали острыми: мол, а что ты за человек? — Ты дурочку не ломай. Командир?

— Ну хотя бы и так, — ответил Глебов еще насто-роженно. — Тебе что?

— А чего ты за мной увязался! — сказал тот; но поморщился, будто от боли, злость в его светлых глазах угасла, лицо стало больным и усталым. — Со мной далеко не уйдешь. Топал бы дальше один. Ты направо, я налево.

— Может, мне прямо, — Глебов взглянул на вос-ток, где сквозь голые сучья светлело серое небо.

— А может, и мне туда...

Зарево прожектора еще не угасло, и в голом, не-приятном лесуплыли зыбкие тени.

— Где тебя взяли? — спросил парень.

— Под Наро-Фоминском.

— А меня под Ржевом. Вот... — Он откинул полу-рваной шинели. На ноге смутно белела повязка.

Свет за лесом угас, и в нахлынувшей темени Гле-бов услышал:

— Так что ты думай: вместе нам или порознь.

А что было думать? Лес вокруг стоял черен и гол, и светились глаза человека.

— Ладно, все ясно. Ты кто? — спросил Глебов.

— Лейтенант.

— Пехота?

— Точно. А ты?

— Сапер.

— Не слышал, фронт далеко?

— Говорят, под Можайском.

— Тогда, сапер, сломай мне сук, да покрепче...

Хромая и опираясь на палку, лейтенант шел по лесу не ходко, не так, как хотелось бы Глебову. Прав-да, погоня, кажется, не было: ни выстрелов, ни лая со-бак. Снег густел и заносил их следы.

Потом где-то близко, за лесом, послышался гудок

паровоза. Лес поредел, и они вышли к железной дороге. Тускло блестели пустынные рельсы, которые на восток бежали до самой Москвы. Под откосом был хаос вздыбленных, обгоревших вагонов.

Но только стали взбираться по крутой насыпи, как снова раздался паровозный гудок и показались огни. Пришлось затанцевать под сгоревшим вагоном. Сквозь его ребра мутно светило рассветное небо. Из обломков торчал ржавый ствол крупновской пушки; пахло горелым железом.

А на откосе стучали колеса. Поезд шел осторожно; в светлеющем небе проплывали силуэты округлых танковых башен. И лейтенант провожал их острым взглядом стрелка, выбирающего мишень.

— Вот бы,— сказал он,— и этих сюда, под откос. Заложить бы ящик тола да ахнуть. Верно, сапер?

Глебов ответить ему не успел. Из-за грохота поезда они не слышали шаги патруля, и внезапно во мгле показались фигуры в касках и с автоматами.

— Немцы!

Оба замерли в полутьме под вагоном. Что же выдало их? Вероятно, следы на свежем снегу.

— Хальт! Хальт!

Они еще глубже втиснулись под обломки вагона, но что-то задели: загремело железо. И сразу — деловито и коротко — простучал автомат. Пули звонко цокали по ребрам вагона, железный остов гудел, как орган. Сыпались пепел и снег.

Едва все затихло, Глебов близко и ясно увидел рогатую каску. Фашист заглядывал под вагон, и в его руке что-то темнело — пистолет или граната.

Но в глаза ударил не взрыв и не выстрел, а яркий свет фонаря, беспощадный, ослепляющий свет, от которого тоже никуда не уйти...

Отраженное в зеркале солнце скользнуло куда-то, исчезло, угасло. С ним угас и тот ослепляющий свет, и в зеркале Глебов снова увидел себя, загорелого, молодого, свежего, в модной рубашке. Не было ни ржавых колючек, ни зарева в голом лесу, ни стука колес, ни звонкого цоканья пуль о железо, ни мысли о том, что это конец.

А был уют корабельной каюты, плеск волны за

бортом, тугой ветерок и шелест шелковой занавески. Были красивые вещи, лежавшие там, где удобно ему, и была мысль о чем-то приятном, что его ожидает,— да, о той женщине с ласковыми глазами.

Вспомнив о ней, Глебов стал одеваться и, торопясь, застегнул новенькую рубашку, которую еще ни разу не надевал. Что ж, пришла и ее пора, сказал он себе. Одеваясь, он слушал, не стукнет ли в коридоре соседняя дверь, не выйдет ли женщина. В коридоре раздавались незнакомые голоса, кто-то протопал, брэнча на гитаре.

Глебов сунул в карман сигареты, достал из тумбочки медный ключ, вышел, закрыл дверь ключом. Потом постучал в соседнюю дверь:

— Маша!

Никто не ответил. С досадой он понял, что Маша ушла из каюты и придется искать ее по всему теплоходу. Повернувшись, он быстро пошел коридором по ковровой дорожке. В матовом свете плафонов блестящие двери кают. Проходя, он заглянул и в салон. Стекланную стену закрывали желтые шторы, и стоял солнечный сумрак. На стене в темной раме висел чей-то портрет, но чей, Глебов не разобрал, да и не думал об этом. Мельком он оглянул весь салон — женщины не было. В мягких креслах сидели юнцы, длинноногие, в кедах и пестрых ковбойках, явно палубные пассажиры, которые случайно забрели на глянцебитый паркет. Негромко звучала гитара:

Он ее ищет,  
Она его ждет...

Из мягкого сумрака Глебов вышел на палубу, и его ослепил жаркий свет. Солнце пылало, в нем блекли краски неба и моря, а палуба так сияла белизной и надрасненной медью, что ломило глаза.

У горизонта синел низкий берег. За ним смутно белело: не то облака, не то снежные горы.

На палубе тесно и пестро стояли шезлонги, и все были заняты. Глебов шел, всюду видел разноцветье косынок, широкополые шляпы и смуглые плечи. Но Машу найти он не мог. Когда же увидел ее наконец, то не сразу узнал: она была в светлом платье, с ярким зонтом, в темных очках, легкая, свежая, чем-то уже иная, почти незнакомая. Она шла в толпе пасса-



жиров, а толпа послушно тянулась за долговязой девицей с мегафоном на тощей груди.

«Теперь,— металлически гремел мегафон,— мы направляемся на верхнюю палубу».

Все еще злясь, что потеряно время, и вместе с тем радуясь, что нашел эту женщину, Глебов протиснулся к ней сквозь толпу и уверенно, как старый знакомый, взял ее под руку. Кожа у нее была свежей, прохладной, и он совсем повеселел.

— Вы где пропадали? — сказал он с шутливым укором.

— Пошла на экскурсию. Знаете, как интересно! — Она с удовольствием стала рассказывать о жарких недрах, где дышат корабельные дизели, о медной *рынде*, отбивающей *склянки*, о мостике, где днем и ночью бодрствует капитан.— А он, капитан, морской волк,— со смехом сказала она,— оказался лысым, скучным и толстеньким человечком.

Загремел мегафон: «Посмотрите налево! Обратите внимание на средства спасения».

— А вот и средства спасения,— засмеялась она.— Как интересно!

Глебов, как все, повернулся налево и увидел корабельные шлюпки, блиставшие краской. На шлюпках были крупные, четкие буквы с именем корабля...

Потом Глебов услышал:

— Что с вами?

Маша смотрела на него испытующе. Он ответил:

— Да так, ничего. Немного болит голова.

— От солнца?

— Наверное.

— Идемте в тень.

— А-а, все прошло.

Он не лгал: все прошло, все угасло, и он снова был в этом живом и солнечном мире.

Загремел мегафон: «Посмотрите направо! Обратите внимание на средства тушения».

— А вот и средства тушения. Как интересно! — подражая Маше, шутя сказал Глебов.

Он уже знал, что Маша тоже москвичка, работает в каком-то НИИ, любит театр и живет на Садовой. Он не знал, одинока она или замужем, обручального кольца на ее пальце не было. А впрочем, это не имело значения.

Смеясь и болтая, они вместе с толпой продвигались за долговязой девицей и ее мегафоном и оказались в салоне. Было душно, но шторы закрывали стеклянную стену, и солнце не слепило глаза.

Глебову этот салон был знаком,— в мягких креслах сидели все те же юнцы, и все так же негромко звучала гитара:

Он ее ищет,  
Она его ждет...

— А знаете, Маша, я уже был здесь.

— Да?

— Я искал вас.

— Как в песне?

Кто-то сердито сказал им:

— Тише, мешаете слушать.

В салоне все стихло, умолкла гитара, слышен был только голос девицы-эскурсовода:

— ...Он совершил свой подвиг в годы войны...

Без мегафона голос ее был слаб и негромок, но ясно звучал в тишине.

— ...И теперь его именем назван наш теплоход.— Она показала рукой на портрет в темной раме, что висел на стене.

Глебов посмотрел на портрет, и ему в полумраке увиделось нечто смутно знакомое. Он громко сказал:

— Не видно, темно!

Кто-то отдернул штору на стеклянной стене. Хлынуло солнце, и в раме Глебов увидел скуласто-худое лицо и очень светлые, яркие, голубые глаза...

Маша шепнула:

— Что с вами? Опять болит голова? Здесь душно, выйдем на воздух.

— Нет, нет! — Он жадно ловил каждое слово девицы.

— ...После побега его отправили в штрафной лагерь. Тогда он совершил подвиг и однажды ночью снова бежал.

Внезапно Глебов спросил:

— Один?

— Да, один,— сказала девица.

«Нет!» — крикнул Глебов беззвучно.

— Нет,— шепнул он.— Все было не так.

- А как? — тихо спросила Маша.
- Не было ночи, не было никакого подкопа.
- А что было?
- Солнце, болото, аэродром. И большая собака.
- Откуда вы знаете?

«Мне-то не знать!» — ответил бы он. Но разве можно было рассказать ей о том, что случилось на бетонном поле аэродрома и почему там была большая собака...

И снова он вспомнил тот свет, ослепивший его в обломках вагона, и тот страх, и ту боль, и ту беззащитность, когда тебя, уже оглушенного, деловито и со знанием дела бьют кулаками, прикладами, плетью, когда тебя бьют в лицо сапогом, добротным, солдатским, увесистым сапогом с железной подковкой, и выбивают старательно если не жизнь, то хотя бы мысль о побеге, о воле. А потом ты откроешь глаза и увидишь бревенчатый, темный, в потеках, так знакомый тебе потолок лагерного барака и не сразу поверишь, что смерть прошла мимо и в тебе еще теплится жизнь. Да, ты жив, но ты снова в неволе, в бараке, за той же ржавой, колючей стеной.

Когда он очнулся, потолок в пятнах грязи и сырости висел над ним близко, как тяжелая крышка гроба. Глебов понял все, рванулся и застонал.

— Жив, сапер?

Хриплый шепот был очень знаком — голос того лейтенанта в рваной шинели:

— Ну, как ты?

— Пить...

Перед ним появилась консервная банка с водой. Холодная жесть прикоснулась к горячим, опухшим губам. Глебов пил долго, жадно, и ему стало легче.

Он лежал на верхних нарах на каком-то тряпье. Была уже ночь, барак спал. Тускло тлела запыленная лампочка. В полутьме он не сразу узнал лицо лейтенанта — так оно изменилось, стало темным от спекшейся крови. Только глаза были прежними, яркими и светились в тусклом мраке барака.

— Говорил я тебе, шел бы ты, парень, один, со мной далеко не уйдешь.

— Ладно... Не повезло нам.

— Еще повезет! — зло и весело сказал лейтенант. — Еще как повезет нам, сапер. Знаешь, какой я везучий!

И с такой силой он это сказал, что Глебов поверил: им еще будет удача!

За побег их отправили в штрафной лагерь — подалее от фронта, на польскую землю. В том лагере все было массивно и прочно, по-прусски, без малейшей щелочки для беглецов, — вышки, доты, многорядье колючей проволоки на железобетонных столбах. До России было так далеко, что и птице, казалось, не долететь.

Всю зиму, каждое утро, в мороз и метель, еще затемно пленных гнали из лагеря в каменоломню, и тогда даже вонючий барак и нары с лохмотьями вспоминались потерянными раем. А ночью все мысли и шепот были лишь об одном: о побеге.

Зима прошла, расцвел май. И вот день настал. Едва рассвело, штрафников повели в каменоломню. В облаке пыли истощенные призраки устало шаркали по каменистой дороге.

— Похоже, ветра не будет, — шепнул лейтенант. Даже ветерок мог помешать их побегу.

— И нет облаков...

Даже облачко помешало бы им.

Над ними в безоблачном небе летел «мессершмитт». Он шел на посадку и пронесся над самой дорогой. Это было привычно: мало кто из колонны посмотрел ему вслед. За перелеском, где скрылся «мессер», виднелся аэродром. Там строили бетонную полосу, и для нее добывали камень в карьере. Туда и гнали их, штрафников; уже показался обрывистый холм и его развороченное, зияющее нутро с острыми, рваными глыбами.

В карьере Глебов и лейтенант переносили камни к узкоколейке. Носилки были жерди и доски. Но камни укладывались по-хитрому: сверху плотно, а внутри пустота. Потом камни с грохотом сыпались в железную вагонетку — чем больше грохота, тем спокойней охрана. А если все же обнаружился саботаж, полагались карцер или пуля.

В тот день они решили не рисковать. Шли, в самом деле сгибаясь под тяжестью груза, и с грохотом

ссыпали камень, успокоив охрану своим усердием. Даже разровняли кучу камней в вагонетке, чтобы больше вошло.

— Ну, пора? — тихо спросил лейтенант.

Глебов оглянулся. На холме — над ямой карьера — стояли солдаты с собаками. За холмом зеленела болотная топь, и, хотя она считалась непроходимой, там маячил часовой с автоматом. Солнце было еще нежаркое, да и утренний ветерок не затих, и солдат не тянуло пока в прохладную тень — за скалу или под куст.

— Рано еще, — сказал Глебов.

Они взяли носилки и пошли обратно. На полпути их застали отрывистые свистки. На валуне стоял человек и размахивал красным флажком. «А-а-ахтунг! А-а-ахтунг!» — кричал он протяжно. Сразу все смолкло — удары кувалд, металлический лязг, грохот камня, падающего в вагонетки. Слышны были только свистки и окрики часовых. Пленных гнали в дальний угол каменоломни. Оглянувшись, Глебов увидел, что и солдаты с собаками отходят подальше от ямы карьера. У болота, заросшего осокой и камышом, не было уже никого — часовой укрылся за скалой.

Человек с красным флажком побежал и скрылся за вагонеткой. Грохнул взрыв, выбросил пыль и огонь. Дробно застучали осколки. Облако пыли поплыло и на минуту закрыло болото. Когда пыль стала редеть, из-за скалы опять показался солдат с автоматом.

И снова свистки, и снова носилки, и камни с грохотом падали, падали, падали в бездонные вагонетки. Только к полудню стало жарко, солнце висело в небе без единого облачка. В яме карьера ни ветерка, тяжело, удушливо стояла раскаленная пыль. И часовые с собаками отошли в тень кустов.

— Ну, пора! — сказал лейтенант. Его худое лицо, покрытое пылью, казалось бы высеченным из камня, если бы не обжигающе яркие, злые глаза.

Когда снова раздался свистки и появился человек с красным флажком, Глебов и лейтенант прислонили носилки к обломку скалы, а сами быстро втиснулись в щель.

Затаившись, смотрели они, как бредут мимо них в дальний угол карьера усталые люди в запыленных лохмотьях. Шаркали ноги в рваных обмотках, солдат-

ские разбитые кирзы и куски автомобильной резины, подвязанные веревкой. Твердо ступая, прошли немецкие сапоги с короткими голенищами и толстой подошвой, от которой на пыльной земле отпечатался след железной подковки. Пробежал человек с красным флажком.

Стало тихо; и вот с гулом раскололась скала, со свистом брызнули камни. В щель ворвался горячий, удушливый дым. Глебов закашлялся, острый осколок рассек ему бровь. Едва последний камень тюкнул о землю, Глебов откинул носилки и вылез из щели.

— Давай! — шепнул он.

Беззвучно клубилась пыль. Во мгле маячила тень лейтенанта.

Они неслышно шли в облаке, которое плыло к болоту. С шелестом раздвинулись камыши, и чуть плеснула вода. Облако таяло, мутно светило солнце, видны были кочки, трясина, покрытая ряской. Сквозь камыши и осоку они пробирались почти ползком. От голода их тела давно обрели невесомость, болотные кочки под ними только чуть прогибались.

Потом им попался сухой островок с зеленым кустом, и оба без сил повалились на землю. Глебов лежал, над ним сияла глубь неба, было тихо, шелестела листва. Ни часовых, ни ржавых колючек. На секунду его охватило сумасшедшее счастье: свободен! Но, отрезвев, отдышавшись, он понял, какая это недобрая тишина. С карьера не было слышно ни звука — ни свистков, ни грохота камня, падающего в вагонетки. Так тихо бывало, если в карьере что-то случилось — к примеру, побег, — и все стояли угрюмой, молчаливой толпой под дулами автоматов.

Да, вот и сирена, и далекий собачий лай!

С островка, нагретого солнцем, они снова бросились в холодную воду. Лай был далек, но казалось, что их обходят, отрезают им путь. Задыхаясь, добрались они до края болота, до твердой земли.

Перед ними лежало широкое поле — летное поле аэродрома. За полем был лес. За лесом — далекие горы. В горах — свобода. Еще в лагере верные люди называли им деревушку в горах и приметную хату, куда надо войти и сказать, что дед будет в субботу; и если ответят, что для деда затопят баню, значит, люди свои.

Только бы добраться до леса!

Лес был недалеко, но в поле врезалась бетонная взлетная полоса, и нужно было ее обойти. Они бросились в поле и бежали, укрываясь в кустах, а там, где росла лишь трава, пробирались ползком.

Позади, у болота, солдаты уже отпустили собак. Повернув от болота, овчарки с визгом рассыпались в поле. Стало ясно, что собаки напали на след и теперь не отстанут. Да и солдаты, конечно, увидели беглецов, и уже не было смысла скрываться в кустах и обходить взлетную полосу.

Тогда они бросились к лесу самым коротким путем, напрямик через полосу, через гладкий бетонный простор. Теперь они были видны как на ладони. Но Глебов верил еще, что лес укроет их и спасет. Всем сердцем он верил в некое чудо, верил, пока не оглянулся.

И увидел: большая собака, клыкастая, рыжая, вытянув морду, скачками летела к нему по бетонным плитам аэродрома. И такая устремленность и сила были в ее теле, такая ярость погони горела в ее желтых зрачках, что Глебов вдруг понял, что от нее никуда не уйти.

Еще он бежал, задыхаясь, по широкой бетонной дороге, но уже знал, что дорога ведет в никуда и в ничто. А он видел синее небо, зеленый простор перелесков и далекие горы; очень ясно он видел весь мир, с которым прощался, и себя в этом мире: одинокую человеческую фигурку на бесконечных плитах бетона.

На полосу, снижаясь, шел бомбардировщик, и Глебов увидел вдруг над собой его гладкое брюхо в пятнах масла и копоти и широкие крылья, закрывшие небо. Вихрь от винтов чуть не сбил его с ног.

Но ничто не удержало собаку: она была уже близко, и ее клыкастая морда закрывала весь мир. Он же, Глебов, как всякий живой человек, хотел еще жить и вспомнил, что если упасть и покорно лежать, то собака может не тронуть.

Но перед тем как упасть, он в последнюю долю секунды увидел, что лейтенант, повернувшись всем телом к другой овчарке, прыжком летящей к нему, худому и страшному, со щетиной на скулах, в лохмотьях, с которых стекала болотная грязь, весь пригнулся,

подался вперед, и его руки готовы сомкнуться на глотке этого пса. Но как это было, Глебов уже не увидел — рухнул на бетонные плиты и сжался в комок...

И разве он мог рассказать обо всем этой женщине, что стояла с ним в жарком салоне, где висел портрет лейтенанта?

— Откуда вы знаете? — повторила она. — Про побег, про болото, про большую собаку?

— Да так, вспомнил, где-то об этом читал.

А сам все смотрел на портрет. И наверное, то, о чем думал, было очень заметно, и Маша тихо спросила:

— Вы знали его?

Он чуть помедлил:

— Нет...

Его голос прозвучал неуверенно, и женщина опустила глаза — кажется, она не поверила. К счастью, девица закончила свой деловитый рассказ о герое, и все пассажиры двинулись из салона на палубу.

— Вы с нами дальше пойдете? — мягко спросила Маша.

Глебов оценил ее деликатность.

— Нет, кажется, я нездоров.

— Тогда вам следует отдохнуть.

— Пожалуй, пойду в каюту.

— Я зайду к вам потом, после экскурсии.

— Спасибо, — сказал он, благодарный за то, что она сама предложила ему одиночество.

Он медленно шел мимо шлюпок, мимо спасательных бело-красных кругов и всюду видел четкие буквы с названием корабля. И, открывая свою каюту, он и на медном ключе увидел то же имя, врезанное в металл.

В каюте было уютно, за окном скользили зеленоватые волны и убегали в морскую пустыньность. Однако ничего этого Глебов не замечал, ему было душно. Он долго и жадно пил из графина тепловатую воду, струйки стекали ему на рубашку. Вдруг он услышал: «Сапер!» Глебов рывком обернулся. Конечно, за ним никто не стоял. Он был один в этой тесной каюте: тесной, как тюремная камера. Вдруг он услышал грохот



шагов по каменным плитам тюремного коридора! Разумеется, и это ему показалось: кто-то прошел мимо каюты, мягко ступая по коврику.

Тогда он открыл кран и умылся холодной водой. Стало легче. Он закурил и прилег на диванчик: узкий, как тюремная койка; и лежал, стараясь ни о чем не думать, слушал плеск волны за бортом и смотрел на синее небо в рамке окна.

Но едва на секунду закрыл глаза, как сразу надвинулись холодные стены, и Глебов снова был там, в той тесной тюремной камере...

После побега их втащили в холодную камеру и швырнули на каменный пол. Приходя в себя, Глебов вспомнил, как бежал по бетонным плитам аэродрома, упал, сжавшись в комок, и как в то же мгновение налетела большая собака, и клыки ее с треском рванули лохмотья, впились в тело, в плечо, почти в самое горло, и, теряя сознание, он очень ясно, отчетливо понял, что уходит из жизни.

Теперь он услышал, как с лязгом закрылась железная дверь и гулко отзвучали шаги по тюремному коридору. Стало тихо, и Глебова охватила какая-то странная, вялая успокоенность оттого, что все уже позади: пули и собачьи клыки. В тусклом свете он различил над собой низкий свод потолка.

— Лейтенант...

— А-а?

— Где мы?

— Похоже, что в зондерблоке...

Зондерблоком было старое каменное строение с тяжелыми стенами, которое стояло на холме около лагеря. До войны там был монастырь, потом его приспособили под казематы и карцеры.

В камере, бывшей келье, окно было узкое, скупое на свет, и решетка на нем сохранилась еще с монастырских времен: железные виноградные листья, затканые паутиной.

Глебов подтянулся к оконцу. Уже вечерело, за ржавой решеткой светились легкие, розовые облака. Сквозь железные листья, покрытые паутиной, свежо зеленели поля и леса. У горизонта синели заветные горы — глухое, лесистое, верное убежище для бегле-

цов. Там была приметная хата, куда нужно войти и сказать, что дед будет в субботу...

И Глебов ударил кулаком по решетке; с нее густо осыпалась пыль.

— Крепка,— прохрипел он.

Сквозь решетку он слышал, как в лагере хлопают двери барачков, льется вода, звякают котелки и сотни ног послушно шаркают по асфальту плаца. Звуки были привычны и будничны. Но странно было услышать их из-за решетки: жизнь шла обычно, словно в ней ничто не случилось, словно двое не валялись полуживыми в холодной могиле. С аэродрома плыл гул самолетов — и звуки тоже были очень знакомы; и казалось, что в их неизменности, в их незыблемом постоянстве таится слепая, жестокая сила и идти против нее бессмысленно и безнадежно.

Встал и, шатаясь, добрал до оконца и лейтенант. Постоял, отдышался, руки его легли на решетку. Ржаво заскрипели железные завитки.

— А решеточка хлипкая,— пробормотал он. И внезапно тряхнул ее с такой отчаянной силой, от которой посыпались крошки окаменевшей известки и цемента.— Гнилая решеточка!

Глебов молчал. Да лейтенант его и не спрашивал: привык, что везде и всегда они вместе, и теперь решил за двоих. Оторвал тряпицу от своих лохмотьев, обмотал правую руку и плотно охватил прутья решетки. Железо с натугой заскрипело.

Тогда Глебов оглядел камеру. Стены и пол были голы — ничего, кроме охапки гнилой соломы. Лишь над дверью, покосившись, висело распятое — небольшая железка с остатками позолоты. Глебов дотянулся и оторвал ее. Под ней был вершковый монастырский костыль. Он оказался намертво вбитым в камень. А вот железка могла пригодиться. Прижавшись у оконца к стене, чтобы не увидели с караульной вышки, Глебов стал ковырять решетку острым концом распятого. Серой струйкой посыпался известняк.

Решетка в самом деле оказалась непрочной,— монахам и такая годилась, а фашисты другую еще не поставили. Когда Глебов сменил лейтенанта и тоже налег на железные прутья, решетка с натугой, но уже ошутимо поддалась в своих каменных пазах. Глебов с силой потянул ее, послышался скрежет.

— Ша! — шепотом крикнул ему лейтенант, стоявший у двери.

Звеня ключами, за дверью прошел надзиратель. Стихли шаги, и Глебов, спеша, снова взялся за ржавые прутья. Уже темнело, оставалась недолгая майская ночь, часы до рассвета. Самое скверное, что железо скрипело и могла услышать охрана. Приходилось ловить все случайные звуки, которые заглушили бы скрежет в их камере, — топот сотен ног на плацу или грохот в каменоломне. Особенно помогало, если с аэродрома взлетал бомбардировщик и тянул низко над лагерем. Тяжелый гул сотрясал стены тюрьмы. И тогда они гнули, рвали железо с таким исступлением, что уже верилось в то, что прежде казалось невозможным: что человеку под силу руками вырвать решетку.

Иногда в темноте за решеткой голубовато вспыхивал луч, плыл по стенам, все ближе, все ярче, и кинжально вонзался в оконце. В его холодном сиянии Глебову были видны голубые глаза лейтенанта и капли пота и крови на темном опухшем лице.

Перед рассветом, едва прожектор обшарил стены тюрьмы и угас, они отогнули железные прутья. С легким скрипом решетка вышла из своей каменной рамы. Прямоугольник окна стал совсем пуст — бездонный провал, в котором светились звезды. От этой открывшейся пустоты, от того, что снова могло случиться, у Глебова похолодело на сердце; вдруг ослабев, он прислонился к стене.

Лейтенант этого не заметил.

— Помогни-ка, — шепнул он.

Глебов его подсадил, и лейтенант влез в пустое оконце, на минуту заслонив собой звезды. Слышно было, как он сполз по ту сторону и затаился у самой стены. Теперь и Глебов стоял у темного, звездного провала. Босой ногой он нащупал выступ в стене, подтянулся к оконцу и стал шарить, искать, за что бы ему ухватиться; но руки двигались вяло, замедленно, будто в болезненном сне.

Послышался шепот:

— Пашка! Сапер! Дай руку! Скорей!

Показалась рука лейтенанта, Глебов схватил ее, и лейтенант, матерясь громким шепотом, стал тянуть его в узкое каменное оконце, как вдруг оно смутно

засветилось: на вышке опять зажегся прожектор. Свет плыл, приближаясь, хотя был еще далеко. Наверное, Глебов успел бы пролезть и оказаться по ту сторону тюремной стены.

Но снова встали в глазах те собачьи клыки!

Его руки ослабли, и какая-то неимоверная тяжесть потянула исхудалое тело обратно по шершавому камню, а лейтенант не мог его удержать. Сорвавшись, Глебов рухнул на каменный пол.

Свет был уже близко, и на стене рисовался четкий вырез оконца без железной решетки. Бледно-голубое сияние все ярче разливалось по камере. Внезапно луч замер: с вышки заметили пустое оконце. Секунду свет стоял неподвижно — и вот тишину расколол треск автомата. Пули влетели в оконце и выбили пыльный след на стене.

И сразу все ожило — сирена, свистки, голоса; кто-то бежал по коридору, грохоча сапогами. Глебов метнулся по камере, под ногами загремела железная решетка, он схватил ее и стал втискивать обратно в пустое оконце; умом он понимал, что это наивно, и все же цеплялся за эту соломинку. Потом отшвырнул решетку и прижался к стене. Он уже знал, что будет с ним через минуту: удары, удары, удары и гулкая, темная бездна, куда падаешь уже много тысячелетий, и с тобой только одна, очень ясная мысль, что это конец. Он затаился; все ближе был топот солдатских сапог, и вот лязгнула ржавая железная дверь...

В дверь громко стучали.

Глебов открыл глаза. Стены тюрьмы исчезли; он снова лежал на диване в уютной каюте. В дверь стучали, и, не вставая, Глебов протянул руку и щелкнул замком.

В дверях стояла Маша — русоволосая, в светлом и легком платье.

— Наконец-то! — сказала она. — Я думала, с вами что-то случилось. Вам еще нездоровится? Как у вас душно!

Она шире открыла окно, потянуло морским ветерком.

— Извините, не ждал, — сказал Глебов, застегивая рубашку. И хотел встать.

— Нет, нет, лежите! Я все сделаю. Может быть, вызвать врача? Что с вами — сердце?

— И память,— ответил он, чуть усмехнувшись.

Она не поняла или сделала вид, что не понимает.

— Может быть, надо лекарство?

Глебов хотел было ответить, что такого лекарства еще не придумали, но вслух сказал, что не надо ни врачей, ни лекарств и что ему уже лучше.

Конечно, он мог бы и встать, но лежал — играл невинную роль. Ему были приятны заботы и хлопоты Машин: о нем давно так не заботились. Он лежал и смотрел, как она ловко двигалась по тесной каюте, поправляла подушку, наливала в графин холодную воду, развешивала влажное полотенце; и все это делала легко и умело, с видимым удовольствием,— ей, женщине, было приятно заботиться о слабом мужчине.

Они были вдвоем в этой тесной каюте, и теснота их сближала. И Глебов скоро забыл обо всем, чего не хотел бы сейчас вспомнить. А думал только о том, что эта приятная женщина пришла к нему не случайно. Он взял ее за руку — кожа была свежа и прохладна. Глебов сказал ей об этом, она улыбнулась — легко, беззаботно, но руку свою освободила.

— Больной, не мешайте. Мне нужно за вами ухаживать.

Глебов притворно вздохнул:

— Как я ему завидую!

— Кому? — беспечно спросила она, не вдумываясь в слова.

— Вашему мужу.

Все так же легко и бездумно Маша откликнулась:

— Мужу?..

Внезапно она замерла; руки ее опустились, улыбка увяла, глаза потускнели, и по лицу стало видно, насколько ее молодила та легкость и радость, которая почему-то ушла от нее.

— Нет, я одна.

Даже голос ее стал бесцветным.

— Простите, не знал.— Сказав это, Глебов смутился: глупо сочувствовать женщине в том, что она одинока.

Женщина отвернулась и смотрела в окно, где блесло пустынное море. Помолчав, она тихо сказала:

— Вдруг вспомнилось то, что почти забылось... С вами бывает так?

— Да,— ответил он неохотно: сейчас не хотел бы воспоминаний, ни своих, ни чужих. Но из вежливости все же спросил: — Вы были замужем?

— Нет, мы с ним так и не поженились. Хотя он для меня был самым лучшим человеком на свете.— Она обернулась.— Знаете, вы на него немного похожи.

— Я? — удивился Глебов.

— Только внешне.— Она грустно улыбнулась.— Лоб, волосы. Когда увидела вас, сразу об этом подумала. Вот и сейчас...

И Глебов понял, что она благосклонна к нему потому, что он чуть похож на другого. Не сам он, Глебов, нравится ей, а только его похожесть. Конечно, ему все равно, чем привлек он случайную спутницу, но все же это задевало его самолюбие, и, усмехнувшись, Глебов жестковато спросил:

— А почему вы расстались?

— А почему расстаются мужчина и женщина? Причин миллион, и о многих догадываешься только потом, годы спустя.

Она долго молчала. Слышно было, как за бортом с ломким шорохом рассыпаются волны. За окном пустынное море уходило куда-то к корме. С другой стороны в окно врывались гористые берега. Глебов узнал лесистые склоны и белую россыпь города на зеленых холмах.

— Вот и Сухуми,— сказал он.

Маша вяло кивнула.

Стал виден и пляж, который казался пестрой лентой у самой воды.

— Смотрите, пляж,— сказал Глебов.

— Да...

— А знаете, неплохо бы искупаться. У нас стоянка два часа, пожалуй, успеем, а?

— Пожалуй.

Вздохнув, она обернулась к зеркалу, оглядела себя, поправила волосы, коснулась пальцем ресниц. И Глебов подумал, что это хороший признак.

— Ну, тогда собираемся,— сказал он, делая вид, что между ними не было трудного разговора.

— Хорошо, я пойду за купальником.

Она ушла, а Глебов, переодевшись и взяв полотен-

це, закрыл каюту и стал ждать в коридоре. Ее не было долго, и Глебов вообще не был уверен, что она выйдет к нему.

Но когда она вышла, он понял, как еще мало знал эту женщину. Ее лицо было снова спокойно, даже с легкой улыбкой, губы тронуты свежей краской, а волосы, туго стянутые в гладкий пучок, лежали волосок к волоску.

— Ну, я готова, — сказала она почти весело.

И первый раз он вдруг увидел ее иными глазами, и рядом с ней весь подтянулся, помолодел.

Они вышли на палубу. Корабль уже швартовался. Небо ярко синело над белым городом на зеленых холмах. Ближко были видны пальмы и пестрые зонтики пляжа.

Они подождали, пока опустили трап, быстро сошли на причал и берегом пошли к пляжу.

На пляже было совсем малоллюдно; была полуденная, обеденная пора, валялись пустые деревянные лежаки, прикрытые где полотенцем, а где просто газетой, прижатой приметным камешком.

Они выбрали место у самой воды. Маша бросила на лежак полотенце, скинула туфли и босиком, с купальником, побежала к кабине. Глебов разделся и подошел к воде. С шорохом накатила волна. Вода была прохладная и холодила ноги.

Солнце жарко пылало и в небе и в зеркале моря. Горизонт затянуло дымкой зноя.

А вдали, у причала, был виден большой белый корабль. И Глебов долго стоял и смотрел на него, вспоминая...

— Павел! — окликнула Маша.

Он не заметил, как она появилась — смуглая, в белой шапочке и сине-белом купальнике. Ее глаза были тревожны.

— Что с вами? Все же вам вредно на солнце. Может, вернемся в каюту?

— Нет, что вы! — Глебов заставил себя улыбнуться. — Да здравствует солнце! И да здравствует море!.. И вообще, да здравствует жизнь! Жить, Маша, жить!

— Постойте! — крикнула она.

Но Глебов уже бросился в море: жить, жить! Брызги ослепили, захватили дыхание. Он с силой подбросил тело, схватил глоток воздуха и, падая, рывком

вошел в воду. Напрягая все тело, загребая ладонями, он уходил в прохладную, зеленоватую глубину. Там, в бледном солнечном свете, колыхались бледно-зеленые травы. Желтоватый песок был усеян ракушками. Коснувшись ладонями песчаного дна, он плавно, медленно всплыл, ощущая свое до невесомости легкое тело, с плеском вышел на воздух, жадно вздохнул раз другой и сразу же, не оглянувшись на берег, забыв обо всем, поплыл в море.

Он бурно, размашисто плыл в лоб соленым пенистым волнам, и когда взлетал на волну, весь в солнце и брызгах, то, казалось ему, испытывал радость такую, как никогда в своей жизни.

Наконец, утомившись, он лег на волну, отдыхая, и долго, бездумно смотрел, как над ним, в синей бездонности неба, плавно колышутся редкие облачка. Стоило чуть опустить глаза, и тогда было видно, как над ломким, бегущим гребнем волны качаются берег, пляж, пальмы, зеленые городские холмы и далекие горы, белые от снега и льда.

Ему показалось, что кто-то зовет его; но кто мог окликать его среди волн? Только чайка, одинокая чайка, одинокая, как может быть одинокий человек, только она, раскинув острые крылья, кружила над ним.

Все же он взглянул вдаль и увидел, что к нему кто-то плывет. В волнах мелькала белая шапочка.

— Па-а-авел!

Только теперь он вспомнил о Маше, в эти минуты он забыл и о ней.

— Эй, подожди-и-те! — звала она.

Плыла она не очень умело, по-женски, как всякая горожанка, которая редко бывает на море, — и Глебов быстро поплыл ей навстречу. Когда он был уже рядом, она оглянулась и поняла, что берег неблизок.

— Как далеко мы заплыли!

— Страшно?

— С вами нет, — сказала она. — А вообще я трусиха, одна бы я полоскалась у берега.

У нее из-под шапочки выбилась мокрая прядь волос, на лице блестели капли воды, и лицо снова стало совсем молодым.

Они поплыли обратно. И у самого берега, на мелководье, постояли немного, отдыхая. Был виден их белый корабль и длинный мол, усеянный рыбаками.



Заправляя под шапочку мокрые волосы, женщина смотрела на мол:

— Сколько там рыбаков! Интересно, что они ловят?

— Конечно, золотых рыбок.

— Я тоже хочу свою золотую рыбку. И чтобы все, что захочу, тут же исполнилось.

Тогда он сказал таинственно, шепотом:

— Если когда-нибудь вы поймаете в море свою золотую рыбку, знайте, что она — это я...

— Хорошо, я запомню.— Смеясь, она побежала по отмели к берегу.

Они легли на горячий песок, и Глебов взял ее руку, просто так, чтобы знать, что она совсем рядом. Она это поняла и тоже чуть сжала пальцы. Им было совсем хорошо, и оба знали об этом, хотя не сказали ни слова.

Потом к ним донесся гудок теплохода.

— Вы слышите? — шепнула она.— Нам пора. Он зовет.

В забытьи Глебов пробормотал:

— Зовет? Кто?

Она ответила и, отвечая, назвала имя этого корабля — имя лейтенанта.

Конечно, она ощутила, как дрогнули его, Глебова, пальцы. Может быть, поняла, что опять с ним что-то случилось. Но конечно, не знала, почему так сжималась его рука, пока плыл над морем протяжный зов корабля...

— Тебя зовут...

— Кто?

— Тот лейтенант. Ты его знаешь.

— Не знаю,— хмуро ответил Глебов.

Перед ним стоял человек в рваной робе, такой же штрафник, как и он и как все они в этом лагере; незнакомец был истощен и костляв, с отечным, неотличимым лицом, заросшим щетиной и темным от грязи, а его руки, сбитые в кровь, в мозолях и трещинах, тоже держали тяжелую кирку, такую же, как и у Глебова.

Только одно отличало этого человека — он был не русский, чех или поляк, и говорил, с трудом подбирая слова.

— Уже не помнишь его? — глаза человека прищурились цепко и пристально.

Конечно, Глебов все помнил, хотя с той ночи, когда из камеры бежал лейтенант, прошло много недель. Избитый до полусмерти, Глебов отсидел в карцере, но вышел живым. Была уже осень, пленные работали не в каменоломне, а в сыром и холодном ущелье в горах; там они высекали глубокие штольни, строили подземный завод. И вместе со всеми от зари до зари, молчаливый, угрюмый, Глебов долбил и долбил неподатливый камень.

Лишь иногда он украдкой смотрел наверх. Скалистые стены стояли отвесно, в ущелье и днем было сумрачно. Только над скалами голубело холодное, по-осеннему ясное небо. Еще выше виднелись лесистые горы, и где-то там была деревушка и приметная хата, куда можно войти и сказать, что дед придет в субботу...

Ему виделось, как он входит в ту хату и вдыхает живой, человеческий дух. И он скрипел зубами от своего бессилия: скалистые стены ущелья были выше и крепче, чем стены тюрьмы.

В ту осень сорок второго года фашисты были уже на Волге и на Кавказе и трубили о близкой победе. Этому Глебов не верил, но знал, что до *нашей* победы еще далеко. И жил угрюмо и молча, в себе: кирка, баланда, пары. Иногда слышал чей-нибудь шепот, иногда что-нибудь замечал и мог догадаться, что в лагере кто-то организует подполье. Но ему, Глебову, кажется, уже не доверяли: после побега он не был расстрелян, а из карцера вышел живым. Он и сам того не понимал, все чего-то ждал и боялся, и сам стал недоверчив и замкнут, и даже о соседе по нарам думал как о доносчике, а такие в самом деле в лагере были.

И он не поверил и этому человеку, который стоял в двух шагах от него, делая вид, что поправляет рукоять своей кирки; слишком цепким и пристальным был его взгляд. По-русски он говорил с сильным акцентом, почти так же, как немцы, и Глебов не мог подавить в себе обостренное недоверие к чужаку.

Продолжая кайлить, Глебов ответил:

— Не помню я никакого лейтенанта.

— Тот, с кем ты дважды бежал.

Про себя Глебов подумал: ловкий шпик, но и он, Глебов, не лапоть.

— Ну,— сказал он с усмешкой,— про мои побеги все знают.

— Он жив...

Не отвечая, Глебов с силой ударил киркой по камню — так, что полетели осколки.

— Отойди, зашибу!

А тот подвинулся ближе:

— Слушай, лейтенант просил тебе передать, что дед будет в субботу...

Глебов вздрогнул, сжал рукоять — и чуть было не поверил этому незнакомцу. Но опомнился и подумал с усмешкой: хитрые парни, все знают, даже пароль. Да пароль-то старый. И на такой мякине его, Глебова, не проведешь.

И он опять взмахнул киркой:

— Берегись, зашибу! Не знаю я никакого деда!

Человек был настойчив:

— Можно бежать. Мы поможем.

— Поможете?

Тот будто и не заметил усмешки, ловко прикинулся таким дурачком:

— Уйдем в горы, к нему.— И кивнул на вершины, поросшие лесом.

Может, для того ему, Глебову, оставили жизнь, чтобы потом вместе с ним отыскать ту приметную хату в горах?

— Ты ему нужен, сапер, ты же умеешь взрывать.

А если все это правда: и жив он, и зовет к себе в горы? Давно ходят слухи, что там, на скалистых вершинах, в лесах, есть партизаны — поляки и русские.

Вдруг Глебов спросил:

— А как его звать?

— Кого? Лейтенанта? — Человек усмехнулся: — Сам знаешь.

— Забыл.

Незнакомец помедлил, наверное понял, что его проверяют.

— Иван,— сказал он.

— Ты уверен?

— Я знаю, Иван.

Не угадал: лейтенанта звали не так. Но Глебов пока смолчал.

— Ну? — тихо спросил человек и оглянулся: сде-

лал вид, будто боится, что их увидят вдвоем.— Уйдем этой ночью.

— Уйдем? — И на очень короткое время Глебов поверил, что все так и будет.— Этой ночью? — Он с тоской посмотрел на лесистые горы, уже по-осеннему пестрые, в багряной и желтой листве. И все же сдержался.— Ну чего ты пристал! Катись!

Человек, помолчав, усмехнулся:

— А он тебя звал...

— Шел бы ты, парень!

И человек, не сказав больше ни слова, молча ушел, волоча за собой тяжелую кирку, скрылся за кучами щебня и обломками скал, которые громоздились в ущелье.

А Глебов стал бить по скале с такой яростью, будто сам прорубал себе путь на свободу. Откуда ему было знать, что ночью тот незнакомец и с ним еще двое совершат свой побег из лагеря в горы?

«А он тебя звал...»

Зов корабля еще плыл над полуденным морем. И Маша снова шепнула:

— Слышите? Надо идти...

Конечно, Маша не знала, почему так, до боли вдруг он сжал ее пальцы, но уловила, что опять с ним неладно. Когда Глебов встал и оделся, она будто бы невзначай, мимоходом спросила о его самочувствии. Как ни скрывала, а было заметно, что с ним она обращалась, словно с больным или как с человеком, которому нужно помочь. Но спросить, что же с ним происходит, она не решалась.

А Глебов хотел успокоить ее и очень старался быть снова веселым. И эта забота, которая нечаянно и взаимно проявилась у них, сблизила их больше, чем весь этот день.

— Ну, бежим! — крикнула Маша.— Опоздаем!

Он взял ее за руку, и они побежали по влажной, упругой полоске песка. У Маши слетела плетеная босоножка, она сняла и другую и дальше бежала босиком по воде, нарочно шлепая так, чтобы брызги летели на Глебова. Он не отпускал ее руку, тянул к берегу, на себя, и оба дурачились и хохотали, забыв обо всем, что тревожило.

У причала, перед тем как ступить на горячий асфальт, Маша стряхнула с босоножек песок и стала их надевать. Не удержав равновесия, она пошатнулась, и Глебов помог ей: подхватил за талию и удержал. Ощувив его кренкую руку, женщина было смутилась. Но целовкость сразу прошла. И пока они шли по причалу, касаясь плечами, эта близость стала совсем ощутимой.

Они поднялись на палубу и вошли в свой коридор, к каютам первого класса. Открывая ключом свою дверь, Маша мягко сказала:

— Может быть, вам отдохнуть? А потом пообедаем.— Она улыбнулась.— Пожалуйста, будьте умником, отдохните — все же солнце...

Глебов успокоил ее, сказал, что отдохнет.

Но едва за Машей закрылась дверь, он пошел не к себе в каюту, а обратно по коридору — в салон. В безлюдном салоне от ветерка колыхались желтоватые шторы, и все равно было жарко, пахло мастикой, которой натирали паркет. На узорах паркета покоилось солнце и, отражаясь, освещало портрет лейтенанта золотистыми бликами.

У портрета висела табличка с жизнеописанием героя. На портрете он был совсем молод, сразу после училища: счастливый юнец с короткой курсантской стрижкой, но уже в командирской новенькой гимнастерке с петлицами и «кубарями». Портрет приукрасили ретушью, подрисовали герою волевой подбородок, пригладили некрасивые острые скулы; П этот гладкий и розовый юноша был мало похож на того, худого, скуластого, с жесткой щетиной, в крови и грязи. Только глаза были очень похожи, они и без ретуши выделялись своей необычностью.

Портрет рисовали по любительской фотографии. А фотографию эту Глебов видел однажды, и случилось это давно, после войны...

После войны он вернулся из плена в Москву и долго мыкался без работы и постоянной прописки. Бывший пленный, он стал робок и неуверен в себе, говорил тихо, а слушал покорно и с трудом устроился по специальности — строить небольшие мосты. Год спустя он был уже на хорошем счету у начальства, как исполнительный и толковый прораб.

Весной сорок седьмого его направили на Алтай, в

безвестную Каменку, не то поселок, не то село. Тамошний мост обветшал, и ему полагался капитальный ремонт. В эту Каменку-месяц назад послали прораба Можайкина, но тот почему-то мост не закрыл, а прислал в управление телеграмму, которая, однако, не убедила начальство. Тем временем по ветхому мосту шли трактора и тяжелые тягачи — пахло аварией. За такое самоуправство Можайкина отстранили от должности, и в Каменку выехал Глебов, новый прораб.

На захолустную алтайскую станцию поезд пришел рано утром. У вокзальчика Глебова ждал старый, латаный «виллис» с брезентовым верхом. Глебов сунул в кузов свой чемодан и спросил у водителя, долго ли ехать.

— Доедем...

По ухабистому шоссе к полудню дотянули до места. Каменка оказалась немалым селом с темными, старинными избами, у которых росли вековые березы, с лавкой сельпо в бывшем кирпичном лабазе и с бывшей церковью, ставшей мастерской МТС.

Можайкин жил и держал свою канцелярию в просторной избе у самой дороги. В избе было чисто и как-то до неуютности пусто, как в доме, где давно затихла житейская суета. Правда, на стене висели семейные фотографии и чей-то портрет в деревянной рамке. А за дощатой перегородкой виднелась кровать с горкой подушек и кружевным покрывалом — кровать, о которой заботилась женщина.

На столе и на лавках лежали бумаги Можайкина. Сам он был жилист, сутуловат, огненно-рыжей масти, одет в потертый офицерский китель с ленточкой орденов и медалей, говорил резко и зло. Глебов сразу подумал, что такого напористого мужика сдерживать нелегко. Пока Глебов умывался из рукомойника, бывший прораб беспокойно ходил по избе, поглядывая в окна, где по шоссе катили машины, и в который раз пояснял, почему не закрыл этот мост.

Мост стоял с тех времен, когда по захудалому тракту тянулись телеги да изредка пробегал грузовик. В войну все изменилось, в глухой угол Алтая эвакуировали заводы и фабрики. Теперь через Каменский мост идут сотни машин; если его закрыть, район будет отрезан, а объезд — сотня верст нелегкой горной дороги.

Можайкин хотел доказать, что мост свое отжил и

нет смысла тратить деньги и время на его капитальный ремонт, нужно строить мост современный, с расчетом на мощный грузопоток в ближайшие годы.

— Новый мост? Очень разумно,— ответил Глебов. Он умылся и растирал полотенцем уставшее тело.— Но это решать не нам. Не нашей конторе.

Глебов оглянулся и поискал в комнате зеркало; оно висело на стене около фотографий. Он подошел и стал причесывать мокрые волосы.

— Мы, дорогой товарищ Можайкин, отвечаем за Каменский мост. Если он рухнет, спросят с нас, с тебя и меня.

Случайно Глебов взглянул на портрет, который висел около зеркала.

То была фотография юноши в пилотке со звездочкой и в новенькой гимнастерке с лейтенантскими «кубарями» — очень счастливого юноши, только что ощутившего себя командиром. Конечно, безмятежный юнец был ничуть не похож на *того* лейтенанта, разве что худощавым овалом лица. Но глаза нельзя было не узнать,— они и тогда, в ту далекую пору, у этого юноши выделялись своей необычностью.

И Глебов уже не слышал, что говорит ему рыжий Можайкин; а тот понял это молчание как добрый признак раздумья и, ободренный, говорил очень напористо:

— ...Да ты посмотри, какое движение! Какая сила идет! — Он кивнул на окно, за которым то и дело грохотали машины.— Ведь ты сапер, воевал. Кто закрывает мост в разгар наступления? Да ты бы сам стоял по горло в воде и держал его на своих плечах! Так? Ну что ты, Глебов, молчишь?

Тот обернулся, и Можайкин, наверное, понял, что Глебов думал совсем о чем-то другом, о своем, и что все эти слова были впустую. И все же бывший прораб упрямо выкрикнул:

— Закрывать Каменский мост? У меня рука не поднимается!

Отойдя от портрета, Глебов сказал наконец:

— А как быть?

— Едем на мост, сам увидишь.

— Ладно, поехали.

Одеваясь, Глебов будто случайно спросил, кто жи-

вет в этом доме. Можайкин ответил, что живет председателюша. Муж ее тоже был председателем, умер в войну, она его заменила. Весь день она в поле или в колхозном правлении; дом пустует, вот и пустила прораба-мостовика.

С порога Глебов посмотрел на портрет:

— Ее сын?

— Младший брат. Был, да с войны не вернулся.

— Погиб?

— Пропал без вести.

Они вышли из дома; и пока ехали к мосту в том же «виллисе» с брезентовым верхом, Глебов все время молчал, подняв воротник своей куртки и делая вид, что устал после дальней дороги.

По шоссе они проехали все село и спустились к реке, маловодной, но быстрой, в скалистых и крутых берегах. Мост через реку был стар и стоял на деревянных устоях. У самого моста по шоссе растянулась вереница телег, грузовиков, тракторов, бензовозов. Половина моста была закрыта, там меняли настил. А по свободному узкому коридору тянулись машины. Они шли поодиночке, медленно и осторожно, со стуком перебирая щербатые доски.

И Глебову стало понятно, на что решился Можайкин,— не закрывая мост, укрепить его, чтобы он мог послужить, пока не построят новый.

Около моста горели костры, пахло смолой и щепой. Плотники тесали толстые брусья.

По каменистому откосу Можайкин и Глебов спустились под мост. Шло половодье, и у деревянных устоев упруго бурлила вода. Быстрый поток уносил белую пену, мост гудел и поскрипывал. Его устои были сложены клетью из бревен, уже темных от времени. Глебов взял камень и постучал по бревну. Сквозь шум и плеск воды под мостом послышалось четкое эхо. Дерево было сухое и звонкое — очень хрупкое, старое дерево.

— Ну, парень, ты крепко рискуешь.

— Приходится,— усмехнулся рыжий Можайкин.

— А если рухнет? Быть тебе за решеткой.

— Теперь ты начальником. Тебе и решать.

— Приходится,— усмехнулся Глебов.

И спустя полчаса на мосту появилась свежеструганная доска, на которой он, новый прораб, куском



угля, взятого из костра, вывел заметные буквы: *мост закрыт*.

— Ну и все,— сказал он Можайкину.

У закрытого моста было тесно от машин и телег, и уже летело шоферское словцо тем начальникам, которые посылают в объезд на сотню километров,— да еще по горам, да в такую распутицу!

— Зато ты,— бросил Можайкин,— можешь спокойно спать!

— Я отвечаю за мост! Ясно?— взорвался Глебов.— Не за транспорт — за мост! Мне приказано — сделал. А начальству видней.

— Ну, если бы начальство увидело это своими глазами...

— Если бы, да не видит!

— И если бы ты меня поддержал...

— А меня за решетку не тянет! Я этим сыт вот так, по завязку.

— А-а, хлебал баланду?

— Заткнись!.. В общем, ты дела сдал, а я принял. Ясно? И точка.

— Точка, начальник,— усмехнулся рыжий Можайкин.

— А что дальше, моя забота.

— Твоя, начальник. Но я-то поеду в Москву. Расшибусь, а свое докажу.

— Ну,— сказал Глебов спокойней,— вольному воля: езжай, добивайся...

Когда они вернулись в Каменку, уже темнело, на селе зажигались огни. Свет был и в окнах избы, где жил Можайкин.

— Дома она,— сказал он.

— Кто?

— Да председательша, Марфа Антоновна.

— А-а,— сказал Глебов, подумав, что вот оно, самое трудное в этот нелегкий день.

И перед тем как войти в дом, постоял на крыльце, медля и собирая себя в комок. А войдя в избу, сразу, с порога узнал сестру лейтенанта — еще моложавую женщину с чуть скуластым лицом и такими знакомыми Глебову светлыми глазами, которые, как и у младшего брата, выделялись своей яркой голубизной. Она смотрела на Глебова с любопытством.

— Милости просим!

Говорила она чуть протяжно, певуче и этим тоже напомнила брата.

— Пришла, гляжу — чемодан. Значит, гость из дальних краев. — Заметив, что гость так и стоит на пороге и скован какой-то тревогой, она улыбнулась: — Да вы не стесняйтесь, входите, у нас места хватит. Дом, слава богу, не маленький.

— Не боись, — усмехнулся Можайкин, он сидел на лавке и стаскивал сапоги. — Стоишь у порога, как красная девица.

— Так и к ужину опоздаете. — Председательша стала накрывать на стол.

Сели ужинать. Глебов невольно поглядывал на портрет, и женщина заметила его взгляд.

— Мой брат, — сказала она. — Это он перед самой войной. Да с войны не вернулся. Пропал без вести... А вы воевали?

Он молча кивнул, боясь, что она спросит: «Может, встречали брата?» Она уловила его затаенную боль и пытливо посмотрела в глаза, но решила, что у него с войной свои счеты и лучше не спрашивать ни о чем.

— Все жду, вдруг отыщется. Куда я только не писала! Вот если бы кто в Москве похлопотал.

— Может, я помогу?

— Тут у меня в войну жила с девочкой одна москвичка. Елена Петровна, эвакуированная. Два года бок о бок, все общее. Усэжала, обещала не забывать. Я и ей писала о брате. Да пока нет ответа. Может, письмо не дошло? Она и телефон свой оставила.

— Дайте ее телефон. Вернусь домой, позвоню.

Женщина достала бумажку, и Глебов все записал.

— Так не забудете?

— Обязательно ей позвоню...

Но позвонить этой Елене Петровне довелось ему очень не скоро. Утром Можайкин уехал в Москву, однако убедить начальство не удалось, и Глебов начал разборку моста. Капитальный ремонт затянулся до осени. Лишь в сентябре Глебов возвращался домой и в дороге все вспоминал о женщине в Каменке, о пустоватой избе, где висит фотография младшего брата, и о том, что глаза на портрете совсем как живые — светлые, яркие...

Да и на портрете, который висел в корабельном салоне, глаза были тоже живыми. Пожалуй, только глаза сохранились, как на той фотографии, в Каменке; а все остальное за минувшие годы с любовью было украшено ретушью. И таким он останется в бесконечных рисунках и копиях — красивым и чистеньким юнцом.

Глебов стоял и смотрел на портрет, пока не услышал у себя за спиной чьи-то шаги. Он оглянулся и увидел Машу — уже в домашнем халатике.

— Я думала, вы отдыхаете, — с упреком сказала она.

Он чуть смутился:

— Как видите...

— А я к вам за помощью. Испортился замок на моем чемодане, не могу открыть и переодеться. Постучала в вашу каюту, никто не ответил. Подумала, что вы, наверное, здесь...

С раздумьем она посмотрела на Глебова, на портрет — будто о чем-то уже догадалась и старалась понять, что же связало их в прошлом.

— Мне кажется, вы его знали. Да?

Глебов молчал, он не мог ей солгать, как это было утром. Для него уже многое изменилось.

— Простите, я не должна была спрашивать.

— Когда-нибудь я расскажу... — Помолчав, он улыбнулся: — Ну, идемте чинить ваш замок. Кстати, пора и обедать.

Ее каюта была тесноватой, пахло пластиком и духами. Висел мокрый купальник. На диване поблескивал молнией знакомый кожаный чемодан: с ним Глебов утром поднимался по трапу на палубу. Медную змейку заело, и, пытаясь открыть ее, он проворчал, что надежней простой замок.

— Но это не модно! — ответила Маша.

Когда чемодан наконец был открыт, она достала свои платья и велела Глебову отвернуться. Он стал смотреть в окно. Там розовато, уже по-закатному блеснула вода иплыли зеленые берега. Потом он краем глаза заметил, как на койку упал ее пестрый халатик.

— Только не оглядывайтесь, — озабоченно сказала она.

В тесной каюте она была очень близко к нему, и

Глебов слышал дыхание, шорох одежды, мог угадать любое движение. Легко представил ее без халатика — смуглую, теплую. И вспомнил, как утром, поднимаясь по трапу, впервые увидел ее: просто приметил женские ножки. Теперь ему хорошо оттого, что близко слышно ее дыхание; с ней ему хорошо даже так, от доверчивой близости.

Да, за эти часы у них все изменилось; и Маша тоже знала об этом и одевалась при нем, ничуть не боясь. Она ему доверяла, и для него это стало важным и нужным.

А ведь с женой, вдруг вспомнил он, все было не так — с женой все было иначе...

Они поженились в послевоенный год, когда Глебов вернулся из плена и скитался по городу, неустроенный и одинокий. Тогда-то он встретил ее, нашел в ней сочувствие. Как-то рассказал ей о себе и лейтенанте, и женщина, подумав, сказала, что он, Глебов, был прав, что не бежал, иначе бы не остался жив. «А что тебе, больше всех надо?» В ту пору он очень нуждался в таких словах. Даже с ней он, униженный пленом, был робок и во всем подчинялся. И сам не понял, как стал ее мужем. Только потом разобрался: мещанка и стяжательница. Ее аппетиты сдерживало одно — скромная зарплата супруга. А достоинств за ним она, кажется, не признавала. И чем дальше, тем больше он от нее отдалялся, замыкался в себе и, узнав ее голый житейский расчет и мелкую корысть, стал таить в себе то, что ему было близко и дорого, а у нее вызывало насмешки и злость.

Когда он в ту осень закончил ремонт моста в Каменке и вернулся с Алтая домой, то, конечно, утаил от жены, что встретился с сестрой лейтенанта и что должен позвонить какой-то Елене Петровне. Да и сам позвонил ей не сразу, все было некогда, заела текучка и московская суета.

Но как-то вместе с женой был в кино и увидел зарубежную хронику. Мелькали кадры: в Венгрии созревал урожай, в Болгарии изучали русский язык. А в Польше осваивали новые авиалинии — на самолетах советского производства. На экране Ли-2 летел над горами, и диктор сказал, что польские пилоты проле-

тают места, где советско-польское братство закалялось еще в годы войны: тогда в этих горах воевал партизанский отряд поляков и русских. И Глебов узнал те лесистые горы: там, в глубоком ущелье, он кайлил отвесные скалы и тот человек с цепким, пристальным взглядом сказал ему, уходя: «А он тебя звал...»

Глебов едва досидел до конца сеанса, а выйдя на улицу, сказал жене, что должен сейчас позвонить.

— Уже поздно, — заворчала супруга. — Идем домой, я хочу спать. А кому ты должен звонить?

— Да так, по делу.

— Врешь ведь...

Пришлось признаться, что в Каменке встретил сестру лейтенанта, пропавшего без вести, и обещал ей помочь.

— Нашелся помощник! — рассердилась жена. — Не суйся, пока тебя не спросили!

Все же он настоял. Но в телефонную будку они втиснулись вместе. Глебов набрал номер, позвал Елену Петровну и сказал ей, что звонит по просьбе Марфы Антоновны, председательши. В трубке был слышен шум голосов и громкая музыка: наверно, шла вечеринка.

— Какая председательша? — кричала Елена Петровна, ей мешал шум в квартире. — Ах, та, в Каменке?.. Да тише вы! — бросила она в сторону. — Ничего не слышно. Какой-то мужчина звонит.

Донесся женский пьяненький голосок:

— Мужчина? Молодой, интересный?

— Не знаю, голос приятный.

— Пусть приходит! Познакомиться хочу!

В трубку Елена Петровна сказала:

— Я вас плохо слышу. Может быть, вы зайдете? Прямо сейчас. Где вы?

Выяснилось, что ее дом недалеко; Глебов ответил, что скоро придет, и повесил трубку.

— Ты иди домой, — сказал он жене. — Я зайду на минуту к ней и сразу вернусь.

— Ну уж нет! — возразила жена, которая слышала весь разговор. — К пьяным бабам я тебя одного не пущу.

Она пошла с ним, и Глебов злился, — ему так не хотелось идти туда вместе с женой и при ней говорить о лейтенанте. За эти два года их милой супружеской

жизни он ее изучил: знал, что жена ему помешает и при ней он не скажет того, что хотел бы сказать этой Елене Петровне, — и все же он шел туда.

Дом Елены Петровны был новый — с аркой, колоннами и модными лепными украшениями. Да и сама Елена Петровна, которая встретила их в прихожей, шла в ногу со временем: полнотелая и пышноволосяя дама в платье из синего бархата, с черными кружевами и ниткой жемчуга на груди.

— Так это вы звонили? — спросила она, посмотрев на Глебова с любопытством, а на его жену весьма равнодушно. — Очень рада, раздевайтесь, пожалуйста.

Из комнаты слышалась музыка, играл патефон; донесся женский пьяненький голос:

— Пришел? Молодой, интересный?

— Да он с женой! — Елена Петровна засмеялась.

Их провели в просторную комнату, где тоже все было по моде: гобелены, ковер на стене, торшер с розовым абажуром, горка с фарфором и хрусталем.

— Вот живут! — шепнула жена и, оживившись, громко сказала хозяйке: — Ах как красиво у вас! — И сразу вся потянулась к хрусталу и фарфору.

— Кавалер пришел! — со смехом крикнула пьяная пухленькая девица. — Музыка, вальс!

— Мэри, угомонись! — остановила ее Елена Петровна и стала знакомить Глебовых с дочерью Лидочкой, которая когда-то, ребенком, жила с матерью в Каменке. А муж Елены Петровны был толстенький, лысый и юркий. «Оборотистый мужичок», — подумалось Глебову.

Их усадили за стол — а стол был тоже небедный, — и, наливая им рюмки, хозяйка спросила:

— Ну как там она, председательша?

Узнав, что Марфа Антоновна просит найти ее брата, пропавшего без вести, хозяйка воскликнула:

— Но это же невозможно! Правда, Васек?

— Не стоит и братья, — поддакнул практичный Васек.

— Ей не понять, как это трудно. Да и откуда ей знать?.. Простая женщина, всю жизнь в своей Каменке. Представляете, — светски улыбнулась хозяйка, — она не знала, что такое пижама. И все удивлялась: и не жалко, мол, вам, Елена Петровна, спать в

таким, с кружевами, мол, в нем не стыдно и людям показаться. Лидочка, ты помнишь, в чем она спала?

— Да будет тебе, мама! — смущенно сказала дочь.

— А в чем она спала, в полушубке? — пьяно захотала девица по имени Мэри.

Глебов поставил на стол недопитую рюмку, но смолчал — рядом сидела жена. Она бы его сразу оборвала.

— Все же помогите ей найти брата, — хмуро сказал он.

Лысый Васек развел руками:

— Невозможно. Таких очень много.

— Да что вы так за него хлопочете? — спросила хозяйка. — Что он, ваш родственник?

— Нет, — сказал Глебов.

— Может быть, вы его знали?

— Нет, — быстро сказала жена. — *Не знал.* И никогда не видел.

— Ну, тем более, — ласково и равнодушно улыбнулся Васек.

— Тем более, — подмигнула девица и стала заводить патефон. — И хватит разговоров, я хочу танцевать. Кавалер, приглашайте!

Глебов еще дальше отодвинул недопитую рюмку и встал из-за стола:

— Нет, нам пора домой. Спасибо.

Они ушли, хотя жене, разумеется, не хотелось покидать эту квартиру, и эту компанию, и этот фарфор, и хрусталь в застекленной горке, и эти немецкие гобелены, добытые оборотистым лысеньким мужичком. И пока шли домой, всю дорогу жена говорила о том, как повезло этой Елене Петровне, что у нее такой муж. А Глебов ненавидел и Елену Петровну, и ее ловкого муженька, и собственную законную супругу. Да и себя презирал он за то, что когда-то, забитый, безвольный, попался на острый крючок своей будущей женошке и даже теперь, уйдя в одиночество, все так же покорно тянул постылую лямку. Из-за милой супруги он сейчас уходил, не сказав им всю правду о себе и лейтенанте и не высказав то, что думал о них. С женой у него всегда так. И пока он с ней, так будет всегда.

Но неужели никогда ничего не изменится? Ведь есть где-то на свете другая, совсем непохожая, та, с

которой было бы просто, ясно, легко, с которой все было бы по-иному.

И он шел рядом с женой, а думал о той, о другой, которую так и не встретил...

А с Машей — иначе.

— Ну, я готова,— сказала она.— Можете повернуться.

Он обернулся. На ней была нарядная кофточка и мини-юбка с пластмассовой молнией.

— Опять молния!

— Что поделаешь — мода,— улыбнулась она.

— Чего только не придумает человек! Он так спешит жить, что ему уже некогда застегивать пуговицы.

— Еще бы, жизнь быстротечна.— Маша взглянула на часы.— Вот и мы с вами из-за этой молнии уже опоздали в ресторан. И останемся без обеда.

— Ладно, пообедаем в Сочи. Там большая стоянка. А пока где-нибудь перекусим.

Покинув каюту и пройдя весь коридор, они спустились на нижнюю палубу и нашли там буфет. В зале пахло вином, былолюдно и шумно. На полках пестрели наклейки бутылок, а на стойке вся сверкала и светилась кофеварка. Сидели юнцы-туристы с гитарой и напевали все ту же, знакомую Глебову песню о том, как он ее ищет, а она его ждет...

Маша и Глебов взяли кофе, булочки и нашли место за столиком — в углу, у окна. Там стоял большой красивый аквариум, но совсем неухоженный, поросший травой. За толстым стеклом в мутноватой воде плавали рыбки — красные, синие, желтые.

— Смотрите,— сказала Маша,— а вот и золотые рыбки.

— Ну, там свою золотую рыбку не поймаеть.

— А где?

— В синем море.

— Море большое, а рыбка маленькая. Где ее там найдешь?

— А вы представьте, что золотая рыбка у вас уже есть.

— Где же она?

— Т-с! Она перед вами. Разве вы не видите?



— Вижу,— ответила Маша, вступая в игру.— И она исполнит любое мое желание?

— Конечно! Ну, желание первое?

— Бифштекс с луком. Я голодна.

— Все исполнится.

— Скоро?

— А вы посмотрите,— Глебов показал в окно: там уже близко был берег и длинный мол с маяком.— Это Сочи. Будет вам скоро бифштекс с луком и прочее.

— И прочее! — подхватила она.— И вообще, сегодня у меня какой-то необыкновенный день.

На палубе басовито и густо пропела сирена — теплоход входил в порт.

Спустя полчаса Глебов и Маша сошли на причал. Уже темнело, небо стало фиолетово-синим. Торопясь, они вышли на площадь. После морских ветерков особенно душным был воздух — с запахом влажной земли, шашлычных, бензина, цветов и городского асфальта, который еще не остыл от солнца и зноя.

У морского вокзала они сели в такси.

— Шеф,— сказал Глебов,— вези нас на первой космической. Туда, где есть бифштекс с луком.

— И прочее! — добавила Маша.

— И прочее? — подмигнул им таксист.— Есть такое место. С цыганами.

— Хочу цыган,— сказала Маша.— Мое второе желание.

— Но учтите,— сказал им таксист,— там очередь, трудно попасть.

— Попадем! Проявим свое обаяние. Правда, Маша?

— Проявим! — подхватила она.

И такси лихо ринулось в шумное многолюдье улиц.

Им повезло, вскоре они сидели за столиком в ресторане, и перед ними пахуче дымилось горячее мясо, а в зале, круглом и звездном, как чаша небесная, на эстраде, схожей с цыганским шатром, звенели гитары и бубны и вихрем кружились цветные рубахи цыган, и пышные юбки цыганок, и яркие шали с кистями, и черные косы, и черные бороды, и кованые сапоги, и легкие туфельки, и Маша говорила, смеясь:

— Все исполнилось! Как в сказке.— Ее улыбка чуть погрустнела.— Помните, чем кончилась сказка? Осталась старуха...— Помолчав, Маша потрогала

рюмку.— Однажды мы тоже сидели с ним, пили вино и смеялись — вот так же, как с вами,— и я поверила, что буду счастливой...

Ее слова заглушил оркестр. Красивый цыган, тонкий, гибкий, длинноволосый, в лаковых сапогах и голубой рубашке с шелковым поясом, вышел на эстраду со скрипкой. И когда стих оркестр, и стали слышны только гитары, и в зале умолкли все голоса, цыган мягко коснулся струны нитью смычка и вызвал нечто печально-певучее, неуловимо знакомое Глебову.

— Очень знакомо,— шепнул он.— Где-то я это слышал. Но где?

— Не надо,— тихо сказала Маша.— Не надо больше ничего вспоминать — ни вам, ни мне...

Но он уже вспомнил и теперь был не с ней, а с женой, и не в зале, круглом и звездном, как чаша небесная, а в туристском автобусе с широкими окнами, катившем по заснеженной горной дороге. Нечто цыганское, печально-певучее слышалось из транзистора, который лежал у него на коленях.

Было это прошлой зимой в Польше: туда он и жена поехали вместе с группой туристов. После Варшавы и Кракова их, весьма утомленных архитектурой, музеями и модными кабачками, как-то утром разместили в «Икарусе» и повезли в далекие горы, в долину, известную зимним курортом.

Автобус катил по дороге, густо шел снег, и в его пелене чуть виднелись вершины, поросшие лесом. Все же Глебов узнал их: там, в скалистом ущелье, когда-то кайлил неподатливый камень. Он смотрел в окно на вершины, и то цыганское, печально-певучее, что долетало к нему из транзистора, было очень созвучно его невеселым раздумьям. Потом он услышал:

— Друзья!

Это включил свой мегафон переводчик-поляк по имени Янек, беловолосый и щуплый парнишка в нейлоновой оранжевой куртке и вязаной шапочке. Он изъяснялся с акцентом, старательно, в трепете перед русской грамматикой.

— Мы,— сказал Янек,— проезжаем места, где в оккупацию партизанил отряд поляков и русских. Мы

увидим ущелье, где они совершили замечательный подвиг.

Глебов посмотрел на вершины и вспомнил, что ущелье совсем уже близко.

— Там,— продолжал переводчик,— фашисты строили подземный военный завод. Однажды ночью партизаны взорвали скалы в горах, и обвал завалил все ущелье, все штольни и бункера.

Да, в ту ночь пленные были в бараках, а в ущелье оставалась охрана. От взрыва звенели барачные стекла, а эхо протяжно грохотало в горах.

— В том бою,— сказал гид,— погиб русский парень, бежавший из плена. Когда он пришел в наш отряд, то назвался Иваном. Никто не знал его настоящего имени. У вас в России он долгое время считался пропавшим без вести. Теперь его имя известно и у вас и у нас.

Да, Глебов сам помогал розыскам пропавшего без вести, делал все, что мог сделать для лейтенанта. Долгие годы в нем тлела боль своей виноватости. Но об этом не знал никто, разве что только жена.

Жена сидела и, не слушая Янека, листала журнал с цветными картинками, купленный в Кракове.

А Янек повернулся и показал в ветровое стекло:

— Вон там, где Иван взорвал скалы, недавно поставлен памятник партизанам.

Об этом Глебов еще не знал, не успел прочитать в газетах. Он щелкнул кнопкой транзистора, оборвал цыганский мотив, уже мешавший ему, и стал смотреть в окно. За стеклом хлестала пороша, мелькали красные столбики на крутом повороте: дорога шла над ущельем. Потом «Икарус» замедлил свой бег и плавно свернул на площадку. Площадка была врублена в скалы. Там стоял памятник, фигуру запылило снегом, и Глебов различил лишь очертания человека с гранатой в руках.

— А сейчас,— сказал Янек в свой мегафон,— у нас будет короткая остановка. Прощу! — И открыл дверь.

Туристы потянулись за гидом — осматривать памятник, но Глебов вышел последним, постоял, закурил, подождал, пока у автобуса стало безлюдно, и один пошел к дальнему краю площадки.

Под скалой было затишье, сыпался снег. Грядка

каменной на земле обозначала, видимо, ограждение. Перешагнув его, Глебов остановился. У ног круто падала каменная стена, такая отвесная, что и снег на ней не держался. Когда-то он видел ее только снизу — в те дни она нависала над ним бесконечно высокой тюремной стеной. Теперь, стоя на ней, он своими глазами увидел то, что совершил лейтенант. В ущелье громоздилась гора — след обвала, и все вокруг было усеяно глыбами. Обломки уже зарастали кустами, из трещин торчала сухая трава — все было в прошлом.

Постояв, он оглянулся: туристы тянулись за Янеком обратно в автобус, и около памятника никого не было. Глебов пошел туда.

Бронзовый человек стоял на скале, весь в бою, весь в атаке, весь в своем последнем броске. Бронзовые пальцы сжимали гранату. Лица не было видно, его запылило снегом. Кто-то минуту назад, наверное Янек, смел снежный наст у подножия скалы, гранит обнажился, и светились матовым золотом строгие буквы; но буквы польские, малопонятные Глебову. Тогда он дотянулся до бронзовой фигуры и рукой смахнул снег с ее лица. Это было лицо лейтенанта. Худое, скуластое, юное, очень похожее, каким оно помнилось Глебову. Только глаза были совсем не такие, как у живого, — не светлые и не с яркой голубизной, а бронзово-тусклые, темные, стальные.

Глебов стоял неподвижно, чувствуя, как на лице тает снег. А на лице лейтенанта снег не таял — бронза была холодна.

— Товарищ! Мы ждем! — Это кричал ему Янек из открытой двери автобуса.

Перед тем как уйти, Глебов, прощаясь, ладонью коснулся гранита и ощутил его острую стылость. И к автобусу шел очень устало и медленно, словно по глубокому-глубокому снегу.

Когда он вошел и сел в кресло рядом с женой, она раздраженно сказала:

— Ты всех задержал. С твоей стороны это хамство. — Злясь, она, однако, говорила вполголоса, только для мужа, а для всех остальных прикрывалась любезной улыбкой. — Не забывай, что ты за границей. Здесь все замечают.

Сама она тоже все замечала и не упустила удобного случая вонзить в него коготки.

— Что ты стоял там? Ах, вспоминал? Не того ли, о ком когда-то рассказывал? Может быть, это он? Так скажи им,— кивнула она на соседей.

Она знала, куда ей вонзить свои острые коготки с перламутровым лаком,— туда, где больней. Когда-то он доверился ей, и с годами она научилась выворачивать его боль наизнанку и в ссорах умела напомнить о том, что ему бы хотелось забыть.

А ссоры были нередки, особенно в последнее время. И чаще всего они ссорились, как ему думалось, из-за ее ненасытности к благам. С годами она ничуть не менялась, хотя была у нее квартира и модная мебель, сервиз из Саксонии и чешский хрусталь, как у Елены Петровны, закадычной подруги,— даже иногда лишние деньги, на которые можно было поехать и за границу. Ах нет! — не было собственной дачи, как у Елены Петровны и ее оборотистого муженька. И в этой своей неумности жена была удивительно постоянна. Она и в Польшу поехала из жадного бабьего любопытства и изнывала перед витринами, хотя там было все то же, что и в витринах московских, иногда и победней. «Послушай,— как-то сказал он,— а другие уже на Луне. Почему ты им не завидуешь?» — «Демагог!»

Конечно, бывали у них и хорошие дни, но редко, случайно. И постель была не теплой постелью, а холодной доской. У них все шло к концу, и оба знали об этом.

— Так скажи им,— повторила жена.— Расскажи им о себе. Что ж ты молчишь?

— Ладно, дома поговорим.

— А что нам говорить? — с горечью усмехнулась жена.— Все давно ясно.

— Да, ты права. Давно все идет к концу. И не нужно больше тянуть.

— Это наше *прощальное* путешествие.

— Похоже, что так,— устало сказал он и, чтобы прервать эту вялую ругань и показать свое безразличие, снова щелкнул кнопкой транзистора, который лежал на коленях.

Читали сводку погоды, и кто-то бодро сулил им на завтра ясное небо и яркое солнце. А той цыганской, печально-певучей мелодии, увы, уже не было...

И на эстраде уже не звучал тот печально-певучий мотив, и цыган, прижимая к груди свою скрипку, поклонами отвечал аплодисментам из зала.

Глебов залпом допил вино.

— Душно,— сказал он.— Может быть, выйдем на воздух?

На веранде было свежее, были пальмы, море и глянцевый лунный блеск на воде.

— Море, пальмы,— сказала Маша.— А вон наш корабль. Очень красивый, в огнях.

Глебов усмехнулся:

— Как на рекламе.— И жадно затянулся сигаретой.

Она поняла, что ему не до этих рекламных красот, и тихо сказала:

— Знаете, когда мы сидели за столиком, у вас было такое лицо, будто вы были далеко-далеко, может быть, в прошлом.

— Да, в далеких горах. Там шел снег.

— И у меня так бывает. Иногда задумаюсь, и мое прошлое — как живое. И думаю, думаю...

— О нем? — вдруг спросил Глебов.

— Да, и о нем,— просто ответила женщина.— Он был... настоящий. Когда у меня сложно и трудно и я не знаю, как поступить, я вспоминаю его: а как бы он поступил, что бы мне посоветовал?

— И помогает?

— Мне — да.

— А мне — мое прошлое? — усмехнувшись, спросил Глебов.

— Вам? Не знаю. У вас все сложнее. Вы какой-то...— Маша поискала слово.

— Какой? — резко спросил он.

— Временами вам очень тревожно. Иногда вы хотите об этом сказать, но опять замыкаетесь.

— Неужели заметно?

— Да, вот и сейчас у вас так.

Глебов смотрел на корабль, сиявший огнями.

— Я обещал вам рассказать. Я знал его, этого человека...

Так он сказал ей самое главное. А потом было легче; и Глебов рассказывал женщине, как встретился с ним, лейтенантом, как дважды бежали они и все неудачно, и как той памятной ночью руками рвали ре-

шетку. Он рассказывал ей, ничего не тая, все, как было в ту ночь в камере зондерблока, до той самой минуты, когда лейтенант протянул ему руку в пустое оконце: «Пашка! Сапер! Скорей!»

Вдруг он замолчал. Смотрел на огни корабля и уже их не видел...

Он снова был в камере, у пустого оконца, где светились звезды, и снова услышал: «Сапер!»

Но был он там не один, — с ним была эта женщина, живая, незримая, и Глебов слышал рядом ее живое дыхание.

— А потом? — шепнула она, и шепот эхом отдался в могильном безмолвии камеры: — А потом? Почему вы молчите?

Ее глаза были близко, и в них отражались какие-то огоньки — то ли звезды, которые светили в пустое оконце, то ли огни далекого корабля. Ее глаза ожидали, и Глебов сказал:

— Я бежал.

— С ним?

— Да, — ответил он с облегчением. — Да!

И вот, веря в это, прошел сквозь тюремную стену, оказался на воле и бросился к лейтенанту: их руки сомкнулись так крепко, что разорвать их могла только смерть.

И женщина незримо была с ним и видела все: как той ночью они оба бежали в лесистые горы, отыскивали деревню и приметную хату, вошли и сказали, что дело будет в субботу; а потом пробирались к ущелью в горах, к тому ущелью со скалистыми стенами, где некто, забитый солдатскими сапогами, — но, конечно, не Глебов! — угрюмо долбил неподатливый камень; он, Павел Глебов, был тогда с лейтенантом, и они вместе взрывали те скалы, которыми завалило ущелье: он был с лейтенантом до его последней минуты; а после войны, вернувшись в Россию, он, Глебов, встретил однажды девушку...

— Девушку? — переспросила Маша.

Да, еще тогда он встретил свою единственную; о такой, как она, иные втайне тоскуют до конца своих

дней, а ему, на удивление, повезло, и он ее встретил совсем молодым.

— И полюбили ее?

— Очень,— ответил Глебов. А всего удивительней то, что и он ей пришлось по сердцу, чем-то оказался достойным ее.

— А какая она? Расскажите...

Глебов посмотрел на нее — да вот она! Живая и близкая, та, которую встретил в далекие годы. Правда, уже не так молода, как в день их первой встречи, но все то же лицо с легким заггаром, те же пепельно-светлые волосы и те же глаза — умные, добрые.

И Глебов стал говорить ей о той, им прудуманной, и, может быть, Маша узнавала себя. Да, это точно была она, тут он ничего не придумал.

Все же Маша поверила:

— И она стала вашей женой?

— Иначе и быть не могло!

Она сказала задумчиво:

— Вы так говорите о своей жене... Вы ее любите?

— Жену? — Опомившись, Глебов замолчал: совсем забыл, что женщина все понимает по-женски и во всем видит любовь и очаг.

Даже то, что он замолчал, Маша, наверное, поняла тоже по-своему — как его неохоту вслух говорить о любви. И видимо, решила более не касаться деликатной темы. Она помолчала, посмотрела на небо.

— Звезда упала.

— К счастью,— сказал он, готовый говорить и о звездах, лишь бы ничего не придумывать.

— Еще одна.

— Вам везет: столько счастья.

— Просто счастливый день.

Глебов облегченно вздохнул: они вернулись к легкому и безопасному разговору.

— Ну что вы еще хотите?

— Еще? — Маша задумалась.— Нет, боюсь. В нашей сказке нельзя терять чувство меры.

А он, кажется, его потерял и вдруг с болью подумал, что будет за это наказан.

— Вот разве потанцевать бы,— сказала Маша.

— Не успеем.— Он взглянул на часы.— Танцы — на корабле.



— Тогда шампанского. Хотела бы выпить за вас, за такого счастливица.

— Ну если так, согласен. Шампанского нам!..

Спустя полчаса они бежали по лужам через площадь у морского вокзала, торопились на свой теплоход. И знакомый, призывный гудок корабля летел им навстречу. Но хлынул дождь, и такой проливной, что они, не добежав до причала, укрылись под темно-зеленым каштаном. С веток капало, не помогла и газета, которой они прикрывались, и, вся промокнув, Маша ловила ладонью теплые капли. Глебов укрыл ее пиджаком, обнял за плечи и очень близко увидел глаза, светло-серые на смуглом лице, завиток ее мокрых волос, едва заметную родинку около брови и губы, влажные от дождя. Словно вернулся опять в свою сказку о той, им придуманной, и вот она снова, живая и близкая, была вместе с ним. И она тоже вся потянулась к нему, стала ближе, чем прежде. Но это длилось секунду: еще не успело смолкнуть эхо гудка, а она уже чуть отстранилась.

— Я много выпила. Я совсем потеряла голову.— Маша закрыла глаза, отдалилась куда-то.

— О ком вы вспомнили? О нем?..

— Нет. Не знаю. Все слилось — он и вы.

Еще обнимая ее за плечи, Глебов чувствовал, как дрожит ее тело. Будто она с чем-то боролась — с тем, что к ней подступало.

— Пора,— шепнула она.— Мы опоздаем.

Лил дождь, они бежали по длинному молу туда, где стоял теплоход, и Глебов крепко держал ее за руку, боясь потерять. Едва поднялись на палубу, корабль стал отходить. Они быстро пошли к своим каютам, и Глебов так и держал ее руку, не отпуская: сам открыл ее дверь и вошел вслед за ней.

Маша сразу посмотрелась в зеркало и поправила волосы.

— Боже мой, на кого я похожа!

Глебов снял с нее мокрый пиджак. Он стоял у нее за спиной и в зеркале видел ее и себя. Склонившись, он вдохнул запах волос — влажный, свежий запах дождя.

— Не надо,— тихо сказала она.— Ну, пожалуйста.

В зеркале Глебов увидел ее глаза: они потемнели и уже не смеялись.

— Не хочу быть виноватой.  
— Перед кем? — не понял он.  
— Перед ней, вашей женой.  
— Женой? — Глебов вспомнил свою пустую квартиру и усмехнулся.

Его усмешку женщина поняла тоже по-своему:

— Нет, вы ее любите.  
— Люблю? — удивился он.  
— Да, вы так о ней вспоминали...

Она говорила о той, им придуманной, то есть о себе. Но не знала об этом. И Глебов понял: пора ему покинуть эту сказку.

— Я расскажу...

— Нет! — остановила она. — Я сама виновата: поверила в свою золотую рыбку.

— А теперь не верите?

— Не знаю... Не знаю. — Она устало закрыла глаза. — Извините, мне нужно переодеться.

Он отвернулся и стал смотреть в окно. Но за спиной не слышался шорох одежды, как было днем, когда Маша раздевалась при нем, не смущаясь и доверяя ему.

— Ну нет, — грустновато улыбнулась она. — Вам придется уйти. Теперь это опасно. Да и я за себя не отвечаю.

Все стало иначе, и хотя он, Глебов, тоже засмеялся, оба знали, что между ними появилось нечто иное, нелегкое.

Чтобы смягчить эту неловкость, Маша сказала:

— Переоденусь и опять стану красивой. Кажется, мы собирались на танцы?

— Конечно. Я буду ждать. — Глебов взял пиджак и вышел из каюты.

И когда прикрыл дверь, то услышал, как там металлически щелкнуло: женщина сразу закрылась на ключ. С этим звонким щелчком для него что-то кончилось. И начинался отсчет какого-то нового времени, еще неясного, смутного, но неизбежного.

Войдя в свою каюту, он положил ключ на столик, присел на диван. С палубы в окно светил фонарь. В сумраке виднелись стены и дверь каюты, полосатый халат на вешалке, умывальник, стеклянная полочка, тубик с кремом «Флорена», бритва, блестящая никелем, полотенце, шляпа из желтой соломки и, наконец,

овальное зеркало, в котором он видел себя. Он вспомнил, как утром впервые вошел в эту дверь и как разглядывал эту каюту, думая, что холостяцкое путешествие в ней будет приятным, и потом, бросив ключ на диван и открыв чемоданчик доставал свои вещи и раскладывал так, как хотелось, и там, где было удобно, и погружал себя в розовый мир приятных вещей и уюта; а когда все же увидел медный ключ с четкими буквами, то спрятал его подальше.

Ключ и теперь лежал перед ним. Буквы в тускло сияющей меди рисовались отчетливо и слагались в знакомое имя. Он взял ключ, сжал в ладонях, задумался. Да, бал кончился, погасли огни, и пора выметаться из сказки, пора рассказать все как было.

Все как было? Но поймет ли она? Разве себя объяснишь словами? Рассказать все как было — это снова вернуться в ту камеру, к пустому оконцу, и там снова будет она, эта женщина, живая, незримая, и она снова услышит тот голос: «Сапер!» — но увидит иное: как он, Глебов, сорвавшись с оконца, цепенеет у холодной стены, и в скалистом ущелье, покорный, угрюмый, кайлит неподатливый камень, и отвечает тому человеку: «Уйди», — и ночью, в бараке, на нарах, вдруг слышит тот взрыв и тот грохот обвала в ущелье, а после плена, потерявший себя, покоряется бабе, пустой и корыстной, и пытается ради нее все забыть, и тянет постылую лямку, и однажды в далеком селе узнает фотографию паренька, а делает вид, что не знает его, а годы спустя вновь встречает его, уже в камне и бронзе, на которой не тают снежинки, и понимает, что так и не может забыть и простить ни себе, ни жене, и для них путешествие в польские лесистые горы стало последним, прощальным, и скоро они разошлись.

Вот так оно было: не в сказке, а в жизни. И рассказать — это снова вернуться в каждый прожитый день и в тот памятный день после развода с женой, когда он бродил по своей опустевшей и гулкой квартире и на пыльном паркете шуршали обрывки газет. Он был один и мог без помех начинать свою новую и яркую жизнь — жизнь всех цветов радуги. Каждое утро он покидал свой пустой дом и каждый вечер возвращался с работы туда. Он был один и ночами; и такого благословенного одиночества не знал еще никогда. Но шли дни и ночи, а новая жизнь к нему не спешила, и тогда

он решил больше не ждать, а идти сй навстречу куда-нибудь в дальние дали, где никто и ничто не напомнит о прошлом. Он взял отпуск, билет до Батуми, заказал такси во Внуковский аэропорт — на девятнадцать ноль-ноль — и вот наконец закончил свой последний рабочий день и, на месяц захлопнув дверь кабинета с запахом лежащих бумаг и табачного дыма, шел по длинному коридору.

И рассказать все как было — это значит вернуться и в тот коридор с вереницей казенных дверей и табличек, и там снова, живой и незримой, с ним будет она, эта женщина, и увидит, как он торопливо проходит бесконечные кабинеты, темноватые лестницы и уютно-парадные холлы, как спешит он в свои дальние дали, где его ожидает волшебная-новая жизнь...

Он быстро прошел весь коридор, втиснулся в лифт, переполненный на исходе рабочего дня. И когда с мягким стуком сомкнулись створки двери и кабина пошла в многоэтажную глубину, кто-то весомо хлопнул его по плечу:

— Сколько лет, сколько зим!

То был старый знакомый, рыжий Можайкин. Некогда они встретились в Каменке. Теперь в тех краях он, Можайкин, командовал стройкой, такой, о которой газетчики сочиняли, что ее можно увидеть с Луны.

Привыкнув к своим сибирским просторам, к размаху и власти, он и сейчас, в этом лифте, был заметно напорист, а на эмоции щедр, — этакий загорелый молодой мужичок с седыми висками и в моднейшем костюме с яркой орденой лентой.

— Начальству привет! — сказал он и был почему-то особенно весел, весь в своей радости.

Засмеялся и Глебов.

— Да какой я начальник... Вот ты, говорят, шагаешь! Ба-а-альшой человек. Быть тебе, говорят, министром.

— Говорят, — согласился веселый Можайкин. — Да не все. Ты бы послушал, что обо мне говорили сегодня, когда обсуждали проект. Хлестаков я плюс Манилов. — Он от души захохотал: — Эдакие Собакевичи! Но молодцы — проект утвердили. Кстати, а ты почему не был на совещании?

Глебов замялся, а в тот миг, замедлив падение, лифт спружинил и замер, и сразу с шумом раздвинулась дверь; и, уже выходя из кабины, Глебов ответил:

— Да понимаешь, последний день перед отпуском, сдавал дела, закутился.

— Мог бы на минуту зайти. Там и о тебе шла речь, тебя вспоминали.

— Знаю,— ответил Глебов.

— А в общем,— похвастался веселый Можайкин,— все было на уровне. Так что поздравь.

— Ну, с тебя причитается.

— А что! — засмеялся Можайкин.— Повод есть, да еще какой!

Они вышли на людный проспект с бесконечной лентой витрин и реклам, и Можайкин кивнул на подъезд модного ресторана.

— Зайдем, отметим? Или ко мне, в гостиницу? Я в «России» остановился.

Глебов взглянул на часы.

— Время у меня в обрез. Улетаю в Батуми и такси заказал на девятнадцать ноль-ноль, а еще нужно собрать вещички. Знаешь, давай ко мне, это тут близко, за углом, на старом Арбате. Ты же бывал у меня.

— Бывал,— согласился Можайкин.— И помнится, жена твоя не жалует незваных гостей.

— Не волнуйся, живу один.

— А жена?

— Развелся. Она нашла себе муженька побогаче.

— А-а...— Можайкин сказал это с сочувствием, но так, будто того ожидал и ничуть не удивился.— И давно?

— Уже месяц,— ответил Глебов.— Так что никто нам не помешает. Как говорится, раздавим флакон. По-холостяцки! — сказал он, держась бодрячком, но скрыть свою горечь не смог.

Можайкин понял его и умерил свою шумную радость.

— Ну, если так,— сказал он,— то идем.

Свернув в тихую староарбатскую улочку, они по широкой лестнице старинного дома поднялись на третий этаж. В квартире было голо и неуютно, зиял пустой шкаф, висела без абажура запыленная лампочка, а на обоях темнел немалый квадрат — след исчезнувшего ковра. Так в доме бывает перед отъездом,

когда вещи уже упакованы и в опустевших комнатах осталась лишь мебель; это только скелет жилья, лишенный плоти.

Рыжий Можайкин побродил по квартире, подошел к застекленной горке — она тоже была пуста. Он усмехнулся:

— Если мне память не изменяет, тут когда-то стоял фарфор?

— И хрусталь, — с мрачным юмором напомнил хозяин.

— Увезла?

— Не забыла.

Гость посмотрел на голую лампочку.

— И люстру?

— А как же: тоже хрустальная.

— И ковер?

— Еще бы: ручная работа. И сервиз увезла, и подписные издания классиков. Лет двадцать копила.

— Тебе повезло. Каких-нибудь двадцать лет семейного счастья, и ты уже свободен.

Оба рассмеялись, и стало как-то легче.

— И уже начинаешь холостяцкую жизнь! — помужски позавидовал рыжий Можайкин, имея в виду, что на столе перед ними лежал раскрытый пустой чемодан лакированной кожи и вещицы, очень полезные для приятной поездки на Черное море: полосатый купальный халат, цветные рубашки, шляпа из желтоватой соломки, джинсы, легкие туфли с медными пряжками, серый нарядный костюм — и все с иголочки, новенькое, еще в целлофане, только что из магазина, и — ничего от прошлого.

Хозяин отодвинул чемодан и вещи на край обеденного стола, поставил коньяк, сыр и хлеб. Достал из пустого буфета граненый стакан и щербатую чашку.

— Извини, хрустальные рюмки чехословацкого производства тоже уехали.

— Да на мой характер, я бы ее!..

— Ладно уж, — отмахнулся Глебов. — Все к лучшему.

Можайкин взял граненый стакан.

— Ну, тогда за твою холостяцкую жизнь. За все, что у тебя впереди.

— А что у меня впереди? — мрачновато усмехнулся хозяин.

— Глупец, радуйся: Черное море, луна, пальмы и девушки. Какие девушки! Брюнетки с голубыми глазами. За это и выпьем.

Выпили первую, и, закусывая, гость продолжал:

— А я, несчастный, завтра опять в свою берлогу. И что меня там ожидает? Болота, буреломы и ударные пусковые объекты, за которые мне мылят шею и с утра, и на сон грядущий. Сутками мотасшься по дорогам, лаешься с прорабами, спишь где придется, ешь, что дают, а потом на тебя же сыплются все шишки из министерства: дай план — и точка!

— Зато масштаб у тебя, — сказал он.

— Еще бы — территория, равная Бенилюксу. Говорят, с Луны видно. Только на вертолете и успеваю. — Кстати, был я недавно и в Каменке — помнишь?

Хозяин кивнул: ему ли забыть то село, пустоватую избу и портрет на стене...

— Там о тебе тоже помнят. Марфа Антоновна говорит, что ты помогал ей найти ее младшего брата.

— Немного помог...

— Велела сказать тебе, если встречу, что в Каменке теперь школа его имени.

— Я знаю, читал в газетах.

— Помнишь его портрет в избе?

— Помню... А сама она как? Еще в председателях?

— Давно на пенсии. Бывшая председательша, живая история. Да ты сам прикинь, когда это было. Вспомни тот мост в Каменке. Тогда ты его здорово подлатал. И сколько лет он еще простоял? Я сегодня подсчитывал: почти четверть века. Это хорошо, а вот пропускная способность его мала. И сколько людям приходилось ждать, чтобы проехать. Сплошные заторы. Дорого он нам обошелся! Цифры я сегодня на совещании выложил. Теперь-то всем ясно. — Можайкин крепко ругнулся. — Надо было его сразу ломать. Эх, Павел, если бы ты тогда меня поддержал!

Тот усмехнулся:

— И нас бы, конечно, послушались...

— А что? Ты да я — это двое, уже коллектив, не большое, но мнение. И может, начальство еще бы тогда призадумалось. И вообще, — сказал он убежденно, — старье надо ломать, а не латать, не подкрашивать, это точно!

— Ну, твой проект утвердили,— теперь ломай и круши.

От этой мысли Можайкин сразу преобразился, повеселел.

— Представляешь, как я буду твой мостик ломать? — подмигнул он.— Сам, своими руками! Дорвусь я до него. По бревнышкам разнесу. А на том месте, где твой трухлявый мосточек, поставлю мост двухъярусный, скоростной, на века...

Глебов его оборвал:

— На века? Врешь! Я видел проект. Хозяйский размах у тебя есть. Да вот интуиции тебе не хватило!

И по тому, с какой злостью у него вырвались эти слова, Можайкин, умный мужик, сразу что-то почувствовал, посмотрел пытливо и цепко. А Глебов не рад был, что это сказал: в молчании закурил и швырнул сигареты на стол. Но Можайкин, встревоженный, ждал, и Глебов с неохотой добавил:

— Поэтому и не пришел я сегодня.

— На обсуждение?

— Не хотел тебе портить праздник... Да и что говорить! Проект обкатан. Проект есть. Так что давай лучше выпьем за твой успех.

Он стал наливать коньяк, но Можайкин остановил:

— Нет, говори...

— Ты этого хочешь?

— Да.

— Ладно,— усмехнулся хозяин,— пеняй на себя. Я тебе ничего не навязывал.

Он отставил бутылку и, оглядев полированный стол, провел пальцем по запыленной столешнице. Остался длинный, извилистый след.

— Это река,— сказал Глебов. И рядом с «рекой» очертил кружочек.— Это Каменка. Горы,— пометил он.

Можайкин прищурился:

— Похоже.

— А вот тут — мост на века. Как у тебя в проекте.

— Точно.

Глебов еще дальше отставил бутылку.

— А если так? — Он продлил черточку «моста» на запыленном столе.— Не мост над рекой. А тоннель под рекой. И дальше — сквозь горы — напрямую к заводам. Дорога сократится километров на сто.



Можайкин долго молчал, смотрел на схему и думал, наконец негромко сказал:

— Смотри, какой глазастый: углядел.— Он машинально налил и выпил коньяк. Нащупал на столе зажигалку и закурил. Острый голубой огонек газовой зажигалки так и остался гореть в его крепко сжатой руке.— И как это ты додумался?

— Да так как-то,— ответил хозяин.— Без кибернетики. Старым дедовским способом — пошевелил мозгами.

— У предков учился? Мол, Архимед — в ванне, Ньютон — в саду, а я — в пустой квартире.— Внезапно и бешено рыжий Можайкин обрушил свой мужицкий кулак на эти «горы» и «реки» на запыленном столе.— Так что же ты раньше молчал?!

— А я давно предлагал!

— Кому?

— Начальству! Еще до тебя. И мне ответили! Мол, дорогой товарищ, не занимайтесь химерами. Мол, где это видано — строить мост *под* рекой? Мол, идите, дорогой товарищ, и занимайтесь своими делами.

— А ты? Повернулся и вышел?

— Ушел заниматься своими делами.

— Ах ты, красна девица! Напоролась на динозавра — и сразу лапки кверху?

— А что мне, грудью на амбразуру?

— Да! — заорал Можайкин.— Грудью! Или пускай другие? Я, например? — Он снова налил, и залпом выпил коньяк, и склонился над столом с еле заметными пыльными черточками и кружочками.— Вот додумался, дьявол! Просто и..

— Рискованно,— подсказал Глебов.— Рискнешь — сорвешься. И не быть тебе ба-а-альшим человеком.— Не принимая все это всерьез, он взглянул на часы.— Ну, шутки шутками, а мне нужно собираться. Скоро придет такси.

Он открыл пустой чемодан, который стоял на столе, и стал укладывать полосатый купальный халат.

— Да брось ты свои тряпки! Никуда не уедешь!

— А как же Черное море, пальмы и девушки? — спросил хозяин, с заметным удовольствием укладывая халат.— Ты же сам говорил.

— Никаких девушек! — зарычал рыжий гость.—

Иди сдавай билет! У тебя сохранился чертеж и расчеты?

— Как говорила та обезьяна, начнем все сначала?

— Ладно, остряк! Утром пойдем к министру. Он-то рискнет.

— Он рискнет, он министр. А вот хочу ли этого я? — Глебов уложил в чемодан и пижаму.

— А что тебе терять? Эти голые стены? Да едем ко мне! Эту пустую квартиру обменяешь на территорию, равную Бенилюксу. Представляешь, сколько там девушек?!

— Заманчиво.— Глебов прикинул, как положить туфли с медными пряжками.— Но зачем я тебе?

— Умеешь шевелить мозгами. Тебе бы еще научиться...

— Теперь уже поздно,— перебил Глебов.

— Поздно? А это? — Можайкин кивнул на запыленный, разрисованный стол.— Так и оставишь?

— Берн, владей.— Глебов уложил в чемодан новенькую рубашку в хрустящем прозрачном пакете.

— Ты же знаешь, не удержусь, возьму! И завтра пойду к министру. Один пойду! — Выкрик Можайкина гулко отдавался в оголенной квартире.

Глебов ему не ответил; торопясь, укладывал в новенький чемодан лакированной кожи еще одну новенькую вещицу и уже весь был не в этой гулкой пустынности своего дома, а там, в синих даях, где его ожидала иная, и тоже с иголки, новая жизнь.

И конечно, Можайкин, умный мужик, это понял; но не таков он был, чтобы сдаваться, и, прищурясь, зорко следил за хозяином, чтобы уловить в нем сомнения и сразу атаковать.

— Значит, молчишь? Убегаешь? — Не сводя глаз с хозяина, он по-братски разделил последний глоток коньяка, разлил из бутылки в свой граненый стакан и в щербатую чашку: использовал, рыжий хитрюга, и силу мужского застольного братства.

Тут начали бить часы на стене, дедовские часы с медной гирей и фигурным маятником,— последняя ценность которую почему-то не увезла с собой бывшая жена.

Било семь — ровно девятнадцать ноль-ноль. И Глебов с облегчением вспомнил, что ему уже ехать в аэропорт. Подойдя к окну, он посмотрел вниз. У подь-

езда стояла серая «Волга» с темными шашечками на борту; и таксист в фирменном картузе оглядывал окна, ждал своего пассажира.

— Эй, шеф! — крикнул Глебов. — Скоро приду!

Торопясь, он закрыл обе створки окна, плотно хлопнул форточку и стал накрепко, наглухо — на весь месяц — задвигать тугие запоры. И тут услышал у себя за спиной:

— Опять оставляешь меня одного? Как тогда, в Каменке?

И что-то вдруг поразило, сковало его — и сами эти слова, и то, как были сказаны, с силой и злостью, кого-то напомнившей. Будто у него за спиной был вроде бы не Можайкин — и он и не он — и если сейчас оглянуться, то в сумраке комнаты над запыленным столом увидишь кого-то другого. Но вот кого, Глебов вспомнить не мог.

А секунду спустя эта странная мимолетность ослабла, померкла и угасла совсем, и Глебов так и не оглянувшись, не вспомнил.

Да и не хотел ни о ком вспоминать; стоял у окна и за тусклыми стеклами видел не узкий арбатский проулок с асфальтовой мостовой и чахлыми тополями, не крыши окрестных домов и домишек, а только небо над ними, предзакатное, мягкое, тихое, еще голубое, но уже в розовеющей дымке, безмятежное небо, в котором с легким, радостным криком кружились ласточки и острыми крыльями рассекали розоватый, дымчатый воздух; и Глебов весь был уже в той голубой высоте, в том покое — над тополями, проулками, крышами — в своей волшебной и розовой дали...

Но теперь-то он знал: те слова и тот голос у него за спиной напомнили ему лейтенанта. Вот так, будь он жив, с той же силой сказал бы и лейтенант — и думал он так, и лет ему было бы столько. И Глебов сжал в руке медный ключ с его именем, словно ключ к самому себе. Вдруг в коридоре стукнула дверь, послышались легкие шаги. Узнав их, он вспомнил о Маше, тотчас встал, зажег свет, посмотрелся в зеркало и вышел из каюты.

Маша шла навстречу ему по коридору: легкая, в очень нарядном, сверкающем платье, которое ловко и

точно облегалo все ее тело и обнажало худощавые, смуглые плечи.

— Какая красивая!

— Красивая я? Или платье? — Улыбаясь, она оглядела свой новый наряд. — Вам нравится? Знаете, сшила перед отъездом в отпуск, собиралась на курорте кого-нибудь ослепить. Да все не было случая.

— Неужели никто не ухаживал?

— Что вы! Но это платье я сшила не для всех, а только для одного.

— И наконец он явился.

— Вот еще! — засмеялась Маша. — Просто я собралась танцевать.

Что-то в ней опять переменялось: словно и не было трудного разговора в каюте. Или, владея собой, она только делала вид, что для нее все прошло без следа?..

Они вышли на палубу. За бортом в темной воде бежали белые гребни волн. Ни берегов, ни огней, только тьма и яркие звезды. А танцы были в уютном заветрии, на корме, где горели разноцветные лампочки, и гремел корабельный динамик. И там, в неопиcуемой толчее, все танцевали с каким-то безоглядным азартом, с какой-то особенной, полнейшей отдачей, наверное, потому, что уже плыли на север и за кормой оставался последний безоблачный курортный денек.

И когда Глебов и Маша пошли танцевать и она положила ему на плечо свою теплую, мягкую руку, от тесноты они стали так близко друг к другу, что оба вдруг замолчали. Потом, немного привыкнув к тому, что их охватило, Маша с улыбкой сказала:

— А вы отлично танцуете. Особенно для человека, который когда-то рвал руками решетки.

Он усмехнулся, но как-то очень невесело, и она виновато шепнула:

— Я сказала что-то не то?

— Нет, просто я вспомнил...

— Я понимаю, — тихо сказала она, — на этом корабле вам нелегко.

— Иногда очень трудно.

— Да, я замечала. Для вас он был живым человеком и близким. Какой он был?

— Я бы хотел быть, как он.

— А разве вы не такой?

— Вы верите в это?

— Конечно. Я знаю вы... настоящий.

— Просто потому, что я, по вашим словам, немного похож на другого.

— На кого? — удивилась она.

— На человека, которого вы когда-то любили. Вы же сами сказали.

— Глупости! Я об этом сходстве почти забыла. Чем больше я вас узнаю, тем больше вы для меня похожи... на самого себя. Вы — это вы и никто другой.

— А я вас еще не знаю. Какая вы, Маша?

— Какая есть — вся перед вами. Разве этого мало?

Музыка ненадолго прервалась, и они стояли в тесной толпе, все так же близко, как прежде.

— И странно, — добавила Маша, — когда вы рассказывали о жене, о том, какая она, мне иногда казалось, что вы говорите и обо мне, что она — это я.

— А может, так и есть?

— Но я-то знаю — я не такая, я хуже, я не она.

— А может, ее и не было?

— Не было?

— Может, нет у меня жены?

— Конечно, нет.

Она улыбнулась, будто услышала невеселую шутку, и, снова двигаясь в танце, сказала:

— На свете нет женщины, которую вы любите, и я могу танцевать с вами, не думая о ней... Если бы в самом деле вдруг стало так... Ведь стоит мне попросить золотую рыбку. Но может быть, я уже слишком много хочу? И останусь у синего моря...

— Ну, — усмехнулся Глебов, — я-то в той сказке уже потерял свою меру.

— Вы? Отчего?

Он ответил не сразу.

— Встретил вас и с вами хотел быть иным, каким бы... мог быть. — Неожиданно, с горечью Глебов сказал: — А ведь я не герой, и жена моя была не такая, и жили мы скверно и трудно и наконец разошлись.

Но и это для Маши было еще не всерьез.

— Уже разошлись? Как в сказке. Стоило мне пожелать, и опять все исполнилось!

Или она не могла, не хотела этому верить?..

Смолк динамик, погасли разноцветные лампочки.

Стало просторно, и только самые юные или те, кто не хотел расставаться, танцевали под магнитофон, который крутили туристы-юнцы; тут же, на палубе, лежали их рюкзаки и гитары.

— Что-то прохладно.— Маша прикрыла ладонями толые плечи.— Да и поздно уже. Я едва держусь на ногах, так устала.

— Я провожу вас.

— Пожалуйста.

Пока они шли палубой и коридором, то говорили о пустяках, о погоде, хотя оба, конечно, думали о другом. Маша открыла свою каюту, и Глебов тоже вошел. Не зная, уходить ли сейчас или пока остаться, он закурил и взглянул на часы: было за полночь.

— Вы спрашивали, какая я? — Маша стояла у зеркала.— Да вот вся перед вами — усталая, сонная, неинтересная и ста-а-ренькая. Не самое лучшее, что есть у господа бога.

— Ну что вы! — не согласился Глебов.

— Вежливый вы человек,— улыбнулась она, скинула туфли и прилегла на диван в своем сверкающем платье.— Извините, смертельно устала.

Глебов сказал нерешительно:

— Вам нужно переодеться? Я выйду.

— Переодеться? Нет, я останусь в красивом платье. Ведь сказка еще не кончилась?

— Для кого как...

— А для меня уже все перепуталось: что — в сказке, а что — наяву. Да может, это и к лучшему.— Она вся потянулась к подушке.— Я только на пять минуток, очень устала: такой долгий, долгий день.

— Да, день какой-то особенный. Как целая жизнь.

— К тому же я выпила много вина.— Глаза у нее закрывались.— Пять минуток, и я стану человеком, со мной всегда так,— пробормотала она.— А потом вы расскажете...

— О чем?

— О том, что было наяву.— Уже в дремоте она подобрала ноги, освободив край дивана.— Садитесь, вы тоже устали.

Он прикрыл ее одеялом и сел на диван. Светил ночник. Занавеска на окне колыхалась от ветра. Слышны были ночные корабельные звуки: плеск волн,

скрип канатов и дерева, гудение вентиляции и глубокие вздохи дизеля.

Кажется, Маша уснула — и не на пять минуток: усталое, немолодое лицо, тень под глазами. Спит в своем блистающем платье и видит сказочный сон. А может, это и к лучшему? Что бы он ни рассказывал ей, для нее это будет уже не честная исповедь, а попытка оправдать себя в том, о чем он прежде боялся сказать. Хочет она или нет, в его словах ей послышится иной, затаенный смысл. Сказка окончательно кончится, и тогда все будет взвешено: его неточное слово, заминка, раздумье, даже случайная оговорка, которую сам не заметит. А главное, его вера в себя, в свою правоту — ее-то не будет.

А если не станет рассказывать? Весь день — а плыть еще до Одессы — они будут вместе на корабле, и если он не расскажет ей правду, всю без утайки, она это поймет, и сказка-ложь, как стена, все равно останется между ними.

Так он сидел больше часа, пока не захотелось курить. Тогда медленно встал, вышел тихо и осторожно прикрыл дверь. Накинув пиджак и закурив, постоял у двери и пошел мимо своей каюты, мимо салона, пустого, закрытого до утра. Окна салона были темны. Но с палубы туда падал свет фонаря и, отражаясь в паркете, заливал салон тусклым сиянием, в котором смутно виднелся портрет на стене.

Глебов вышел на палубу. Дул ветер, было безлюдно, только в стороне, около шлюпок, темнели две тени: он и она — но не рядом-еще и не близко — стояли у борта, и там негромко звенела гитара и слышался снова тот юный голос певца: он ее ищет, а она его ждет... Глебов ушел подальше, постоял, докурил сигарету; от свежего воздуха он совсем отрезвел, и мысли летели безжалостно ясные.

За бортом крутой и гривастый вал рассыпался пеной и брызгами. Ветер свежел, и его легкий полет отзывался в высоких снастях корабля — не то голос ветра, не то человеческий зов. Глебов знал, что ему это чудится, и все же слышал: «Сапер!» Теперь он сразу узнал этот голос. «Ты думаешь, я — этот корабль? Нет! Я ветер. Я море. Я звезды». А звезды пылали первозданным огнем: те же яркие звезды, которые он в ту далекую ночь вдруг увидел сквозь пустое

оконце в стене; те же звезды, и они горели над ним неугасимо, как память.

Но разве думал об этом тогда, у пустого оконца? Разве знаешь, какой день и час станет на многие годы твоей судьбой? Может, судьба меняется и в это мгновение, когда ты стоишь в одиночестве на палубе корабля и над тобой те же звезды, что и тогда, в том оконце...

Светало. В светлеющем небе показалась одинокая чайка, еще сонная, вялая, и растаяла в сумраке над водой. Заря рождалась у горизонта, куда шел корабль. Там блестела россыпь огней, подплывали к Новороссийску. На краю неба рисовались вершины, у подножия которых лежал этот город.

Потом смутно обозначились ближние берега. Море стало уже отличимо от тверди земной по серой полоске прибоя да по отблескам рассветного неба.

Уже вошли в Цемесскую бухту. Приближался и порт. Над водой проступила длинная тень — мол перед гаванью, а на нем маячок-работяга, посылавший свой свет кораблю.

У трапа на нижней палубе собирались пассажиры, которым сходить: все те же туристы-юнцы с рюкзаками, с неразлучной гитарой.

Глебов швырнул за борт сигарету и быстро пошел с палубы вниз. Он спешил, и как только вошел в каюту, снял с полки пустой чемодан, и стал собирать свои вещи: рубашки, пижаму, полосатый купальный халат, сине-белые плавки, нейлоновый плащ, туфли с модными пряжками. И мельком вспомнил, как месяц назад, торопясь из своей опустевшей квартиры, тоже складывал вещи, все с иголочки новенькие, девственно свежие, с хрустом и блеском, как сама та волшебная жизнь, в которую было поверил, а теперь те же вещички просто швырял в чемодан.

Закрыв чемодан, он покинул каюту, сдал горничной ключ и сказал, что уходит.

— Но у вас билет до Одессы, — удивилась она.

Не ответив, он подошел к соседней каюте. Хотел постучать, но раздумал и взялся за медную ручку. Дверь открылась легко и бесшумно, и он увидел, что женщина спит: так и спит в своем ослепительном платье, неловко уткнувшись в подушку, и волосы когда-то лежавшие плотно и празднично, волосок к



волоску, теперь буднично рассыпались по лицу. Одежда свалилось на пол, в окне ветер трепал занавеску, было свежо, даже холодно, и, не просыпаясь, женщина как-то жалко поджимала под себя оголенные коленки. Глебов поднял одеяло и осторожно прикрыл се. Женщина шевельнулась, но проснуться уже не могла. Выходя, он заметил на стеклянной полке около зеркала латунную палочку с губной помадой. Нерешительно взял ее, повертел и на зеркале — крупно! — написал свой телефон. Положил губную помаду. И вышел...

Плотно прикрыв дверь, он взял чемодан и пошел на нижнюю палубу; но не к трапу, где стояла толпа пассажиров, а к борту, где было безлюдно. Там он поставил свой чемодан, бросил на него плащ, закурил и втянул в себя сладкий дым сигареты.

Совсем рассветало, небо стало зеленоватым, прозрачным, и редкими островками висели розовые облака. Холодный гребень волны, бесконечно бегущей у борта, начинал чуть теплеть и просвечивать розовым.

Входили в порт; близко и медленно проплывал мол и маяк. Маяк уже не мигал, и в темном стекле потухшего фонаря светились блики зари.

У самого маяка сидел старик с удочкой, босой, в соломенной шляпе. Он не сводил глаз с поплавок и даже не взглянул на плывший мимо корабль.

Потом подтянулись к причалу, судно замерло, слышался шум лебедек и лязг — спускали корабельный трап. Толпа пассажиров оживилась и с топотом потекла вниз. Глебов слышал смех, голоса, звон гитары и знакомую песню о том, как двое ищут друг друга. И пожалел, что так и не увидел певца; он бы спросил: чем же кончилась песня?

Когда все стихло, он взял чемодан и пошел к трапу. Там поднимались новые пассажиры; они ждали всю ночь и, усталые, сонные, рвались к каютам и мягким постелям. Пока Глебов спускался, его толкали, ругали, и он едва пробился в толпе. Пройдя по безлюдному пирсу, он вошел в морвокзал. В пустынном зале горели лампы дневного света. Пассажиры, которые сошли с теплохода, куда-то рассеялись.

У стойки с табличкой «Прием телеграмм» он задержался. Взял бланк и написал телеграмму Можайкину: «Еду».

Потом постоял у реклам и расписаний Аэрофлота.

До ближайшего рейса оставалось четыре часа. Касса была закрыта. Он знал, как томительны будут эти четыре часа, взял чемодан и вышел из здания.

Город спал. Глебов побрел по улице, огибавшей гавань и порт, — и шел, пока не оказался на просторной набережной. От моря ее ограждали каменные перила. Шеренгой стояли скамейки с чугунными ножками.

Глебов присел на скамью. Перед ним в глубь бухты тянулся мол. В дальнем его конце виднелся маяк.

Был виден и порт: краны и мачты, буксиры, танкеры, теплоходы, и среди них — заметные белые надстройки корабля, с которого он сошел. Там, еще спящая в сказке, осталась та женщина. Теперь он знает — есть на свете она.

За горами всходило солнце, море уже золотилось, но порт лежал еще в тени. Пробили на башне куранты. И едва они смолкли, вдруг он услышал далекую песню. Где-то издали и знакомо звенела гитара, и Глебов узнал голос певца и его песню о том, как двое ищут друг друга. Чем же кончится песня? Чуть слышно она долетала от маяка. Глебов встал и пошел туда.

С набережной он спустился на мол. К бетонным стенкам тесно лепились суденышки — ялики, шлюпки, шаланды, баржи с пятнами сурика на ржавых бортах. Сушились сети, лежали кольца канатов, пахло рыбой, краской, смолой. Солнце уже осветило верхушки самых высоких мачт.

Шел он долго, а мол все не кончался. Смолкла гитара, не слышно было и песни. Чем дальше уходил он от берега, тем реже стояли суденышки, и кое-где между ними солнечно светилось море.

В самом конце мола было совсем пустынно. Даль моря открылась, стало просторно, свежо и прохладно.

У маяка сидел с удочками старик, босой, в соломенной шляпе. Глебов вспомнил, что видел его с палубы. Рыбак так и сидел в той же позе, не сводя глаз с поплавок, — с той же наивной и твердой верой в рыбацкое счастье.

А поодаль были свалены кучей, как на привале, закопченные котелки, термосы, рюкзаки, сучковатые посошки, и лежала гитара с розовым бантом, замысловато раскрашенная, похожая на банджо. И двое, он и она, оба юные, смуглые, русоволосые, сидели на

рюкзак, и около них на газете лежала белая бутылка, кисть мелкого, дешевого винограда и стояла большая бутылка, в которой, конечно, давно уже не было ни капли вина, а только напиток, дешевлеший на свете, — вода.

Сероглазой девчонке с точеным овалом лица было, наверное, чуть за семнадцать. Да и ему, пареньку, худощавому, тонкому, тоже около этого. И без слов, лишь касаясь плечами, они оба смотрели куда-то в пустынную даль горизонта. Вот и кончилась песня — они повстречали друг друга.

И была в них обоих такая строгая отрешенность, такая сосредоточенность, такое изумление и восторг перед тем, что увиделось где-то в пустынности моря и неба — а может, уже открылось в себе, — что и он, Павел Глебов, поверил: и у него вдруг станет все ясно и чисто — ни пылинки, ни облачка.

Он сказал рыбаку:

— Старик, поймай мне золотую рыбку.

Тот оглянулся, удивленно повел седыми усами, оценил его модный костюм, нейлоновый плащ и лакированный чемоданчик.

— А чего тебе не хватает? Парень в порядке, зарплата капает. Поди, есть и квартира и молодуха. Чего тебе еще просить?

— Ковер-самолет.

— Ну это дело другое, — улыбнулся рыбак.

— Я бы сел — и улетел. Мне нужно скорей, а самолет туда — только через четыре часа.

— Что ж, садись и улетай, — ответил старик, увидев, что поплавок притонул в зеленоватой воде. — Тебе повезло.

Но рыбка, которую вытащил этот рыбак из синего моря, была в серебряной чешуе.

— Эх, — пожалел старик, — всю жизнь я у моря, а ни одной золотой не поймал.

Глебов хотел сказать рыбаку, что и без сказочной рыбки перенесется туда, в то село, где в пустоватой и чистой избе висит портрет юного лейтенанта, и там, в тех краях, он, если не поздно, своими руками построит то новое, ладное, что построил бы и сам лейтенант.

Он бы это сказал, да близко услышал знакомый гудок корабля и оглянулся.

Корабль отчалил и плавно выдвигался из гавани, шел к маяку. Слышен был гул турбин, и все ближе наплывал борт теплохода — громада, похожая на утес. Высоко тянулась цепочка иллюминаторов. Борт проплыл, и стала видна корма и золотые буквы на ней.

И Глебов сказал вдруг:

— Я знал этого человека.

Рыбак усмехнулся:

— Да это корабль.

— Нет, человек! — сказал он вслед этому кораблю.

## ЗНАКОМАЯ ФАМИЛИЯ

Жил в Москве молодой человек по имени Дмитрий Баженов, и как-то, в июле, он после работы ехал домой. Было жарко, он с особой охотой спустился в прохладу метро и стоял на платформе, где гулял ветерок. В темном тоннеле возникли огни, вынырнул поезд, замелькали вагоны, случайные лица, блики света, отраженные в стеклах. Все пронеслось, замедляя свой бег, и Баженов привычно прикинул, какая дверь будет ближе, и было двинулся к ней, как заметил в соседнем вагоне одиноко сидящую девушку. Она читала, он не видел ее лица, но в тот момент — а вагон проплывал мимо Баженова — она оторвалась от книги и взглянула на станцию. И ее мимолетного взгляда было достаточно, чтобы Баженов вошел не в ту дверь, в которую он собирался войти, а в соседнюю.

Девушка снова читала, склоняясь над книгой. Она показалась ему худощавой и смуглой, на ней была длинная пестрая юбка, по моде, да и книга, которую так увлеченно читала она, была из модных новинок. Он смотрел на нее, и она наконец уловила в себе то туманное нечто, что звало ее оторваться от чтения. Она с легкой досадой подняла глаза. Однако, взглянув на него, вернулась к странице: не скрыла, что с теми, кто в книге, ей интересней, чем с этим, живым, неизвестным,

случайным,— мало ли их, непридуманных, ходит в метро.

И все же Баженов, человек неназойливый, сдержанный; хотя и неробкий да к тому же самолюбивый, с нажимом смотрел на нее, и она, разумеется, знала об этом.

Минуту спустя она заложила страницу бумажкой, сунула книгу в сумку и встала. Он, не колеблясь, пошел вслед за ней. У двери они отразились в темном стекле, словно в зеркале. Оглянув себя и заметив опять этого незнакомца, она обернулась к нему. Она смотрела открыто и просто: вы, мол, хотите мне что-то сказать? Смутьившись, он изобразил равнодушие, но так неуклюже, неловко, что и это было замечено. С легкой улыбкой она отвернулась, взглянула в стекло и поправила волосы.

Покидая вагон, она даже не оглянулась. Шла она быстро, и длинная юбка ее, развеваясь, пестрела цветами. Лестница эскалатора подхватила их и понесла вверх. Стоя ступенькой выше Баженова, девушка вынула книгу и стала читать. Другой рукой она держала сумку, плетенную из кожаных ремешков.

— Девушка,— сказал он,— можно, я подержу вашу сумку?

Она оглянулась и, увидев того, кто в вагоне стоял рядом с ней, деловито спросила:

— А зачем?

Он сразу понял игру и ответил:

— Вам будет удобней читать.

— Нет, читать я тогда не смогу. Потому что я буду разговаривать с вами. Должна же я чем-то ответить доброму человеку. Что я и делаю.— Она захлопнула книгу.— Кстати, вот и приехали.

Сойдя с эскалатора, девушка шла тем же легким и быстрым шагом, и Баженов спросил, не спешит ли она на свидание.

— Нет,— сказала она,— это от настроения. Походка моя выдает, что у меня на душе.

— А что у вас на душе?

— Светлый праздник — я встретила вас.

Из прохлады метро они вышли на жаркую, шумную площадь. Свернули за угол, на какую-то улицу, потом в переулок, где росли тополя. И хотя все это было малознакомо Баженову, он шел с этой девуш-

кой, болтая о пустяках и делая вид, будто им по пути. Увы, жила она близко и минуту спустя оказалась около дома.

— А ваш дом? — спросила она.

— Там, — он кивнул в глубину переулка; но по глазам ее видел, что девушка все понимает, и сдался: — А вы опасны: читаете мысли.

— Да что вы, я тупа и глупа. Так сказал мне сегодня один человек. Что я примитивна и до меня не доходит. — Она засмеялась, припомнив, наверное, тот разговор, и простилась легко и шутя: — Прощайте, добрый прохожий!

Она быстро вошла в свой подъезд, дверь осталась открытой, и шаги ее были слышны. Лифтом она не поднималась: значит, жила невысоко. Смолкли шаги, где-то хлопнула дверь, стало тихо. Посмотрев наверх, он увидел балконы и окна, схожие, как близнецы. Где там была эта девушка? Жаль, он не узнал ее имя. Впрочем, он знал ее дом, а это уже немало. У дома рос тополь — ветвистый, раскидистый. Запоминая его, Баженов достал сигареты и закурил.

Вдруг он прислушался. Снова хлопнула дверь, кто-то быстро спускался по лестнице, стуча каблуками. Шаги, показалось Баженову, были знакомы. И все же он удивился, увидев в дверях свою девушку.

— А-а, незнакомец, вы еще здесь? — Она посмотрела на него с любопытством, как-то иначе, чем прежде. Да и сама уже изменилась: без книги, без кожаной сумки, с авоськой, в стареньких туфлях, отчего она, кажется, ощущала себя посвободней. — А я за хлебом, забыла купить.

— Ба! — сказал он. — Я тоже забыл. Хорошо, что напомнили. Не смейтесь, не угадали — это чистая правда. Мама звонила, просила купить.

Они снова шли вместе, смеясь и болтая, уже как люди знакомые, а не случайные спутники. Одно ему было досадно: оказалось, до булочной близко, она была за углом, почти рядом.

В булочной хлеб лежал на прилавке, в деревянных лотках.

— Ваша мама что любит, бородинский или орловский? Я выберу самый свежий.

Вилкой, взятой с прилавка, девушка трогала булочки, одну за другой, так быстро и бегло, будто, едва

прикоснувшись, могла ощутить и понять, каков этот хлеб.

— Как ловко у вас получается,— сказал он.

— Такое мое ремесло.

— Ремесло? Я думал, вы студентка.

— Нет, я работаю.

О своем ремесле она не сказала, а Баженов не стал ее спрашивать. Хлеб, который она ему выбрала, он завернул в лист бумаги, и они вышли из булочной.

Обратно, домой, девушка шла торопясь. Она явно спешила. И все же, дойдя до подъезда, они постояли минуту-другую. Пока не услышали сверху негромкий, внушительный оклик:

— Антонина!

Над ними, на втором этаже, стоял на балконе мужчина в пижаме и с газетой в руках.

— Да, иду,— ответила Антонина.

Мужчина сердито взглянул на Баженова и покинул балкон.

— Муж?

— Что вы! — засмеялась она. — Это отец. Он голодный. Обед на столе, а хлеба — ни крошки. По-кормлю — станет добрым. Ну мне бежать надо, всего вам хорошего.

— Постойте! Можно, я вам позвоню? — Поспешно он оторвал клочок от бумаги, в которой был хлеб, и записал ее телефон. — До завтра, пока!

Опять простучали по лестнице каблуки, гулко хлопнула дверь, стало тихо. Баженов посмотрел на балкон: она не появлялась. Он спрятал бумажку с ее телефоном и быстро пошел переулком обратно на площадь — торопился домой.

Он снова спустился в прохладу метро и стоял на платформе, где гулял ветерок. Снова из тьмы показались огни, с шумом вынырнул поезд, замелькали вагоны и отблески света, отраженные в стеклах. Все опять повторяло тот миг, когда девушка вдруг оторвалась от книги и он уловил ее взгляд. Все было так. Но все было иначе: он уже знал ее имя, знал голос, глаза и улыбку, знал, что читает она, где живет, как умеет угадывать мысли. Знал даже о некоем человеке, слова которого до нее «не доходят». В общем, знал о ней кое-что. Об одном он не знал: что у них впереди...

Дом, в котором он жил, стоял у Никитских ворот. И, думая только о девушке, о том, что завтра ее увидит, он лишь у самого дома заметил стоявший у подъезда знакомый «Москвич».

Машина ярко блестела желтоватой эмалью, и под цвет ей была и ее молодая хозяйка: златокудрая, тонкая, с кофейным загаром, в апельсиновых брючках и лиловых очках: озабоченно, низко склоняясь, она своим белым платочком стирала какое-то пятнышко на зеркально сиявшем стекле.

Он, подойдя к ней, взглянул с интересом: еще не привык, что эта нарядная дама в оранжевых брючках и квадратных очках — его родная сестра, Люся. Выйдя замуж, она пять долгих лет прожила вместе с мужем за границей и только недавно возвратилась домой.

— Сестричка, привет!

— Привет, братец-кролик, — сказала она: так звала его еще с детства. — Тебя мама ждет. Хлеб купил? А то я хотела сбежать сама. Где ты так задержался?

Сестра с любопытством, по-женски оглядела его: тоже пока не освоилась с тем, что сей рослый мужчина — брат ее, братец-кролик. Она была старше его, но не намного, и когда вышла замуж, то была еще юной, застенчивой, робкой девчонкой-женой, счастливой от всех перемен в ее жизни. Теперь она, зрелая, твердой и нежной рукой управляла супругом и своим беспокойным сокровищем, трехлетним Ванюшей.

Ее светлоглазый, кудрявый Ванюша топтался около мамы, очень занятый новой игрушкой — жестяным пистолетом.

— Пах! — Он прицелился в дядю. — Пах! Деда мис подарил. Пах, пах!

— Что ты, племяш, разве это стрельба? Не знаешь, как заряжать? Вот смотри. А теперь нажимай.

Еще не веря, сопя, тот наугад сделал так, как велел ему дядя, и когда вдруг с бутылочным звуком пробка-пуля ударила в «Москвича» и отскочила, мотаясь на нитке, он даже вздрогнул, потрясенный великим открытием.

— Еще! — закричал он.

Но мать отняла у него пистолет и, негодуя, стерла с желтой эмали серый след от резиновой пробки.

— Ну, ты, братец-кролик, научишь! — Она подхва-



тила и сунула сына в машину; он сопел, вырывался, тянулся туда, где на заднем сиденье был брошен его пистолет, но не пролил пока ни слезинки: настоящий Баженов.

— Племяш, не горюй, я куплю тебе пушку.

— Да не разгуливай ты его, — сердилась сестра, — ему скоро спать. Иди, тебя ждут, отец уже спрашивал.

— Иду. Ну, Иван, до свидания. Сестричка, пока!

— Да уж ладно, прощаю тебя. — Люся улыбнулась: никогда не умела сердиться на братца всерьез.

Она уехала, и он вошел в дом. В подъезде было прохладно и тихо. Старый лифт, поднимаясь, знакомо поскрипывал.

В квартире он сразу прошел на кухню, к матери, и положил хлеб на стол.

— Купил? Вот хорошо, — сказала мать. — Люся была, привозила Ванюшу.

— Я их встретил.

— Что ты какой-то рассеянный? — заметила мать. — Устал? Хочешь есть? Иди раздевайся, мой руки.

Он, умывшись, зашел к себе в комнату. На полу и на столе валялись игрушки. Прежде когда-то Ванюшина мама сама играла тут в куклы и нянчила братца. Потом она подросла, братца перевели на диван, в проходную, и там он спал, жил и рос много лет. Когда же сестрица-студентка, изучавшая языки, вдруг вышла замуж и укатила за океан, он вернулся в свою комнатушку. Теперь у сестрицы собственная квартира, но, когда она навещает свой отчий дом у Никитских ворот и привозит Ванюшу, тот любит играть в этой комнате.

Баженов убрал со стола разноцветные детские кубики и положил там на видное место бумажку с номером телефона. Конечно, он мог хоть сейчас позвонить этой девушке и, не называя себя, хотя бы услышать, узнать ее голос, убедиться, что это она. Но она догадается, кто позвонил, а выдавать ей свое нетерпение он не хотел. И, сдержав себя, вышел из комнаты.

На кухне мать готовила ужин и резала хлеб.

— Ну как хлеб? — спросил он.

— Свежий. Ты постарался.

— Да не я — одна девушка.

— Передай ей спасибо.

— Хорошо, передам.

— Да, чуть не забыла, ты зайди-ка к отцу, он давно тебя ждет, хочет о чем-то спросить.

— О чем?

— Не знаю. Опять что-то пишет.

Отец сидел у себя за столом, и перед ним лежала исписанная от руки — и уже знакомая сыну — тетрадь в коричневом переплете. Отец в Отечественную воевал, был офицером, но лишь теперь приступил к тому важному делу, которое по занятости своей откладывал много лет: к писанию воспоминаний о войне.

— А-а, наконец-то, — сказал он. — Ты мне нужен, Дима. Никак не могу вспомнить одно название. Помнишь, мы с тобой ездили к Выборгу, на границу, к тому озеру? Тебе не запомнилось, как оно называлось? Как-то по-фински, кажется.

Сын тоже не мог вспомнить. И тогда пошел к себе в комнату и выдвинул ящик письменного стола. Там лежали всякие фотографии, школьные дневники, чьи-то письма, давно позабытые; попадались девичьи записочки, программки спектаклей, какие-то негативы.

Наконец он нашел тоненькую тетрадку — свое школьное сочинение «Как я провел лето». В то лето он был с отцом в Ленинграде, и как-то утром они на машине поехали в Выборг, к границе, где отец воевал в сорок первом году. С тех пор отец не был там и едва отыскал у шоссе незаметное озеро, окруженное соснами и мшистыми валунами. Среди валунов, в каменистой земле, темнели старые воронки, залитые водой. «Вот отсюда мы били по вражеским танкам», — вспомнил отец. За озером был поселок совхоза. Там их угостили обедом и показали хозяйство. А осенью, в школе, он, пятиклассник, в своем сочинении написал обо всем, что узнал и увидел в тот день: о жестоком бое у озера, о подвиге артиллеристов, о том, сколько земли и коров есть в совхозе и кто из доярок дает больше всех молока, — обо всем очень старательно и очень наивно.

Он полистал тетрадь и пошел с ней к отцу. Тот стал читать сочинение и обрадованно сказал:

— Ну ты тогда постарался, все записал. Даже фамилии лучших доярок совхоза. Постой, а как называлось то озеро? Смотри-ка, и это он записал. Озеро Суоярви. На старых картах оно так и значилось. Дим-

ка, ты молодец! А я всю неделю мучился, так и не вспомнил. Спасибо, тетрадку оставь, мне она пригодится.

Баженов вернулся к себе, зажег в комнате свет. На столе так и лежала бумажка с номером телефона. Томясь, он посмотрел на часы: было только одиннадцать. До утра, когда он позвонит ей, еще далеко...

А спал он крепко, видел легкие сны, и во сне для него пролетела недолгая летняя ночь.

Когда он проснулся, одевался и завтракал, то все поглядывал на телефон. Еще было рано, и Баженов решил, что позвонит с работы.

Но пока он ехал в метро и в автобусе на окраину города и пешком шел через лесок на свою стройплощадку, то как ни торопился, а время летело быстрее, и, войдя в управление, в свой закуток, где стоял его стол, он застал там девицу из бухгалтерии,— она уже лихо болтала по его телефону.

С досадой он вышел и постоял на шатком крыльце. Старый домишко, приспособленный под контору, доживал свои дни. Его обступали большие дома, еще недостроенные. И дом, который строил Баженов, стоял среди них. С пустыря высоко выростала стена, освещенная солнцем. На вершине ее были видны фигурки людей. Посмотрев туда, он подумал, что там его ждут, и на время забыл, что хотел позвонить.

Потом снова прислушался: девица, умолкнув, ушла. Он вернулся к себе и снял телефонную трубку. Но только стал набирать нужный номер, как в комнатушку ворвался прораб,— рабочее утро, увы, покатило своим чередом.

Весь день, летевший в обычных и бесконечных делах и заботах — то в конторе, то на площадке, то на томительно долгом совещании в тресте,— Баженов не мог ни на минуту остаться один, наедине с телефоном. Только под вечер удалось позвонить, и некий голос, молодой и веселый, ответил ему:

— Вася слушает!

— Тоню, пожалуйста,— сказал он.

— Тоню? — Тот несколько удивился.— Кто ее спрашивает?

— Приятель,— сказал он уверенно, так, будто звонил ей не раз.

— А Тоня занята. Она открывает шампанское. Ты понял, приятель?

Послышался смех и женские голоса. Определенно там веселились, а этот Вася над ним потешался. Но ясно слышен был и Тонин голос: «Мало ли кто может мне позвонить. Дай трубку!»

— Здравствуйте,— сказала она.— Кто это? А-а, это вы, вчерашний незнакомец. Ну как хлеб, который мы покупали? Понравился вашей маме?

— Встретимся — расскажу.

— Я еще на дежурстве.

— А-а, так этот телефон у вас на работе? Я слышу, дежурство у вас не скучное.

— А у нас тут маленький праздник. У Васи, кажется, именины, и он всех угощает. Шампанским и тортом.

— Щедрый Вася.

— Да,— засмеялась она,— он постарался, достал вкусный торт, мой любимый.

И Баженову показалось, что в ней уже нет той простоты и открытости, какая была вчера, и что все эти слова говорят, увы, не ему, а кому-то другому, стоящему там рядом с ней: может быть, щедрому Васе. И этот Вася, который, конечно, слушал их разговор, вмешался и крикнул: «Приятель, кончай трепаться! Торт уже на столе!»

— Вася, да не мешай ты! — сказала она.— Вы слышите, он меня не отпустит.

— Ладно, я сам вас найду.

— Вы же не знаете, где я сейчас. А я не знаю, где буду вечером.

— Все равно я найду.

— Тогда ищите.— Она засмеялась.— До встречи!

Опустив телефонную трубку, Баженов задумался. В самом деле, где же она? Судя по номеру телефона, где-то в районе Арбата. Ехать туда и искать наугад — смешно и бессмысленно. Но надо же, думал он, надо же что-то делать. Он быстро свернул все дела в конторе, прикрыл свой кабинетик, пошел через лесок на шоссе и поймал там такси.

Спустя полчаса он бродил по Арбату, все ожидая, что вот еще несколько шагов, и он увидит ее где-ни-

будь на углу. Томясь, он заглядывал в магазины, в кафе, даже в троллейбусы, которые проезжали мимо. Не веря в чудо, он ждал его и даже взял два билета в кино.

Над Арбатом уже вечерело, закат остывал, потянуло прохладой. Но девушки не было. Да и быть, разумеется, не могло. Тогда он поехал туда, где стоял ее дом.

Пока он ехал, сгустились поздние сумерки. Сизая дымка окутала и переулочек, малознакомый Баженову. Дом Тони он узнал по ветвистому тополи, который запомнил вчера. Ее балкон был над топодем. Свет в окнах еще не горел. Лишь в темном проеме балконной двери смутно дрожало голубое сияние: кто-то там, в комнате, смотрел телевизор, — но она ли, Баженов не знал. Если она, думал он, то появится на балконе. А если не дома она, то придет, и тогда он, Баженов, увидит ее у подъезда.

Целый час он стоял и смотрел то на балкон, то в глубину переулочка, откуда она могла показаться. Наконец на балкон кто-то вышел, — нет, не она, а отец ее, в той же пижаме, что и вчера. Он вынес чайник и стал поливать цветы, делая это с удовольствием. Однако заметил кого-то с балкона и замер, забыв о цветах.

Тогда и Баженов увидел идущего переулочком какого-то парня и рядом с ним — девушку. Она была в коротенькой юбке и показалась ему невысокой. В сумерках он не узнал ее, ту, которую ждал, и только по легкой и быстрой походке он понял, что это она. О счастливичик, сказал он себе, ты все же нашел ее. И, остро сожалея об этом, он отступил под балкон, в тень ветвистого дерева.

Да, двое шли переулочком, шли к ней домой. А он-то ждал! Но чего? Что она до него, до вчерашнего дня, пребывала в безлюдной пустыне? Ведь и у нее была своя жизнь, и вот эта жизнь продолжается, и сейчас у него на глазах, не заметив его, она пройдет в свой подъезд — и не одна! — и опять, как вчера, по лестнице простучат ее каблуки, хлопнет дверь и все стихнет; а что будет в доме, за дверью, об этом, конечно, он никогда не узнает.

О счастливичик, лучше бы ты не искал! Сидел бы теперь в кино, пусть один, но не стоял бы, таясь, в полумраке под деревом, тоже один.

А двое шли к дому и были так близко, что он уже слышал их голоса.

— Жарко,— сказала она.

— А едем в Химки? Там искупаемся.

— Уже темно.

— Луна будет. Купальник с собой? Зайди домой и возьми.

— Если зайду, отец не отпустит. Скажет — поздно уже.

— А можно и без купальника.

— И при луне? Вася, я так еще не купалась.

— А пора бы, созрела. Картинка была бы — блеск! — сказал этот Вася, конечно тот самый, который купил ей любимый торт. — Ну, едем? — Вася достал сигарету.

Они были уже около дома, но в подъезд не вошли, а стояли у дерева, близко к Баженову.

— Нет, Вася,— сказала она,— я пойду. Спасибо, что проводил.

— И все? Вся любовь? — Вася обиделся.

Тут он увидел человека под деревом и попросил прикурить. Молча Баженов достал свою зажигалку. Острая струйка огня осветила лицо с бледноватыми скулами и русой бородкой. На того, кто давал прикурить, Вася не посмотрел. Но девушка, кажется, и в полутьме, в слабом свете газовой зажигалки узнала его и вся подалась, чтобы видеть поближе. Вася и этого не заметил. Прикурив, он спросил у нее:

— Ну так что?

— Я же сказала. Тем более что меня ждут.

— Кто? — Вася нахмурился.

— Да так, один человек,— улыбнулась она.

— А-а, тебя не поймешь. Сказала бы раньше, я бы сюда не тащился.

И рассердившийся Вася показал свой характер.

— С тобой только время терять! — крикнул он. — До тебя не доходит! — И пошел от нее.

Она засмеялась, посмотрев ему вслед, и сказала Баженову:

— Вы все же нашли меня, незнакомец. И как это вам удалось?

— Очень просто: я взял билеты в кино. Не пропадать же билетам.

— Тогда я зайду на минуту домой, переоденусь после работы.

— А если отец не отпустит?

— Вот еще, пусть только попробует.— Она взглянула вверх, на балкон: отца уже не было.— А знаете что, идемте ко мне. Ну да, вместе. При вас отец не посмеет не отпустить. Не бойтесь, он вежливый, ругаться не будет. К тому же он смотрит сейчас телевизор и, может быть, ничего не услышит,— войдем и уйдем.

Они поднялись к ней на этаж. Но когда, открыв дверь, обитую дерматином, вошли и оказались в прихожей, в тесной квартирке, где гремел телевизор, отец все же услышал и сразу окликнул из комнаты:

— Антонина! Откуда так поздно? Есть хочешь? Я чайник поставил. Пей чай.

— Увы, не удалось,— лукаво шепнула она Баженову. И громко сказала: — Папа, я не одна!

— А-а, Василий!— Отец что-то там проворчал, однако в прихожей не появился. .

Они поспешно прошли в Тонину комнатку.

— Папа решил,— засмеялась она,— что я с Васей, он видел его с балкона. Васю он знает, мы вместе работаем в клинике. Вася у нас лаборант. А я медсестра.

— А-а, вот какое у вас ремесло.

— Мне оно нравится. Но папа ворчит.— Открыв дверцу шкафа, Тоня скрылась за ней и скинула туфли.— Папа мечтает, что я буду врачом. Бр-р, еще пять лет зубрежки. Нет, пока мне хватит училища.

Голос ее приглушенно звучал в недрах старого шкафа. За шкафом виднелась тахта, покрытая пледом, и полка со всякими безделушками. Над тахтой висел портрет женщины: милое немолодое лицо с усталой и тихой улыбкой и большими глазами, в которых едва уловимо тлела печаль. У окна стоял столик, заваленный книгами.

— Я готова,— сказала она и появилась в легком ситцевом платьишке, ей, пожалуй, уже тесноватом: в нем она была как девчонка.— Ну идем, только тихо, чтобы он не услышал.

Но отец подждал их в дверях своей комнаты, высокий, худой, в полосатой пижаме и в тапочках.

— Ты куда? — спросил он у дочери.

— В кино,— сказала она.— На последний сеанс. Ну что ты так смотришь, я сразу вернусь.

— Что-то не верится.— Он в упор посмотрел на Баженова: — Каков добрый молодец.

— Здравствуйте,— сказал тот.

— Здравствуй, молодой человек. Дочка, ты бы хотя познакомила.

Надеясь, что все обойдется, она стала знакомить их и назвала имя отца: Илья Николаевич. Но, представляя Баженова, внезапно запнулась: еще не знала, как его звать. Он подсказал ей чуть слышно, и она, торопясь повторила. Отец, увы, все расслышал и понял. И хуже того, он не крикнул на дочь, а сказал очень тихо:

— Ты забыла, что обещала маме?

— Мама бы отпустила меня!

Тогда он молча махнул рукой — мол, делай как хочешь,— отступил к себе в комнату и плотно захлопнул дверь.

Дочь с обидой сказала:

— Ведь правда, мама меня отпускала. Она была добрая.

— Тот портрет в вашей комнате — это она?

— Да... Скоро год, как она умерла. Я обещала ей быть послушной отцу. С тех пор он как нянька. Не сводит глаз, будто я еще малый ребенок. Он и я — вот и все наше семейство.

Она прислушалась. За дверью, в отцовской комнате, было тихо, ни звука.

— Ладно,— сказала она через дверь,— не страдай, я не уйду, буду дома.

Тотчас за дверью все ожило, повеселело: успокоенно скрипнуло кресло, зашелестела газета и снова привычно забормотал телевизор.

— Кстати,— сказала она, утешая Баженова,— все равно мы в кино опоздали.

— Жаль, фильм хороший. А завтра?

— Нет, с утра я уеду на дачу. Обещала отцу подышать свежим воздухом. У меня есть отгул за дежурства, три дня.

— Целых три дня?

— Не огорчайтесь, вернусь. Я бы и вас пригласила, но на даче у нас запустение. Да и какая там дача — хибара, наследство от бабушки, того и гляди, вся



развалится. И ехать туда далеко. Папа ездит, а я там за лето почти не была.

Они прошли на балкон, Баженов достал сигарету и закурил. С балкона был виден весь переулок. За домами всходила оранжевая луна. В небе над крышами светились яркие звезды.

Внизу, под балконом, был тополь, знакомый Баженову: там он стоял, ожидая ее.

— А я это знала, — сказала она. — Я знала, что вы где-то ждете меня. В метро ли, на улице, дома. Все шла и смотрела по сторонам. Неужели, думала, ошибаюсь? И у самого дома вдруг уловила, что вы — где-то рядом. Со мной так бывает.

— Как? — спросил он.

— Если кто-то думает обо мне, я это чувствую. Даже могу иногда угадать, что он подумал. Это как-то само собой, не объяснишь. Я даже знала, что будет сегодня: что вы найдете меня. Иногда я знаю и это — то, что будет со мной.

— А с нами? — спросил он. — Что будет с нами, вы знаете?

Она вслушалась в эти слова и пытливо прищурилась: в самом деле всмотрелась в ту даль, где им быть; и, увидев там нечто, доступное ей, удивленно сказала:

— С нами? Все будет. Все!

Конечно, он знал: это только игра. И все же сразу в это поверил, в то, что у них будет все...

С дачи она вернулась уже через день и сразу, с вокзала, позвонила ему.

— А я удрала к тебе. Ну и будет мне от отца!

С того дня они больше не расставались. И было все, почти все: дожди, от которых они укрывались в полумраке подъездов, и шепот, и долгие провожания, и бледная темнота кинозалов, где им не верилось в то, что на свете, хотя бы однажды, хотя бы на киноэкране, случалась такая любовь, как у них.

Да, было все, почти все. А остальное в их жизни — бег дней, повседневность, работа, друзья и подружки, понедельники и субботы, — это все отступило куда-то, поблекло, слилось и осталось лишь тем полотном, на

котором они рисовали себе бесконечные, яркие, живые узоры той жизни, что для них вся еще впереди.

Так минуло лето, пришла и осень.

Однажды, в субботний вечер, он ждал ее около клиники. Было дождливо, в мокром асфальте все ярче блестели уличные огни.

Наконец она появилась: в плаще, с сумкой, заметно уставшая после дежурства, и все же легкая, быстрая, вся какая-то очень счастливая.

Он сказал ей об этом, и она засмеялась:

— Для полного счастья мне бы где-нибудь в теплом углу чашку крепкого кофе.

— Так мало? Идем!

Увы, но в дождливый, холодный вечер, к тому же в субботу, попасть в теплый угол, в кафе, оказалось не так-то легко, всюду было уже переполнено.

— А знаешь,— сказал он,— идем-ка ко мне.

— К тебе домой?

— Ведь ты у меня еще не была.

— Но я в таком виде, с дежурства. Что подумают обо мне твои родители?

— Их нет, они в театре и будут поздно. Никто, кроме меня, тебя не увидит.

Спустя час уже в теплом углу, в тихой, пустой квартире, Тоня скинула плащ и прошла в его комнату.

— Твой стол, твои книги,— узнавала она,— диван, на котором ты спишь. Все, как я представляла.

Пока она с любопытством осматривалась, трогала книги и всякие безделушки, Баженов вышел на кухню и сделал кофе. Когда он вернулся, Тоня стояла у книжной полки и смотрела на фотографию маленького мальчишки где-то под пальмой на морском берегу.

— Какой смешной человечек,— сказала она.— Это ты?

— Нет, мой племянник Ванюша. Сын Люси, моей сестры. Он тебе нравится?

— Симпатичный.— Она улыбнулась: — Что ж, у нас с тобой будет не хуже.

Он шагнул к ней и обнял — всем телом, и с силой, не так, как всегда. Она уловила, о чем он подумал, вся сжалась и напряглась.

— Нет, нет, ты не так меня понял.— Она шутила, а голос дрожал.

Не слушая и целуя ее, он расстегивал кофточку.

— Не надо,— шепнула она уже строже и отвела его руку.

— Ты же сказала: у нас будет все...

— Не здесь, не сейчас...

— Ты не бойся, никто не придет, мы одни.

— Все равно, тут все чужое, пойми, я еще не привыкла, только ты свой и близкий.— Тоня робко прижалась к нему.— Ведь я с тобой, я всегда буду с тобой, и у нас будет все, только дай мне привыкнуть, пожалуйста.

Не было в ней ни смущения, ни притворства, и ни в одном своем слове она не лукавила. И, уловив, что и он, веря ей, заставляет себя удержаться, помогла ему тем, что шепнула совсем об ином:

— Кофе уже остывает. Мне хотя бы глоточек. Можно, ты не обидишься?

Они стояли обнявшись, в комнате было темно, только в окно, сквозь капли дождя, сбегавшие по стеклу, падал свет уличных фонарей.

Вдруг в тишине где-то щелкнул замок.

— Ты слышишь? — сказала она.— Кто-то пришел.

— Не может быть, еще рано, они же в театре.

Но хлопнула дверь, и в прихожей послышались голоса.

— Странно,— сказал отец,— дверь не закрыта, а в квартире темно. Дима, ты дома?

— Тише, он не один,— вполголоса перебила мать,— тут чей-то плащ, кажется женский.

Было слышно, как мать и отец осторожно прошли мимо двери, и в квартире опять стало тихо.

— Ну вот, застали нас в темноте,— шепнула Тоня.— Зажги свет, мало ли что подумают. У тебя нет зеркала? Какая я? Наверное, вся растрепанная? Принеси, пожалуйста, мою сумку, она где-то в прихожей.

Он вышел из комнаты, а дверь оставил открытой. Услышав его шаги в прихожей, мать окликнула:

— Дима, у тебя гости? Ужинать будете?

— Да, мама.— Он знал, что и Тоня все слышит.— Мы с Тоней недавно пришли, еще ничего не ели.

Вернувшись, он отдал ей сумку.

— Ты все-таки хочешь меня показать? — Она достала из сумки расческу и зеркальце.— Такую лохматую, бледную, страшенькую. К тому же голодную. А вдруг я им не понравлюсь?

Отец уже ждал их за столом. Он был в том же синем парадном костюме, в котором пришел из театра, в той же белой рубашке и галстук, нарядный, седой, моложавый, с темным, плотным, не московским загаром: он строил дороги и месяцами работал в полях и лесах.

— Ну, сын, знакомь. Наверное, это та девушка-невидимка, которую ты уже много недель скрываешь от нас. Конечно, это она, смотри, как смутилась. Здравствуйте, Тоня,— и большое спасибо театру!

— За что же, Андрей Алексеевич? — Она улыбнулась.

— За то, что в театре теперь, как в кино, без антрактов. Отсидел два часа — и домой. И еще успеваешь застать у себя в гостях такую красивую девушку. Правда, при этом, конечно, подумаешь: вот, мол, когда она ходит к нам в гости,— когда мы не дома.

Оба они рассмеялись, и было в них что-то общее — легкость, искренность и открытость.

А мать, знакомясь с ней, смотрела пытливо: какая ты и за что тебя любит мой сын? Мать тоже была в своем самом красивом наряде, надетом в театр.

Празднично было и за столом, отец открыл бутылку вина. Все было не буднично, со значением, и Тоня, разумеется, знала, что все это — ради нее. За ужином она осмелела, освоилась, легко смеялась шуткам отца. Ему это нравилось, он рассказывал ей о смешном и забавном, случавшемся в их семье, с веселым намеком расхваливал сына и хвастался внуком, который хотя еще мал, но тоже растет настоящим Баженовым.

— Весь в меня, вылитый дед. Не верите? Дима, принеси-ка его фотографию.

— Я уже видела,— ответила Тоня.— На вас, Андрей Алексеевич, он похож, это правда.

— Понравился?

— Очень. Такой симпатичный мальчишка.

— У нас с тобой будет не хуже,— напомнил ей младший Баженов.— Ты же сама сегодня сказала.

— Ну, я еще подумаю.— Она чуть смутилась.

— Да что тут думать! — вскричал отец.— За вас, ребята! — Он поднял рюмку: — И за моего будущего внука,— за такого, как наш Ванюша. Может быть, даже лучше. Ребята, вы уж, пожалуйста, постарайтесь.

— Дед, ты совсем разошелся,— сказала мать.

— Дед? — Тоня заулыбалась.— Совсем не похож. Даже не верится, что у Димы такой молодой папа.

— Это почему же? — весело удивился отец.

— Вы же воевали, мне Дима рассказывал.

— Ну и что? Мне было тогда девятнадцать.

— Так когда это было — в сорок первом году. Мой папа тоже был на войне, а он мне всегда, еще с детства, казался немолодым. Я и вас представляла таким. Правда, он старше вас.

— А где воевал он?

— Не помню, где-то на фронте. Он не любит рассказывать. Говорит, все забыл.

— Все? Вряд ли. Так только кажется,— сказал отец.— Что-нибудь да осталось, я по себе знаю. Пишу вот кое-что о войне, ну вроде воспоминаний, и почему-то одно в самом деле совершенно забыл — и следа нет, а что-то другое вдруг вспомнится так, будто оно было не в мои девятнадцать, а только вчера. Так устроена память.

— И значит, так надо,— подхватил сын.— Надо, папа, надо,— сказал он с серьезностью.

Отец посмотрел на него и рассмеялся:

— Ладно, ребята, я понял. Я, кажется, заболтался, а у вас, конечно, свои дела.— Он взглянул на часы.— Да и мне пора, надо спать,— утром ехать в командировку. Машина придет часов в шесть.

— Завтра же воскресенье,— сказала Тоня.

— Надо, ребята, надо,— передразнил отец и взял свою рюмку.— Ну, как говорится, посошок на дорожку. Еще раз за вас и за внука. Или за внучку, за такую же, как ее мама.

— Спасибо, я обещаю,— сказала она смеясь.

Они простились с матерью и отцом, пожелав им покойной ночи, и ушли в его комнату.

И, едва прикрыв дверь, сразу поцеловались.

— Ну, мы осмелели,— со смехом сказала Тоня.— Вроде бы получили родительское благословение. Можем теперь, не боясь, целоваться с тобой в темноте. Хоть всю ночь, до утра.

— А ты оставайся...

— Нет, надо идти домой. Отец и так все ворчит, что я убегаю к тебе на свидания, а не готовлюсь в ин-

ститут. Знаешь, вчера он спросил, не собираюсь ли я, не дай бог, выйти замуж.

— Что ты ответила?

— Ну какой ты любопытный. Что надо, то и ответила. А пока я еще не твоя жена, а папина дочь и должна его слушаться. Надо, мой милый, надо,— тихо засмеялась она,— пока я не дома, отец не уснет.

Они оделись и поехали к ней. Было поздно, лил дождь.

В переулке, где жила Тоня, фонари уже не горели. Не было света и в окнах ее квартиры.

— Ах, да,— вспомнила Тоня,— отец говорил, что утром уедет на дачу — там нужно сделать какой-то ремонт. Поэтому рано лег спать.

Она достала из сумки ключи.

— Ну, и я пойду, Дима. Так устала, весь день на ногах. Зато завтра я буду спать до обеда. Приходи ко мне часа в три. Сходим куда-нибудь, потанцуем — да?

— Да,— сказал он, прощаясь...

На рассвете, сквозь сон, он услышал, как звякнул в прихожей короткий звонок: шофер пришел за отцом. Послышались тихие голоса, негромко щелкнул замок, и все стихло,— отец уехал в командировку. А он опять крепко уснул, в воскресенье он мог отоспаться, да и Тоня ждала его только днем.

И он еще спал, было раннее утро, когда вдруг она позвонила сама:

— Проснись, это я! Ты знаешь, отец еще с вечера уехал на дачу, а мы-то решили, что он уже спит. Я как вошла вчера в дом, зажгла свет и увидела на столе его записку, то сразу подумала...

— О чем?— спросил он.

— Так тебе все и скажи,— засмеялась она.— Послушай, а тебе не хочется съездить на дачу? Отец там затеял ремонт и просит ему кое-что привезти,— ну, краску, гвозди. Он все взять не смог. Хочешь, поедем вместе? А к обеду вернемся. Погода хорошая, я уже собралась. Ну, согласен?

— Уже одеваюсь!

Он быстро побрился, позавтракал, сказал матери, что вернется с Тоней к обеду, и поехал на Ярославский вокзал.

Тоня ждала его у билетных касс. Она была в брюках и куртке, с увесистым рюкзаком. Баженов взял рюкзак, и они торопясь пошли на перрон,— поезд уже отходил.

Ехали долго, более часа. Мелькали дачи, платформы, сады, на откосах дороги желтели березы. День был солнечный и сухой, однако холодный.

Сойдя на дачной платформе, уже по-осеннему безлюдной и тихой, они миновали деревянный вокзальчик, стоявший под старыми липами, и вышли в поле, на пыльный проселок.

Пустынное поле, желтое от стерни, просторно лежало под синим, высоким небом. Было тихо, светло и покойно.

За полем темнела сосновая рощица — дачный поселок. Туда и вела проселочная дорога.

В поселке, под соснами, было тенисто, пахло осенью, сырыми опавшими листьями, дымом костров. В садах дозревали яблоки.

Свернув в проулок, заросший травой, они подошли к деревянной калитке. За ветхим забором стоял домишко с верандой. За домом, в саду, за кустами смородины, виднелся какой-то сарайчик. Оттуда слышался звон пилы.

— Папа! — окликнула Тоня.

Звон затих, из-за сарая появился ее отец, с пилой в руках, в ватнике, в старой шляпе, натянутой на уши.

— А-а, наконец-то,— проворчал он, довольный.— Привет, молодежь. Гвозди привезли?

— Все тебе привезли, получай.

— Тогда я к вечеру и закончу.

Баженов скинул на землю тяжелый рюкзак:

— Илья Николаевич, вам помочь?

— Погоди, может, чаю хотите с дороги? Чайник там на плите.

— Чай потом.— Баженов взял пилу и попробовал пальцем: — Вроде бы острая.

— Смотри, понимает,— усмехнулся отец.— Ну, тогда за дело, молодой хозяин.

— Уже хозяин? — Тоня засмеялась.— Ладно, хозяева, вы пока поработайте, а я что-нибудь приготовлю к чаю и вас позову.

Тоня ушла в дом, а они стали пилить, подгонять и сколачивать доски — делать новую дверь для сарая. Навесив дверь, они взялись за крышу, которая протекала. И так трудились, прилежно и дружно, пока Тоня не вышла из дома и не крикнула им:

— Хозяева, кушать подано!

Не кончив дела, оставив на крыше сарая весь инструмент, они слезли на землю, умылись водой из колодца и направились к дому.

Вблизи этот домик выглядел бедновато, с ветхим крыльцом, с облупившейся краской. Только одно украшало его: клумба под окнами с очень яркими алыми астрами, пылавшими в темной траве.

В доме, в просторной комнате с печью, похожей на деревенскую избу, было тепло. На плите кипел чайник, на столе в чугунке вкусно дымилась отварная картошка, стояли тарелки с помидорами, колбасой, огурцами и прочей закуской, дачной и привозной.

Сели за стол. Илья Николаевич налил всем по рюмке водки, настоянной на пахучем смородиновом листе, и, уже закусывая, между прочим спросил, надолго ли они приехали.

— Нет, скоро уедем, — ответила Тоня. — Нас ждут к обеду.

— Кто же вас ждет?

— Моя мама, — ответил Баженов.

— А-а, у вас уже все по-семейному. А я-то не знал.

— Папа, ну что ты обиделся? Я сама только вчера познакомилась с ними. У Димы симпатичная мама. Да и отец еще молодой. Моложе тебя. И знаешь, он тоже был на войне, как и ты.

— Пора и нам познакомиться. Да и свадьбу вашу надо обговорить. Вы как хотите: по-скромному или пир на весь мир?

Тоня заулыбалась:

— Папа, но Дима еще моей руки у тебя не просил.

— Пусть просит, отказа не будет. Такому молодцу не жаль тебя отдавать. У тебя, кстати, какая будет фамилия?

— Как у мужа, конечно, — Баженова.

— Что? Баженова? — Ее отец, кажется, удивился.

— А что тут такого? — не поняла Тоня. — Была



Ивкина, стану Баженовой. По-моему, даже звучит: Антопина Баженова. Тебе разве не нравится?

Отец усмехнулся:

— Нет, почему же... Знакомая фамилия.— Помолчав, он встал из-за стола: — Ну, я пойду поработаю. А вы собирайтесь и поезжайте, вас уже ждут.

— Папа, а чай? — сказала Тоня.

— Что-то не хочется.— Он надел шляпу и ватник и вышел из комнаты.

Оставшись одни, они долго сидели и пили чай. Время у них еще было, и Тоня спросила:

— Хочешь, я покажу тебе свою комнату?

Из холодных сеней наверх вела узкая и скрипучая лестница. От нее пахло высохшим деревом. А комнатка под крышей, со скошенным потолком и полукруглым оконцем, казалась заброшенной. Обои потрескались, зеркало на стене запылилось, диван был покрыт пожелтевшими газетами. Из вазы, стоявшей на столике, торчали засохшие васильки.

Тоня огляделась и провела пальцем по запыленной столешнице.

— Надо бы прибрать и проветрить,— сказала она.— Ты не удивляйся, с тех пор как не стало мамы, я тут почти не бываю: одной мне одиноко.

Она откинула занавеску и распахнула окно. По-веяло хвоей и холодом. В окно были видны сосны, за ними лежало поле, желтое от стерни, и тянулся знакомый пыльный проселок. Еще подалее, за полем, виднелись вокзальчик и столбы железной дороги, уходящие вдаль.

А под самым окном росла ель и пламенели на клумбе большие и яркие алые астры.

— Любимые мамины цветы,— с грустью сказала Тоня.— Ее нет, но астры цветут.

За окном догорал закат, день угасал. Постояв у окна, они сошли вниз по скрипучей, расшатанной лестнице. Тоня стала укладывать рюкзак, а Баженов оделся и, закурив сигарету, вышел из дома.

Поодаль от крыльца неярко горел костерок. У огня стоял Тонин отец, весь в своих думах, и рассеянно бросал в костер сухие веточки.

— Вы уже все закончили? — спросил Баженов.

— Нет, устал и замерз. Да и кости ломит — к дождю, может быть.

— Да,— согласился Баженов,— у отца моего к непогоде все раны болят.

— Он ранен был?

— Еще бы, прошел всю войну.

— В пехоте?

— Нет, в артиллерии.

— А-а,— глухо протянул Илья Николаевич и, кажется, хотел что-то сказать Баженову.

Но не успел: па крыльцо вышла Тоня, готовая в путь, в куртке и с рюкзаком, и, взглянув на отца, сразу заметила в нем перемену.

— Папа, тебе нездоровится? Ты очень бледный. Может быть, простудился?

— Может быть,— вяло ответил Илья Николаевич.

— Ну вот, доработался,— рассердилась она.— Я же говорила тебе, не увлекайся, тут сыро и холодно. Хватит тебе работать, едем с нами домой, выпьешь чаю с малиной.

— Уехал бы,— сказал он устало,— да надо доделать крышу: дождь пойдет.

— Далась тебе эта крыша! Здоровье дороже.

— Да что тут спорить,— вмешался будущий зять.— Я останусь на час и все сделаю.

— Ну конечно, папа, он сделает, не беспокойся. Все равно на обед мы уже опоздали. А к ужину будем.

Отец зябко потянулся к огню.

— В самом деле, поеду, пожалуй,— пробормотал он.

— Тогда иди собирайся, успеешь на электричку...

Отец уехал. И, проводив его до калитки, Тоня вернулась в дом, а Баженов опять полез на крышу. Там все было так, как он оставлял: гвозди, доски и молоток. Взяв молоток, он с силой вогнал первый гвоздь — торопился закончить все засветло.

Уже смеркалось, солнце зашло, начинало темнеть. В доме засветились окна. Потом вышла Тоня и набрала из колодца ведро воды.

— Тебе темно, Дима? — спросила она и, возвращаясь в дом, где-то там щелкнула выключателем.

На столбе у сарая вспыхнула лампочка, стало светлей. Теперь можно было и не спешить, и Баженов стал тщательно подгонять доски.

Увлечшись работой, он не заметил, как минул час и другой,— а Тоня его не торопила,— и когда все закончил и пошел к дому, то было совсем темно. Из нижних окон свет падал на елку, которая росла около дома. Слабый, едва различимый свет теплился и наверху, в полукруглом окне мезонина, в Тонинной комнатке.

Он вошел в сени. Дверь в комнату с жарко натопленной печью стояла распахнутой, и в сенях было тепло.

В комнате на горячей плите кипел чайник. Баженов подхватил его и отставил в сторонку. Снял куртку, прислушался. В доме была тишина.

— Тоня! — окликнул он.

Она не отозвалась. Баженов вспомнил свет в ее комнате и, выйдя в сени, поднялся по узкой, скрипучей лестнице.

В комнатке под крышей горела свеча, в ней все изменилось, стало чистым и прибранным. На вымытых досках пола лежал коврик. В углу сияло до блеска протертое зеркало. Стоял слабый запах духов и каких-то сухих трав.

Диван был покрыт пледом, и на нем, уткнувшись в подушку, лежала Тоня. Казалось, она дремала. Услышав шаги Баженова, она шевельнулась. Он сел к ней на диван.

— Спишь?

— Сплю.

— А что ты видишь во сне?

— Красивое белое платье, которое я надену на свадьбу.

— Приятный сон, но надо уже просыпаться. Надо бежать на электричку.

— Не хочу просыпаться, не хочу никуда бежать.

— А если мы опоздаем?

— Ну и пусть,— шепнула она.— Ой какие у тебя холодные руки, дай, я их согрею. И губы холодные... Бедненький мой, холодный и голодный, ты по моей вине остался без маминого обеда. Ну идем вниз, я тебя покормлю.

Они спустились и сели за стол. Было тепло, в печке горел огонь. Они ели жареную картошку и пили чай. Потом Тоня спросила:

— Ты сыт?

— Сыт, пригрелся, и даже не хочется уходить.

Она как-то рассеянно улыбнулась:

— А зачем нам уходить? Нам и тут хорошо. Правда?

Сначала он не уловил, что таилось в ее словах, и с улыбкой ответил:

— Тут у нас рай в шалаше.

Тоня, взглянув на него, помолчала.

— Ты знаешь,— сказала она,— вот закрываю глаза, и опять все вокруг, словно в детстве: вечер, теплая печь, капли дождя за окном. Тут все свое, даже стены. Слышишь, как тихо? Свой дом, мы одни, и ни души вокруг. И никто к нам не войдет...— Она вдруг замолчала.

Но он уже понял и весь замер, боясь в это верить.

Она уловила, что он догадался, и взглянула открыто, уже не таясь:

— А рано утром уедем домой.

— Ну если так все сложилось...— сказал он в смятении и почему-то спросил: — А твой отец? Он будет ждать тебя.

— Он же знает, где я и с кем.

Все было сказано, все решено, но они все сидели возле теплой печи, у пылающего огня, молчаливые, робкие — не то чего-то боясь, не то еще ожидая — и почти не касались друг друга. Все было не так, как вчера, в его комнате, в темноте.

Наконец Тоня встала. Баженов взял сигарету и потянулся к огню. Но Тоня обняла его и шепнула:

— Пожалуйста, покури на крыльце.

Набросив куртку, он вышел и на крыльце закурил. Было тихо, темно. Дождь перестал, похолодало, в небе мерцали звезды. Выходила луна, ее свет разливался за темными соснами.

На соседней даче одиноко светился огонек. Слышно было, как вдалеке, затихая, прошла электричка — кажется, из Москвы.

Покурив, он прислушался. В доме скрипнула лестница, стукнула дверь, и все стихло. Тогда он вошел в

сени. За дверью, в комнате, слышался плеск воды,— Тоня была там.

— Иди наверх,— шепнула она из-за двери.

В полутьме он поднялся в ее комнатушку. У постели, белевшей подушками, горела свеча. Он разделся и лег. От холодной и чистой простыни пахло какими-то травами.

Над самой его головой нависал скошенный потолок. В полукруглом оконце висела луна.

Было так тихо, что в этой бездонной, глухой тишине он отчетливо слышал даже самые слабые шорохи, которые долетали к нему из той комнаты, снизу, от Тони. И каждый звук для него полон был тайны и ожидания, пока наконец на лестнице не послышались ее легкие шаги.

Она вошла и, войдя, чуть помедлив, несмело погасила свечу. И уже в темноте он ясно услышал и шорох падающей одежды...

С той ночи прошел еще месяц. Не за горами была и свадьба, и пора было им познакомиться родителей. Случилось это в воскресный день. Отец Баженова уже вернулся из поездки и был дома, в Москве; но в понедельник он должен был снова уехать в командировку и поэтому решил, не откладывая, пригласить к себе Тониного отца. Тот согласился.

Гостя ждали в семь вечера. Когда он пришел вместе с Тоней, отца еще не было дома: днем он доехал к внуку, к Ванюше, и, задержавшись там, позвонил, что чуть опоздает.

Дверь гостям открыл сам Баженов; потом к ним в переднюю вышла мать, и, знакомясь с ней, Тонин отец, от волнения бледный, церемонно поднес ей огромный букет цветов, завернутый в целлофан.

— Это вам, Лариса Васильевна,— сказал он.

— О-о! — улыбнулась она.— Какие цветы, какой прекрасный букет! Спасибо, Илья Николаевич. Проходите, пожалуйста, в комнату. Муж звонил, просил извинить, он скоро будет. Дима, проводи наших гостей и поставь в вазу эти цветы.

— А можно, я их поставлю? — сказала Тоня.

— Конечно, Тонечка,— ответила мать и, уходя из

кухню, отдала ей цветы.— Ваза там, в комнате, ты увидишь.

Стол в комнате, накрытый белой скатертью, уже был готов для парадного ужина. Украсила стол и красивая ваза, в которую Тоня опустила цветы, свои алые астры.

— Дима, ты узнаешь? — тихо спросила она.— Это те самые астры, любимые мамины цветы. Папа ездил сегодня за ними на дачу. Для него они, я думаю, как память о маме, как талисман. Знаешь, он ничего не говорит, но мне кажется, он почему-то очень волнуется за меня.

Ее отец сидел на диване, курил сигарету, хотя обычно он не курил, и безразлично листал какой-то журнал.

— Папа, ну что ты грустишь, как невеста перед венцом? — сказала Тоня, стараясь его развеселить.— Кто выходит замуж, ты или я?

— Ты, дочка.— С виноватой улыбкой он стал гасить сигарету. Но внезапно прислушался: в прихожей хлопнула дверь и послышался громкий голос: «Я вижу, гости уже приехали!» И, забыв о сигарете, тлевшей в его руке, Тонин отец вслушался в голос Баженова-старшего.

Тот вошел в комнату, веселый и оживленный, и мимоходом, по-родственному чмокнул в щеку свою будущую невестку.

— Ну, Тонечка, знакомь нас. Здравствуйте, Илья Николаевич. Рад видеть вас в моем доме.

Отец, кажется, не замечал, с какой обостренностью, весь напряженный, бледный, Тонин отец вглядывался в его лицо.

— Извините, Илья Николаевич,— продолжал он,— я опоздал. Задержался у внука, хотел перед отъездом побыть с ним, сорванцом. Ну, скажу я вам, растет мой Иван. Весь в меня, как две капли воды. Маленький, а уже человечек, начинает соображать. Иногда такое спросит, не знаешь, как отвечать.— Отец рассмеялся.— И знаете, Илья Николаевич, ваша дочь и мой сын говорят, что у них потомок будет не хуже. Весьма ответственное и, я бы сказал, ко многому обязывающее заявление. Что ж, поддержим их в этом благородном деле. Сядем за стол да и обсудим все по-родительски. Прошу вас, садитесь, Илья Николаевич, и ты,

Тоня. О-о, какие у нас красивые цветы! Откуда они? Неужели и это все им, молодым?

— Нет,— ответила мать,— это мне, от Ильи Николаевича.

Но и за столом Тонин отец был все как-то скован, непросто, больше молчал, чем говорил, и, думая о чем-то своем, отвечал иногда так рассеянно и невпопад, что дочь поглядывала на него с удивлением. А гостеприимный хозяин, очевидно решив, что таков уж у гостя характер, не склонный к легким беседам, сам умело вел их застолье.

И постепенно Илья Николаевич, выпив и закусив, чуть привык и освоился, даже стал улыбаться и вошел в разговор.

— Да,— сказал он,— годы летят.

Разговор у отцов шел о том, что бег времени неумолим. Давно ли, казалось бы, они сами были юнцами, воевали, учились, влюблялись; но, как говорится, не успели и оглянуться, как пришла им пора нянчить внуков.

— Дима,— сказал отец,— ты только представь себе, даже после войны — а я протопал ее от звонка до звонка — я был еще совсем молодым человеком. Я был моложе тебя, сынок. Да и вы, Илья Николаевич, хотя вы, кажется, старше меня, в войну ходили еще в молодых. Вы где ее начинали?

Гость ответил не сразу.

— Под Выборгом,— сказал он, помолчав.

— В сорок первом? Я тоже там воевал. Вот так встреча у нас, Илья Николаевич! — воскликнул отец.

И с этой минуты все началось.

Да, сказал гость, он был там в августе сорок первого, в дни отступления. А вот в какой части служил, не запомнил, пробыл в ней только неделю и, раненный, попал в плен. Помедлив, подумав, наверное вспомнив те черные дни своей жизни, он сказал, что служил в артиллерии.

В свою очередь помолчал и подумал отец, тоже, кажется, вспомнил тот август под Выборгом.

— А знаете, Илья Николаевич,— сказал он,— мне ваша фамилия напомнила один случай. Я вот пишу кое-что о войне, ну, вроде солдатских мемуаров, и есть там у меня описание одного боя под Выборгом, очень

памятного для меня. Я ведь тоже был артиллеристом, и тогда, в августе, мы прикрывали свою дивизию, отступавшую в сторону Ленинграда. Бой был страшный, кровавый. Пушки наши стояли у самого шоссе и били по танкам прямой наводкой. А обойти нас они не могли: слева болото, справа озеро. Дима, ты видел то место, помнишь?

— Я даже помню название озера — Суоярви. Там вся земля изрыта воронками.

— Еще бы! — сказал отец. — Для нас они снарядов не пожалели. Мы были им как кость в горле — ни туда ни сюда, а танки их уже горели. Но и у нас на батарее были все уже перебиты — кто мертв, кто ранен. Ну и остались мы у пушки вдвоем — я да заряжающий по фамилии Ивкин. Его фамилию я запомнил. Однофамилец ваш, Илья Николаевич.

Тот молча кивнул.

— Помню, я крикнул этому Ивкину: «Снаряды давай!» Я его мало знал, он у нас на батарее был недавно. А ведь в бою человек раскрывался за минуты...

Гость перебил:

— Вы и о нем, об Ивкине, написали в своих мемуарах?

— Нет, — ответил отец. — Да и стоит ли? Не героический эпизод. Что было, то было, но об этом не хочется, не принято вспоминать. Тем более что с того дня я этого Ивкина никогда не встречал, не знаю, жив ли он.

— Жив, — вдруг тихо и твердо сказал Илья Николаевич.

И за столом еще не успели ничего понять, а отец, побледневший, весь подался к Илье Николаевичу и в потрясении, не веря глазам, всмотрелся в его лицо:

— Вы?..

— Я... — Он встал и, ожидая чего-то, весь замер.

— Жив?

— Как видите, Андрей Алексеевич.

Младший Баженов, вскочив, крикнул было: «Так вы знакомы!», но отец остановил его взмахом руки, он, кажется, сам еще в это не верил.

— Встретил бы вас на улице. не узнал бы, — сказал он негромко, вглядываясь в Тониного отца.



Гость с усилием улыбнулся:

— Да и вы, Андрей Алексеевич, изменились. Я помню вас юношей. Я ведь тоже вашу фамилию не забыл — крепко врезалась в память.

— И шли ко мне, зная, кто я?

— Я не был уверен в этом.

— Иначе бы не пришли?

— Все равно бы, — произнес гость, — нам от этого не уйти. Что было, то было да быльем поросло. А жизнь продолжается, и встретились мы не ради себя, ради наших детей. Вот за это и выпьем, Андрей Алексеевич, за молодых, за их счастье. — Он решительно взял свою рюмку.

Хмурый, отец не ответил ему. И рука Ильи Николаевича так и осталась висеть в пустоте. Помедлив, он сел, тихо поставил рюмку, полную до краев, и пальцем задумчиво, с осторожностью, стараясь не расплескать, отодвинул ее от себя.

Все замерли, ощутив холодок внезапной беды, а мать с тревогой сказала:

— Ну хватит воспоминаний. У вас еще будет время об этом поговорить. О детях надо подумать. У вас своя была жизнь, у них — своя.

Отец усмехнулся:

— Сынок, а в самом деле, что вам до того, что случилось когда-то, в сорок первом году? У вас своя жизнь. Идите, ребята, к себе, потанцуйте, побудьте вдвоем. А мы тут по-родственному поговорим — о вашей свадьбе, о внуках, которых нам теперь нянчить вместе.

Не глядя на гостя, отец взял бутылку и с размаху, щедрой струей налил себе полную рюмку, так, что вино расплескалось на белую скатерть.

Мать промолчала: зная своего мужа, она уже и не пыталась его остановить.

— Дима, — сказала она, — вам, молодым, в самом деле с нами неинтересно. Идите пока к себе, ну, потанцуйте там, да и подумайте, кстати, кого вы пригласите на свадьбу.

— Хорошо, — ответила Тоня, — мы пока сделаем чай.

Илья Николаевич не сказал ни слова. Он снова молчал, но уже не казался, как прежде, неловким и скованным, нет, был он собран и весь насторожен.

Они вышли из комнаты, и за ними сразу же плотно прикрыли дверь.

На кухне Баженов поставил чайник, а Тоня присела к столу и задумалась.

— Странно,— произнесла она,— они были знакомы, но папа мне об этом не говорил. Ты знаешь, сегодня он вдруг не захотел ехать к вам, сказал, что нездоров, что взял уже отпуск и завтра уедет к сестре в Ярославль. Я едва его уговорила. Весь день он был сам не свой,— я думала, переживает за меня. Он же всегда говорил, что замуж мне рано, а надо кончать институт.

Тоня прислушалась к голосам, долетавшим из комнаты. Баженов тоже тревожился, хотя перед Тоней он вел себя так, будто там, в комнате, ничего не случилось.

Внезапно к ним в кухню, вся в слезах, вошла мать:

— Дима, останови его!

— Что с тобой, мама? — Впрочем, он мог бы не спрашивать: он уже понял и знал, что случилось.

— Сынок, останови его! Бог знает, что он там говорит. С ним будет плохо. У него же больное сердце!

— Мама, не плачь!

— Лариса Васильевна, милая, успокойтесь, все обойдется.— Тоня, торопясь, налила ей стакан воды.— Пожалуйста, выпейте.

— Ты побудь с мамой,— шепнул ей Баженов.— А я пойду к ним.

Он вышел из кухни и еще в коридоре, сквозь полуоткрытую дверь, услышал громкий и гневный голос отца:

— ...Они все легли там, у озера! Все там остались. Никто не отступил. Кроме тебя — никто!

— А ты? — крикнул гость.— Ты тоже жив!

— Видит бог, я в этом не виноват. Да, я жив, а ты не знал? Жив я, тебе на беду!

Торопливо войдя, Баженов увидел, что в комнате дымно, накурено, стол в беспорядке, гость угрюмо стоит у окна, а отец, очень бледный и, кажется, пьяный, уже без пиджака, стучит кулаком по столу:

— Ивкин, зачем ты пришел ко мне? Думал, что я все забыл, что я тебя не узнаю? А если узнаю, породственному прощу? Нет, все помню!

— Папа! — крикнул Баженов. — Да объясни же ты наконец, что у вас происходит!

— А-а, Дима, ты здесь. — Увидев сына и чуть успокоясь, отец зло усмехнулся: — А ты спроси у него, у Ильи Николаевича, что было тогда, в сорок первом, у озера? Пусть он сам все расскажет, если, конечно, захочет.

Гость у окна обернулся:

— То касается только меня!

— Нет, Ивкин. То касается всех: и тех, мертвых, и нас, живых, и детей наших, и даже тех, кто еще не родился, внука нашего, Ивкин: ведь мне его нянчить вместе с тобой, — одна будет, общая кровь, твоя и моя...

И тут в дверях появились Тоня и мать, обе в слезах. Но отец их не увидел — он не способен был видеть кого-либо, кроме этого человека, стоявшего у окна, — и, задыхаясь, бросил ему в лицо:

— Да *твоего* внука я даже на руки не возьму!

Никогда в жизни Баженов не видел отца таким.

— Отец, остановись! — крикнул он.

— Андрей Алексеевич! — гневно сказала Тоня. — Вы не имеете права так говорить о моем отце!

В комнате стало тихо, слышалось только тяжелое, прерывистое дыхание отца.

— Нет, Тоня, имею, — произнес он. — Хотя бы от имени тех, кто остался под Выборгом. — Он взял со стола вазу с цветами. — Тоня, ты посмотри, какой щедрый букет принес сюда твой отец — не поскупился. А ты спроси у него: он когда-нибудь положил хотя бы один цветок на ту братскую могилу у озера?

Молчавший Илья Николаевич вдруг резко и властно сказал своей дочери:

— Антонина, довольно, едем домой!

— А-а, Ивкин, уходишь. — Усмехнувшись, с вазой в руках, отец по-пьяному встал из-за стола. — А то давай, выясним все до конца. Не желаешь? Что ж, тогда скатертью тебе дорожка, родственник. Да и цветочки свои захвати, чтобы духу твоего тут не было!

Илья Николаевич подошел к своей дочери и взял ее за руку. Но Тоня шепнула ему сквозь слезы, так тихо, что никто, кажется, кроме Баженова, стоявшего рядом, ее не услышал:

— Папа, можно, я не уйду?

И так же тихо, только для дочери, Илья Николаевич сказал ей:

— Опять ты забыла, что обещала маме?

И, плача, Тоня покорно дала увести себя из комнаты. Когда же Баженов, сказав своему родителю несколько злых, неприятных, несправедливых слов, бросился вслед за ней, Тоня стояла в прихожей, растерянная, в пальто, а Илья Николаевич, непреклонный, одетый, уже ждал ее у распахнутой настееж двери.

— Дима! — Тоня снова заплакала и ткнулась ему в плечо.

Баженов обнял ее и шепотом стал успокаивать: мол, не уходи, все обойдется, мол, тут, конечно, ошибка, отец просто пьян и все перепутал; да и вообще, что им, молодым, до этих старых распрей между отцами, пусть сами во всем разбираются.

И Тоня, кажется, впрямь в это поверила, чуть успокоилась и затихла, только всхлипывала, как ребенок. Продолжая ее уговаривать, он снял с нее шарф и расстегнул пуговицы на пальто,— все шло к тому, что она не уедет домой, а останется и они вместе, вдвоем уйдут в его комнату.

Даже мрачный Илья Николаевич, ожидая Тоню, не решался ее окликнуть: казалось, он уже колебался и готов был уйти и оставить свою дочь наедине с ее будущим мужем.

И может быть, все бы и обошлось, если бы вдруг в прихожую не вошел отец. Бледный, с пьяными, бешеными глазами, с вазой в руках, из которой торчали цветы, он молча шагнул мимо них, молодых, в открытую дверь, за порог, мимо Ильи Николаевича, на лестничную площадку. И там, откинув с грохотом крышку мусоропровода, выхватил из вазы алые астры. С цветов стекала вода.

— Что вы делаете! — вскрикнула Тоня.— Это же мамины цветы!

Но было поздно! Своей сильной, большой рукой он с хрустом сломал, раздавил, скомкал стебли и лепестки, превратив их в бесформенный ком, и швырнул в пасть мусоропровода. Лишь один алый цветок, уцелев, упал на пол.

— Даже вазу мне опоганил! — Он и ее бросил

вслед за цветами, и слышно было, как хрустальная ваза летела вниз, стучаясь в бетонной трубе и со звоном разлетаясь вдребезги.

— Вот так-то, Ивкин! — Он ногой отшвырнул упавший цветок, рванул на себе тугой воротник рубашки и, покачнувшись, шагнул обратно через порог.

И едва Тоня успела поднять помятый цветок, Илья Николаевич схватил ее за руку, что-то крикнул ей, злое и резкое, и с силой повлек за собой, вниз по лестнице.

А то, что было потом, длилось секунды. С шарфом Тони в руке Баженов бросился было за ней, пытаясь остановить ее и вернуть, как сверху услышал отчаянный крик матери:

— Дима, сынок! Помоги!

Боль и страх в ее зове были так велики, что он, замерев на мгновение, и уже догадавшись, что там случилось, метнулся обратно по лестнице, прыгая через ступеньки.

Отец в прихожей был еще на ногах: задыхаясь, хрипя, он цеплялся за стену, а мать, напрягаясь, не давала ему упасть. Но силы ее были слишком слабы, и грузное тело отца уже беспомощно оседало, когда Баженов, вбежав, успел принять его на себя.

Лицо у отца было совсем меловым. Последним усилием он сделал два-три шага до комнаты и там лег на диван.

В комнате было накурено, мать тотчас открыла окно, сняла с отца галстук и расстегнула ему рубашку. Да и сын уже знал, что нужно делать, опрометью метнулся в спальню, взял из тумбочки знакомый пузырек и в чашку с водой осторожно накапал лекарство с холодноватым запахом мяты.

Только после того, как отец выпил лекарство, лег и затих, Баженов быстро вышел в прихожую. И, не одеваясь, с шарфом Тони, сбежал вниз по лестнице.

В подъезде и около дома было безлюдно: Тоня ушла, не дождавшись его. На пустынной улице, у Никитских ворот, светились одинокие фонари, неслышно падал снег.

Тогда он поспешно вернулся домой. За дверью, в комнате, было тихо: отец, вероятно, уснул. Торопясь, Баженов стал одеваться и уже схватил свою шапку, как из комнаты вышла мать и бесшумно прикрыла за

собой дверь. Увидев сына в пальто и, разумеется, все сразу поняв, она с мольбой шепнула ему:

— Ты уходишь? А если отцу станет хуже? Что я смогу тут одна, без тебя?

Он бросил шапку обратно на вешалку:

— Папа спит?

— Нет, хотя ему теперь лучше. Он спросил, где Тоня и ты. Зайди к нему, покажись, ему это нужно.

Он вошел, в комнате было свежо от морозного воздуха. Отец лежал, укрытый теплым одеялом.

— Дима, ты?— спросил он, не открывая глаз.

— Я здесь, папа.

— А Тоня? Она ушла?

— Она вернется, папа.

— Не уверен... Я сказал при ней лишнее. Прости меня, сынок. Я не хотел ее обидеть. Кажется, я сорвался. Но виноват ли я? Ты бы понял меня, если бы знал, что случилось тогда, в том бою...

— Не надо, отец, не рассказывай. Опять все вспомнишь и будешь волноваться, а тебе это нельзя. Завтра расскажешь.

— Завтра? Не успею, сынок. Машина придет за мной в шесть утра, ты еще будешь спать.

— Ладно, об этом потом. А теперь тебе лучше уснуть. Если ты не отдохнешь, завтра не сможешь поехать.

— Пожалуй, ты прав.

— Тебе дать еще валидол?

— Нет, я так, сам.— Отец вытянулся под одеялом: всегда, еще с фронта, он больше верил в себя, чем в лекарства. — А ты идешь сейчас к Тоне? — спросил он с надеждой.

— Нет, — ответил Баженов, — уже поздно, двенадцатый час.— Как будто столь позднее время для него в самом деле играло какую-то роль.

Но отец сделал вид, что поверил:

— Да, поздновато. Ты иди, ложись спать, тебе рано вставать на работу. Спокойной ночи, сынок.

— Спокойной ночи, отец.— Он вышел из комнаты.

В кухне горел еще яркий, праздничный свет. Он подошел к окну: ночь, темень, снег, зарево над Арбатом, огни в домах. Где-то там и знакомый заснежен-

ный переулок, Тонин дом и ее окно. Она, конечно, стоит у окна и ждет, веря, что вот-вот, еще через минуту, он, как всегда, появится в переулке.

Увы, этой ночью он не придет...

Спал он с тревогой и проснулся затемно оттого, что в прихожей звякнул звонок. В прихожую, кажется, вошел шофер, взял вещи и, уходя, негромко щелкнул дверным замком. Все было обычно: отец уезжал в командировку; минут через десять и он уходил к машине, и в доме опять наступала сонная тишина.

Но на этот раз отец не ушел, он сидел на кухне и ждал, вероятно, пока проснется сын: не хотел уезжать, не доказав свою правоту.

Ждал он недолго: сын тоже проснулся и встал раньше времени. Однако не для того, чтобы узнать от отца, что случилось в бою сорок первого года и в чем вина Тонинного отца; нет, для того, чтобы выйти из дома пораньше и еще до работы увидиться с Тоней.

Умывшись, уже одетый, сунув в карман Тонин шарф, он появился на кухне. Отец сидел у стола с чашкой кофе, бледный, вялый, не отдохнувший за эту ночь. Да и мать, с ее заплаканными глазами, выглядела не лучше.

— Сынок, — сказала она, — что так рано?

— Да так, мама, надо.

— Тогда садись завтракать.

Отец хмуро молчал: не знал, как начать разговор, или не хотел говорить при матери. Перед ним стоял термос с чаем и лежали пакеты с едой, приготовленные в дорогу. Путь ему был неблизкий: машиной за Вологду, в северные леса.

— Папа, — сказал Баженов, — а может, тебе не ехать? Ты же еще нездоров.

— Нет, меня ждут, у меня документация.

— Так пошли ее с шофером.

— Все равно без меня не разберутся.

— А может, разберутся и без тебя, отец? — Сын усмехнулся. — Может, зря ты все так усложняешь?

Он не хотел, но вышло с намеком. Хотели они или нет, а разговор у них уже начался. О чем бы сейчас они ни заговорили, все имело свой затаенный смысл.

И отец это понял, ответив ему, что ехать все же придется и что если он, Дима, куда-то торопится, то может досхать с ним до метро. Мол, сынок, в машине поговорим, без матери.

Но и мать, конечно, все понимала. Уже в прихожей, провожая отца и взяв с него слово сразу же после приезда позвонить им домой, она и сыну украдкой шепнула:

— Пожалей его, не растравляй разговорами: он ночь не спал, а ему еще ехать весь день.

И все же избежать разговора не удалось. Когда они вышли из дома в рассветную морозную мглу, скупо освещенную фонарями, и сели в машину, отец спросил у сына, куда его подвезти. Тот назвал улицу, и отец сразу понял, куда он торопится.

— Ты к ней? Скажи ей, что перед ней я виноват и очень прошу простить меня, дурака. Скажи ей обо мне, что захочешь, сынок, ругай меня, идиота, только пусть между вами все будет, как было.

— Как было, не будет, я ее знаю,— ответил Баженов.

— Но она же не виновата, что этот Ивкин — ее отец.

— А его вина в чем? Ты сам вчера хотел мне рассказать.

— Знаешь, я всю ночь думал об этом: имею ли право открыть вам, молодым, открыть дочери то, что столько лет скрывает ее отец?

— И что ты решил?

— Нет, ни рассказывать вам, ни писать о нем в воспоминаниях я не буду. Не хочу, чтобы это помешало вам, тебе и Тоне. Пусть он, Ивкин, сам все расскажет, если захочет, конечно.

— А может, и тут ты усложняешь, отец? Может, вина его, если вдуматься здраво, не так уж и велика, как тебе кажется.

— Кажется? — переспросил отец.

— Да, вспомни, вчера ты был вне себя и все рвался его изобличить. А ночью, подумав, остыл и уже не хочешь сказать о нем ни одного слова. Когда же ты был прав — вчера или сегодня?

— И вчера, сынок, и сегодня.

— Нет, отец, вчера ты был там, в сорок первом, в



бою, и снова все пережил,— как тогда, в свои девятнадцать лет. Но вот вернулся оттуда и на все посмотрел иными, сегодняшними глазами. А это, я думаю, немалая разница. Ведь столько лет прошло, и все изменилось.

— Сынок, ты прав, все меняется. Но истина — она остается. Вчера, сегодня, завтра, расскажу я о ней или нет, она оттого не изменится.

— И все-таки ты подумай.

— Ладно, Дима.— Отец усмехнулся.— Буду ехать и думать. У меня впереди целый день. И вечером тебе позвоню. А ты все-таки передай Тоне...

— Передам,— ответил он, уже выходя из машины.— Ну пока, счастливо тебе доехать.

Отец уехал, а он постоял на углу, закурил и переулком пошел к дому Тони. И все смотрел, не идет ли она навстречу. Было уже почти семь, начинало светать, и, если Тоня дежурит с утра, она обычно в эти минуты спешит переулком к метро.

Не встретив Тонию и подойдя к ее дому, он увидел, что свет в ее комнате не горит; но она, кажется, еще дома: свет был на кухне, за балконным окном.

Он поднялся по лестнице к двери с «глазком», обитой коричневым дерматином, и, прислушавшись, дал короткий звонок. За дверью послышались чьи-то шаги. Потом бесшумно блеснул «глазок»: кто-то в упор смотрел на Баженова. Однако дверь не открывал. И лишь тогда, когда он опять было потянулся к звонку, тихо щелкнул замок, дверь чуть приоткрылась и показался Илья Николаевич: в халате, небритый, какой-то весь постаревший за одну эту ночь.

— А-а, это ты,— пробормотал он.— Все-таки ты пришел. Ну что тебе надо?

Баженов, сдержавшись, спросил у него, дома ли Тоня.

— Спит она, только уснула. Всю ночь ждала тебя.

— Не мог я, отцу было плохо.

— А ей — хорошо? Всю ночь не сомкнула глаз. Не знаю, что было бы с ней, если бы не я.

Из глубины квартиры к ним вдруг донеслось: «Папа, кто это?» Голос у Тони был слабый, усталый, почти больной.

— Спи, это сосед,— ответил Илья Николаевич.— Спи, Антонина. На дежурство тебя разбужу.

Тогда Баженов отдал ему Тонин шарф и шепнул, что днем позвонит ей в клинику. На что тот сказал так же тихо, но зло:

— Послушай, не звони ты ей. Оставь ты ее в покое. Все равно ничего у вас не получится, неужели ты сам не понимаешь? Или тебе объяснить? Открой глаза! Ну была любовь, да все кончилось. И довольно! Не ходи ты к ней и не звони!

И не успел Баженов сказать и слова, как дверь перед ним закрылась, щелкнул замок и все стихло.

Постояв перед дверью, подумав и решив пока не обострять отношений с Ильей Николаевичем, он спустился по лестнице и пошел переулком обратно к метро...

Через час он был уже у себя, на стройплощадке, в своей тесной, прокуренной и жарко натопленной комнатухе, где его уже ждали дела и заботы: год кончался, а план отставал.

И с этой минуты у него, к счастью, не было времени думать о том, что случилось, хотя совсем он об этом не забывал и боль мучительно тлела в нем, заставляя то и дело поглядывать на часы.

После обеда он наконец позвонил Тоне в клинику. И узнал, что она на дежурство не вышла. «Заболе-ла»,— сказали ему.

Кое-как он дотянул до конца рабочего дня, и сразу поехал к Тоне домой. В окне ее комнаты, за шторами, теплился слабый свет. У знакомой двери он позвонил. Ему открыли тотчас же, без колебаний.

На пороге стоял Илья Николаевич: он был выбрит и в белой рубашке, свеж и бодр. Да и говорил он уверенней, тверже, чем утром.

— А-а, опять ты. Я же сказал тебе — не приходи.

— Тоня больна? Я должен сказать ей...

— Вот когда она позвонит тебе, тогда и скажешь.

— Нет, сейчас. Отец просил передать ей...

— Твой отец? — оборвал Илья Николаевич.— Представляю, что он наговорил обо мне — что было и чего не было.

— Нет, мне он ничего не сказал. Сказал только: пусть сам все расскажет, если, конечно, захочет.

— А если не захочу? — Он усмехнулся. — Впрочем, согласен: то был не героический эпизод. Что было, то было. Но я за все уже заплатил, и цену немалую, и не хочу больше ни вспоминать, ни рассказывать. Самая убедительная наука, молодой человек, это та, которую познаешь на своей собственной шкуре. Не дай бог опять вспомнить. Так что шкатулка заперта, а ключик брошен в море!

Он даже повысил голос, хотя и без того говорил очень громко, на всю квартиру, и Тоня, конечно, слышала каждое его слово.

— Ну а если расскажу я тебе, что изменится? Для меня ты уже чужой. Что отец, что сын — одна кровь.

— Разве я за отца отвечаю?

— Да пойми ты, пока я верил в тебя, я вам с Тоней никак не мешал. Но если так все случилось, если я в том виноват, я сам позабочусь о ней. Все равно у вас жизни не будет. Разводятся даже из-за ерунды, из-за того, что она не умеет варить щи, а он не хочет стирать пеленки. А у вас уже сразу такая глубокая трещина — и на всю жизнь. Ни ты, ни она никогда этого не забудете. Да и отец твой не даст вам забыть. Ты же знаешь ее, она все почувствует, даже без слов. И когда-нибудь, даже из-за пустяка, все это вырвется и разбросает вас в разные стороны. Слава богу, Тоня это уже поняла.

— Это вы ей внушили!

— Нет, ты сам виноват. Ты — а не я — этой ночью оставил ее одну. И она дала слово забыть о тебе.

— Пусть она мне сама это скажет!

— Она даже не хочет видеть тебя. — Он сказал это громко и очень уверенно. — Уж лучше Вася, чем ты. С ним ей будет спокойней. Так что иди отсюда, молодой человек, и забудь о ней.

А чтобы у этого молодого человека не оставалось надежды и никаких сомнений в отцовской уверенности, Илья Николаевич преспокойно взял ключ и стал спускаться по лестнице к почтовому ящичку, оставив Баженова у распахнутой двери: я, мол, уверен, что ты не войдешь, а если войдешь к моей дочери, то и от нее ты услышишь те же слова.

Не зная, что делать, Баженов вслушался: Тоня, кажется, плакала; она была там, за порогом, за дверью, в своей комнатушке.

Пока Илья Николаевич гремел крышкой почтового ящика, Баженов еще колесбался. Но когда тот уже поднимался по лестнице с газетой в руках и готов был закрыть за собой эту дверь с тюремным «глазком», Баженов шагнул за порог и, быстро пройдя коридорчиком, толкнул дверь Тонинной комнаты.

В комнате был полумрак, остро пахло лекарством. Тоня лежала в постели и плакала, уткнувшись в подушку. Баженов вошел, она обернулась, и у него сжалось сердце: так она стала похожа на свою мать, портрет которой висел у нее над кроватью. Те же глаза, тот же взгляд, та же бездонная, затаенная боль, словно в одну эту ночь Тоня вынесла столько, сколько мать ее за всю свою жизнь.

— Ты не хотела видеть меня, это правда? — мягко спросил он.

— Да, — тихо ответила Тоня, глотая слезы. — Так будет лучше. Неужели ты сам не понимаешь?

— Нет, — честно сказал он.

— Но ты уже сделал выбор: ты остался с отцом. Сдержав себя, он не стал оправдываться.

— Знаешь, — проговорил он, — отец просил тебе передать, что перед тобой он виноват. Он не смог прийти к тебе сам: утром уехал в командировку. Он просит простить его.

— Я его не виню. Он сказал то, что думал, от чистого сердца. Было бы хуже, если бы это он затаил. Он по-своему, может быть, прав.

— А я в чем виноват?

Она, не ответив ему впрямую, не зная, что отвечать, и беспомощно перебирая пальцами складки своего одеяла, прошептала, что все равно, мол, жизни у них не будет.

В ней исчезла прежняя искренность и открытость, и, разговаривая с ним, она все ниже опускала и прятала глаза, боясь, что в них он прочтет совсем не то, что в ее словах.

— Я не узнаю тебя, — сказал он. — Ты только слово в слово повторяешь мне то, что я уже выслушал от твоего отца.

— Возможно — ведь я его дочь. — Тоня совсем отвернулась и снова заплакала; и больше не сказала ему ни слова.

А Илья Николаевич стоял в коридорчике у самой двери и, не скрываясь, покашливал и громко шелестел газетой: не мешал им, но и не оставлял их наедине.

Баженов вышел из комнаты, и Илья Николаевич, вероятно решив, что тот во всем уже убедился и что говорить им более не о чем, распахнул перед ним дверь и, усмехнувшись, бросил вслед, на прощание:

— Придешь — не впусти!

Дверь захлопнулась.

Выйдя из дома, Баженов посмотрел на Тонинны окна. Илья Николаевич стоял у окна: хотел убедиться, что тот ушел окончательно и, может быть, к счастью, никогда не вернется.

Он закурил, поднял воротник пальто и устало побрел переулком к себе домой. Было морозно, шел снег.

А дома, поужинав, он долго сидел в своей комнатухе, не зажигая света, пока к нему не вошла мать. Она уже знала, что Тоня больна, об остальном же, хотя он ей не сказал, догадалась сама.

— Сынок, а если мне ее навестить? — Мать присела к нему на тахту. — Ну что-то купить ей, сготовить обед. Все же я сделаю лучше, чем Тонин отец.

— Нет, мама, не надо.

Мать хотела что-то сказать, но на столе вдруг зазвонил телефон, и она, торопясь, сняла трубку. Это был он, отец, — уже доехал до места. Мать, поговорив с ним, расспросив о здоровье и взяв с него слово беречь свое сердце, передала трубку сыну и шепнула при этом:

— Успокой его, не волнуй, он еще болен.

Откуда-то издалека, через тысячу верст, из лесного поселка, донесся к Баженову усталый голос отца:

— Ты видел Тоню? Ты все ей передал?

— Да, папа, я все передал, — не беспокойся, пожалуйста.

— Что же она ответила?

— Папа, поверь, все хорошо.

Но эта святая ложь, конечно, не обманула отца.

— Сынок, я всю дорогу, весь день думал об этом. Ты прав, в ваш век я уже, кажется, старомоден. Но иначе я не могу... Ну, хочешь, я встану перед ней на колени? Ради тебя, сынок.

— Ну что ты, отец! Не говори так.

— Да, перед ней я готов на колени. Но перед ним, Ивкиным,— никогда! Даже ради тебя, сынок. Передай это Тоне.

В телефонной трубке что-то прошелестело, и женский голос сказал, что время их разговора уже истекло.

— Сынок, ты скажи ей об этом!

— Папа, ты не волнуйся! Я завтра увижу ее и все передам. Ты слышишь, я все передам! Ты слышишь меня?

Отец уже не ответил, и Баженов не знал, успел ли отец услышать о том, что завтра он, сын, непременно увидит Тоню и все ей передаст: в эту минуту Баженов и сам в это верил...

Однако ни завтра, ни через неделю он ее не увидел и ничего ей не передал: Тоня была больна.

Каждый вечер после работы он шел в ее переулочек, к ее дому, и стоял под окном. Свет в ее комнате, у постели, был по-прежнему затемнен: Тоня лежала там в полумраке. Подняться по лестнице и позвонить у знакомой двери он не решался, знал, что Илья Николаевич ему не откроет, а снова ссориться с ним не хотел. И часами простаивал около дома, курил, замерзал, и все ждал, что вот вдруг Тоня сама подойдет к окну и увидит его; это была его единственная надежда.

Но за все вечера Тоня ни разу не подошла и не откинула шторы. Она даже не знала, как близко к ней, у порога, стоит человек, которого Тоня, может быть, все еще ждет.

Зато отец ее это знал. Он то и дело появлялся в окне и смотрел на Баженова, ожидая, что тот не вынесет его осуждающих взглядов и уйдет наконец. А Баженов надеялся, что первым не выдержит Тонин отец, окликнет его, впустит в дом и позволит увидеться с дочерью,— и не только увидеться, но и побыть с ней, поговорить наедине.

Увы, с каждым вечером, проведенным у Тонного окна, надежда эта слабела: Илья Николаевич был неуступчив. И однажды он показался в освещенном окне не один, а с молодым человеком, в котором Баженов узнал того самого Васю: «Уж лучше Вася, чем ты». Они говорили о чем-то, смеялись, и курили, пуская дым в открытую форточку. И было ясно, что Илья Николаевич не без умысла подвел этого Васю к окну, под которым внизу, на заснеженной мостовой, одиноко стоял Баженов: Илья Николаевич давал Баженову убедительный и наглядный урок.

Потом этот Вася отошел от окна и исчез в глубине квартиры, наверное в комнате Тони, а Илья Николаевич очень плотно зашторил окно, не оставив Баженову ни щелочки света, ни малейшей надежды. И что там было у них, Баженов уже не видел.

Тогда он ушел домой и несколько дней подряд, ломая и сдерживая себя, не появлялся у Тониного окна.

Когда же пришел через неделю, то увидел, что свет в ее окнах совсем не горит. На всякий случай он позвонил в дверь. Ему никто не ответил, и он решил, что Тоня уже на работе. Однако, тут же позвонив ей в клинику, он узнал, что Тоня взяла отпуск из-за болезни и куда-то уехала вместе с отцом.

— А куда, вы не знаете? — спросил он.

— Кажется, в Ярославль.

Под Ярославлем жила Тонина тетка, сестра Ильи Николаевича, и он, конечно, увез дочь туда, в глушь, в провинцию, подальше от молодого опасного человека. Совсем как в старинных романах о несчастной, преступной любви.

Баженов и сам взял бы отпуск и уехал куда-нибудь разгонять тоску, но уже был декабрь, конец года, и до сдачи нового дома оставались недели. С утра и до ночи он был на площадке, помогал, подгонял, спасал план, работал так, что без сил засыпал в автобусе или в метро по дороге домой.

И работа отчасти спасала; иногда ему даже казалось, что все уже позади, все забыто и уже начинается какая-то светлая бездумная, покойная жизнь.

Но такие голубые минуты случались нечасто. К тому же кроме работы был и свой дом, своя комнатка, тишина, одиночество, долгая зимняя ночь. И если

правда, что страдания очищают человека, то в эти ночи и дни душа его стала, наверное, чиста и прозрачна, как капля родниковой воды. И странные, незнакомые мысли являлись ему. Почему, думал он, все так сложилось, что их разлучило? Должна же всему быть причина.

Может быть, думал он, все началось еще там, в сорок первом, под Выборгом, у озера Суоярви, у шоссе, где горели фашистские танки, у той последней, кровавой черты, у которой остались лишь двое: их будущие отцы. О том, что случилось тогда, знают только они. Об этом нигде, ни в каких воспоминаниях нет ни строчки, ни слова. Но все равно это где-то хранилось, и, сохранившись, через многие годы с такой сокрушающей силой ворвалось в их жизнь и в жизнь их детей.

Может быть, думал он, твои гены хранят не только цвет твоих глаз и волос, не только это, наглядное; может быть, в твоих генах или в каком-либо ином, потаенном, еще не открытом наукой хранилище копится все, что ты совершил в своей жизни — или не совершил, — и тоже в свой час переходит к потомкам. Может, все это просто, как дважды два, но пока еще не открыто. Ведь все, думал он, где-то имеет свое начало и свое продолжение — и жизнь, и судьба, и поступок...

Внезапно, за неделю до Нового года, он встретил Тоню на улице.

В тот день, в воскресенье, в холодную и сырую погоду, Баженов бесцельно бродил по бульвару, не зная, куда себя деть. Уже темнело, как вдруг он увидел ее сквозь туманную мглу, через улицу, на той стороне, на тротуаре. Он узнал ее по походке. Куда она шла, он, конечно, не знал, но, кажется, Тоня не торопилась — шла, помахивая сумкой и останавливаясь у витрин.

Он бросился к подземному переходу и вбежал по лестнице на той стороне. Тоня уже исчезла в толпе. Боясь потерять ее, он быстро пошел в ту же сторону, толкая и обгоняя прохожих, пока опять не увидел ее на углу, у какой-то освещенной витрины. Яркими красками на витрине светился телеэкран, и Тоня стояла, не сводя с него глаз.



И пока она не увидела и не узнала Баженова, пока не укрылась за какой-нибудь маской, он, подойдя, жадно вглядывался в ее лицо и старался понять, что же в ней изменилось. Она похудела, лицо стало бледным и сейчас, наедине с собой, выражало, пожалуй, лишь безразличие и усталость. Стоя почти рядом с ней, он позвал Тоню мысленно, как прежде делал не раз. Она не услышала: в ней все затаилось, застыло, ничто ему не отозвалось.

Тогда он тронул ее за плечо и сказал:

— Здравствуй, Тоня.

Она обернулась и, посмотрев как-то странно, с испугом нахмурила брови, словно не верила, что это Баженов.

— Здравствуй...

— Ну как поживаешь? — спросил он с неловкостью.

— Ничего, спасибо. А ты?

— Тоже ничего. — Он помолчал. — Я звонил тебе в клинику. Ты, кажется, уезжала?

— Да, к тетке, под Ярославль.

— Тебя отец увез?

— Оставь моего отца. Дело уже не в нем.

— А в ком?

Не ответив, она отвернулась и стала опять смотреть на телевизор, — не хотела, боялась этого разговора.

Но Баженов настаивал:

— Давно вернулась?

— Позавчера.

— Приехала — и даже не позвонила.

— А зачем? Начинать все сначала?

Он ощутил, что в ней что-то дрогнуло, ожило: хотя и с неохотой, но все же она начинала ему отвечать.

— Ну что мы стоим тут, на углу? — сказал он. — Разговор не для улицы. Пойдем куда-нибудь, посидим, — в кафе, что ли.

— Не могу, я жду человека.

— А-а, у тебя здесь свидание. С кем же? С Васей, наверное. Я знаю, он к тебе приходил. Твой отец был этому рад. «Уж лучше Вася, чем ты», — сказал он мне.

Она, отвернувшись, смолчала.

— Ну что ж, — добавил Баженов, — как говорится, старая любовь не ржавеет.

И только теперь, вспыхнув вся, она посмотрела ему в глаза:

— Знаешь, давай не будем про это самое — про любовь! Что ты в ней понимаешь!

В тот момент Тоню кто-то окликнул, и она оглянулась. Рядом с ними, на самом углу, к тротуару прижалась малолитражка, и из нее вылез Вася, тот самый, о ком они говорили. Он был не один: за рулем «Жигулей» возвышался какой-то усатый мужчина в дубленке.

Вася легко перемахнул через перила, ограждавшие тротуар.

— Привет, Антонина! Давно ждешь? Извини, я опоздал. Встретился с другом, он приглашает к себе. У него, понимаешь, собирается вечеринка. Хочешь, я тебя познакомлю, — и поедет к нему.

Вася, шумный, веселый, уже возбужденный близкой выпивкой и вечеринкой, мельком взглянул на Баженова и, кажется, тут же о нем забыл, — не узнал в нем того человека, который однажды, при Тоне, давал ему огонька от своей зажигалки. Баженов стоял, как случайный знакомый, и слушал их разговор.

— Ну, Антонина, едем? Он нужный мужик, со своими колесами.

— Не знаю, мне все равно.

— Очень нужный мужик.

— Как хочешь, Вася.

— Ладно, едем, — сказал он и сразу пошел к машине.

Но Тоня чуть задержалась: не то еще не решила, ехать ей или нет, не то чего-то ждала от Баженова; и, лишь помедлив, кивнула ему:

— Прощай, Дима.

— Тебе позвонить?

— Как хочешь, мне все равно. — Она сказала это тем же бесцветным голосом и теми же пустыми словами, что и в разговоре с Васей.

И, только уже уходя и все же не выдержав, вдруг обернулась:

— Вспоминай меня иногда.

Кажется, Вася это услышал и, уходя с ней, спро-

сил, кто, мол, тот парень. Она пожала плечами и что-то ответила: мол, не все ли равно, ну, случайный знакомый. Она явно сказала неправду, явно лгала, а ведь раньше в ней этого не было. В ней, кажется, многое изменилось.

Она исчезла в машине и, вновь появившись, уже за стеклом, опять обернулась и, казалось Баженову, смотрела, пока не растаяла вместе с машиной в туманной мгле улицы...

И все же, как она ни изменилась, она сказала ему на прощание: «Вспоминай меня иногда». И неделю спустя, в последний день старого года, Баженов решил, что может ей позвонить и поздравить с наступающим праздником.

С этой мыслью, полный надежд, он утром пришел на работу. В старом, тесном домишке конторы происходила всеобщая суета, вынос всяческой мебели и разных бумаг. Дом был закончен, план выполнен, и контора переезжала на новую стройплощадку.

Войдя к себе в комнатушку и не застав там уже ни своего стола, ни стула, ни телефона, Баженов ходил в этой праздничной суতোлке, выслушивая поздравления и рассеянно улыбаясь, пока не нашел в коридоре, на подоконнике, единственный действующий телефон.

По коридору таскали мебель, стоял шум, но ему это не помешало, он хотел только узнать, на дежурстве ли Тоня. Он набрал номер клиники, узнал, что Тоня дежурит, и, чтобы в том окончательно убедиться и потом позвонить сй наверняка, попросил ее к телефону. Минуту спустя она подошла.

— Алло, я слушаю.

Не ответив, он вслушался в ее голос: что было в нем — безразличие или надежда?

— Алло,— повторила она и, отвернувшись, у кого-то спросила: — Ты не знаешь, кто мне звонил?

«Мужчина какой-то»,— донеслось до Баженова.

«Отец, может быть?»

«Нет, голос был молодой».

Тогда Тоня спросила:

— Вася — ты?

Баженов молчал.

— Вася! Какой-то шум! Перезвони, я не слышу.

«Не беспокойся, позвонит»,— сказал кто-то со смехом.

Слушать дальше Баженов не стал, бросил трубку и отошел. Значит, все-таки Вася. Ей и в голову не пришло спросить: «Дима — ты?» Тогда бы и он не промолчал.

К счастью, думать об этом и мучить себя у него уже не было времени. Зазвонил телефон, и пришлось схватить в трест, заседать, принимать поздравления, а потом — на новую стройплощадку. И всюду были друзья, сослуживцы и, разумеется, легкие и веселые проводы старого года. Друзья ему скучать не давали.

Когда же под вечер он все же сломал, смял, сокрушил свое самолюбие и опять позвонил Тоне, она к телефону не подошла: ее уже не было в клинике.

Хмельной, одинокий, угрюмый он вечером ехал домой. Около дома, у его подъезда, стоял знакомый «Москвич», припорошенный снежком, и он вспомнил, что сестра собиралась привезти им Ванюшу. Сама она в эту ночь вместе с мужем хотела повеселиться не дома, а в какой-то компании.

Войдя к себе в прихожую, еще не раздевшись, Баженов сразу стал разбирать пачку пестрых новогодних открыток, которые лежали под зеркалом. Нет, Тоня ему ничего не пожелала, ни худа, ни добра, будто он для нее на этом свете уже не существовал.

Из комнаты донесся голос сестры:

— Дима! Иди к нам на елку. Иди скорей! Мы тебя ждем.

— Иду,— ответил Баженов. И, раздеваясь, всеми силами заставлял себя думать только о том, как хорошо ему дома, где его ждут и где празднично пахнет морозом и хвоей и еще чем-то вкусным и лакомым, будто в детстве.

Он вошел в комнату, и его все встретили с радостью: мать, отец, Люся и даже маленький Ванечка, который бегал и прыгал под елкой, щедро наряженной для него. Эту елку, пушистую, статную, отец лишь вчера привез из командировки, из далеких северных лесов. Он пробыл там почти месяц и теперь, похудевший, с обветренным, темным лицом, в белой нарядной рубашке, улыбаясь и радуясь, сидел за домашним новогодним столом.

— Здравствуй, сынок! — Отец посмотрел на него испытующе, с затаенной тревогой и, кажется, уловил его настроение. Но ни о чем не спросил. Имя Тони в семье теперь старались не упоминать. Хотя все знали о том, что случилось, помочь ему, сыну и брату, ничем не могли. И все обращались с ним, словно с больным, спасти которого могут не посторонние силы, а только время и свой собственный организм.

— Сынок, а ты пришел как раз вовремя, — сказал отец, открывая шампанское.

Сестра засмеялась:

— Еще бы, его любимый гусь с яблоками уже на столе.

— А то мы боялись, сынок, что начнем без тебя, — сказала мать мягко и ласково, как говорила с ним в детстве.

Отец стал разливать по бокалам шампанское:

— Ну если уж все мы собрались, отметим это событие.

— Ой, папа, — сказала сестра, — мне нельзя, я за рулем. Мне скоро ехать домой.

— Ничего, только один глоток.

— Ну разве что только глоток, — согласилась Люся и будто бы беззаботно спросила у брата: — А ты где будешь встречать Новый год? Хочешь в нашу компанию?

— Не знаю, подумаю. — Усмехнувшись, он взял свой высокий бокал, в котором пенилось и шипело шампанское.

Но вдруг зазвонил телефон, и Баженов поспешно поставил бокал и вскочил из-за стола.

В другое время ему бы такое не разрешили: уйти и оставить всех за столом. Но теперь никто ему не сказал ни слова.

Уйдя в свою комнату, он торопливо снял трубку. Увы, это была не Тоня. Звонил муж Люси и просил ей напомнить, что уже девять часов и что скоро им ехать в гости, да еще через всю Москву.

Он вернулся за стол и передал сестре слова мужа. Люся заторопилась, глотнула шампанского, съела кусочек жареного гуся и побежала в прихожую одеваться.

В эту минуту в прихожей звякнул звонок, и Люся открыла кому-то дверь.

— Дима! — позвала она. — Тут тебя спрашивают. Он встал и вышел. Но в прихожей не было никого, кроме сестры, которая надевала пальто.

— К тебе какой-то мужчина, — сказала она и кивнула на дверь.

— Там, на площадке. Он почему-то не хочет входить.

На площадке, у двери, стоял Тонин отец, Илья Николаевич. Он был очень бледный, весь какой-то расстрепанный, в старой шапке и распахнутой куртке. Увидев Баженова, он улыбнулся ему неуверенно и виновато:

— Здравствуй, Дмитрий. Не ждал?

Тот сразу подумал, что с Тоней что-то произошло, и быстро спросил:

— Что с ней?

— Пока ничего...

— Да говорите вы толком: что с ней, где она?

— Она еще дома. Но собирается ехать на дачу, встречать Новый год, — и не одна.

— С Васей, конечно? — Баженов весь вспыхнул. — Ну и пусть себе едет!

— Да постой ты, послушай! Это Вася ее уговорил. Сама она с ним не собиралась. Она же тебя ждала. Как явилась сегодня с дежурства, так и не отходила от окна: все смотрела, ждала. Я ведь все это видел и понимал. Но ты не пришел. А пришел этот Вася с каким-то своим дружкой и стал ее уговаривать ехать на дачу, на всю ночь, до утра. Они хотят через час встретиться на вокзале. Я все это слышал, хотя мне она не сказала ни слова. Она даже не знает, что я побежал к тебе. Похоже, она на все махнула рукой: одевается, а сама плачет. А если она что-то решила, то пойдет на все, — я ее знаю.

— Вы же сами того хотели! Лучше Вася, чем я.

— Потом, потом будешь ругать меня! Пока не поздно, беги к ней. Не дай бог опоздаешь! Не дай бог она выйдет замуж за этого Васю! Всю жизнь будет маяться, меня проклянет. Я и так уже стал для нее будто чужой: придет домой, закроется в комнате и молчит.

— А-а, — усмехнулся Баженов, — вот в чем причина: вы, Илья Николаевич, беспокоитесь за себя.

— Нет, поверь мне! Видно, прав твой отец: всей жизни моей не хватило, чтобы мне самому искупить всю вину. Но я не хочу, чтобы и дочь моя страдала из-за меня. Пусть срок искупления продлится только во мне, пусть хотя бы она будет счастлива.

Дверь на площадку, где стояли они, отворилась, и вышла озабоченная сестра, уже одетая, в пальто и сапожках, с ключом от своей машины, который держала в руках. Она мельком взглянула на Тониного отца, не зная, кто он, и торопливо сказала брату:

— Если ты все же надумаешь в нашу компанию, вот тебе адрес и телефон. Приезжай, потанцуем. Жду тебя, братик.— Люся чмокнула его в щеку и побежала по лестнице вниз.

Тотчас в полуоткрытую дверь выглянул маленький Ваня и, увидев Илью Николаевича, немолодого и незнакомого дядю, без боязни спросил:

— Ты Дед Мороз? А что ты принес мне?

Тот виновато развел руками:

— Я же не знал, что ты здесь.

— Ванюша! — окликнула мать, хлопотавшая в кухне. — Отойти от двери, простудишься. Отец, возьми его! Почему там у вас дверь открыта?

— Сейчас закрою, — ответил из комнаты отец.

И пока он еще не появился у двери, Илья Николаевич успел сказать:

— Дмитрий, ну что ты стоишь! Беги к ней скорей, она еще, может быть, ждет!

В прихожей раздались шаги отца. Он подошел к внуку, шутливо ворча, взял его на руки и хотел было прикрыть дверь, как вдруг увидел этого Ивкина, человека, которого он никогда и ни за что не хотел бы видеть у своего порога.

Сначала отец, кажется, даже не мог поверить, что этот Ивкин пришел в его дом. А поверив, нахмурился — жестко и непримиримо.

И только после того, как сын бросился в прихожую одеваться и второпях схватил с вешалки свой полушубок, отец, кажется, понял, зачем к ним пришел этот Ивкин.

А Ивкин стоял у порога, растерянный и покорный, как одинокий странник, замаливающий грехи.

Но что между ними было потом, Баженов уже не увидел. Оставив их, он метнулся по лестнице, вслед за

сестрой, прыгая через ступеньки и надевая замызганный полушубок.

К его счастью, сестра еще не уехала — сметала снег со своего «Москвича»; и когда он выбежал из подъезда, в полушубке и с шарфом в руках, и крикнул ей на бегу: «Люська, скорей!», она поняла его с полуслова, как бывало у них еще в детстве...

«Москвич» рванул с места, и минуту спустя они уже мчались в потоке машин, особенно нетерпеливом в эти последние часы старого года. Сестру ни о чем не надо было просить, она сама все понимала. Крепко сжав руль, она гнала по улицам, не жалея свою машину. У какого-то перекрестка она с силой нажала на тормоз, и кто-то позади них, не успев притормозить, стукнул их в бампер. Люся даже не оглянулась. Сейчас она снова стала такой же, какой всегда была для него: старшей сестричкой, которая с детства защищала его, брата-кролика, от злых мальчишек и всяческих бед. Она и теперь пыталась спасти его и безжалостно гнала свою малолитражку.

И все же они опоздали. Когда машина, визжа тормозами, влетела в тот переулок, где жила Тоня, Баженов сразу увидел, что свет в ее окнах уже не горит. Правда, Тоня могла быть и там, в темноте, у окна. Он выскочил из машины, вбежал по лестнице и стал звонить и стучать кулаками в знакомую дверь. Увы, там не было никого, и он бросился вниз.

Сестричка, умница, уже развернулась в обратную сторону и сразу дала полный газ. Завизжали покрышки, «Москвича» крутануло, и они понеслись на Ярославский вокзал.

На улице вереницей мелькали огни и рекламы: город входил в новогоднюю ночь. Было почти десять часов. До отправления поезда, в котором Тоня должна была ехать на дачу, оставались минуты. Они выехали на Комсомольскую площадь и, обгоняя машины, остро рискуя, пробились к вокзалу.

— Ты знаешь что, — торопливо сказала Люся, — ты все-таки приезжай к нам в компанию. Один или с ней. Я тебя все равно буду ждать. — Она резко затормозила у самого тротуара: — Ну, беги, братец-кролик, беги! И счастливо тебе!



Уже на бегу он взглянул на часы. Купить билет он не успевал. Последней минуты хватило только на то, чтобы в вокзальной толкучке найти свой поезд и добежать до вагона. Едва он вскочил в вагон, дверь с шумом сомкнулась.

Постукивая на стрелках, электричка набирала скорость. Баженов постоял в тамбуре и закурил. Если отец Тони не ошибся, она должна быть где-то в этом поезде. Сквозь застекленную дверь он оглядел весь вагон. Пассажиров было немного. Одни, озабоченные, с сумками и авоськами, спешили из столицы домой, другие, беспечные, с лыжами и гитарами, ехали в лес, в снега, в ночь, на свои дачи или к жарким кострам. Тони среди них он не увидел. Тогда он вошел в вагон и, пройдя его весь и на всякий случай оглядывая пассажиров, перешел в другой тамбур. И оттуда, опять сквозь стекло, осмотрел соседний вагон — Тони там не было.

Он нашел ее лишь в конце поезда. Сначала, из тамбура, он увидел не Тоню, а ее бородатого друга. Вася сидел и держал на коленях авоську с бутылками. Его соседкой была розовощекая, рыженькая и пухленькая девица в беличьей шубке. А напротив них, у окна, спиной к Баженову, сидела Тоня. Он сразу узнал ее по вязаной шапочке и по тому бело-красному шарфу, который когда-то принес к ней домой. Она повернулась к сидевшему рядом с ней мужчине, и Баженов увидел ее лицо. Она улыбалась этому человеку и казалась веселой.

Баженов поднял воротник полушубка и прошел по вагону. В полушубке Тоня его не узнала. Да и слишком была увлечена своим собеседником. Тот рассказывал ей нечто смешное, и она хохотала.

Пройдя мимо них, Баженов закрыл за собой застекленную дверь и только тогда обернулся. Нет, там, за стеклом, Тоня, хотя и бледная, не выглядела несчастной. Ее, вероятно, вполне устраивал этот сосед. Васин друг, «нужный мужик», проявлявший к ней знаки внимания, этот удачливый дядя в куртке-дубленке и с японским транзистором на ремешке. У него были черные усики, очень красные, влажные губы и липкий взгляд человека, который возьмет все, что плохо лежит, и даже то, что лежит хорошо, но к нему слишком близко. И времени он не терял: болтая с Тоней, про-

ворно чистил ей апельсин и протягивал дольки. Тоня брала их, смеясь, и было совсем непохоже, что она в самом деле кого-то ждала.

Баженов представил, что будет, если он подойдет сейчас к ним: непрошенный, хмурый, в замызганном полушубке. Что скажет Тоня, угадать было трудно. Во всяком случае, она хотя бы смутится. Но этот Вася с его дружкой и эта рыженькая девица вполне могут над ним позубоскалить.

И он отвернулся от застекленной двери. В тамбуре было холодно, вагон раскачивался и гремел. Ему хотелось курить, и вместе с сигаретной коробкой он вытащил из кармана и помятую бумажку, о которой забыл. На ней сестра написала ему адрес и телефон. Он вспомнил ее слова и, пытаясь уже не думать о Тоне, взглянул на часы. Если на первой же остановке сойти, думать он, и пересесть на встречную электричку, то можно успеть до двенадцати ночи в то шумное, людное и веселое общество, о котором ему говорила сестра. А это сейчас именно то, что нужно ему. Иначе, в тягостном одиночестве, эта ночь будет длиться для него бесконечно, как пытка.

На первой же остановке у него хватило сил покинуть вагон, даже не оглянувшись на Тоню. Но, ступив на платформу, он сразу же подошел к тому окну, где она сидела. Оттуда слышались громкие голоса. Тоня тоже смеялась, глаза у нее блестели, из-под шапочки выбилась прядь волос. Она, конечно, не знала, что он, Баженов, стоит близко к ней. Их разделяло только стекло, разрисованное морозом. И, постояв рядом с ней и убедившись, что ей хорошо и без него, он хотел было уйти совсем, — как внезапно она отвернулась от своих веселых соседей и посмотрела в окно.

Она взгляделась в темень и ночь, и в лице ее все угасло, померкло, губы сжались, улыбка исчезла, в глазах была боль и тоска: словно она вдруг сняла с себя маску, от которой безмерно устала. Сквозь ледяной узор на стекле она смотрела на эту заснеженную платформу, тускло освещенную фонарями, на лес, белевший во тьме, на какого-то человека в полушубке, стоявшего у ее окна. Она смотрела сквозь весь этот мир, не узнавая в нем никого и не видя в нем ничего, кроме своей опустошенности: для нее что-то кончилось и ушло навсегда.

Тогда Баженов приблизил лицо и взглянул ей в глаза. Она вздрогнула, не узнавая его. Он стукнул в окно: мол, это я, тебе не мерещится. Она отшатнулась,—она уже не ждала и не верила. И вдруг он ясно, в отчаянье понял: он дрогнул и отступил в бою за свою любовь.

Он еще хотел было войти обратно в вагон, туда, к Тоне. Но дверь с шумом сомкнулась, и поезд сразу же тронулся. И минуту спустя огни электрички исчезли вдали, в ночной зимней мгле.

# РАССКАЗЫ



## ДИКИЕ ГУСИ

И раздумья, как ранний туман,  
Припадают к земле.

Э. Межелайтис  
«Человек»

Дикие гуси летели над степью. Митя видел их сквозь запыленное ветровое стекло самосвала и думал о том, что если лететь вот так, все время на юг, или все время держать по шоссе, никуда не сворачивая, то еще до заката солнца увидишь вдали космодром Байконур.

Он думал так всякий раз, когда гнал машину от станции по вонзившейся в горизонт дороге с ее паркетным блеском асфальта и парадно ровными белыми столбиками. И всякий раз на втором километре от станции Митя нажимал на тормоза. Хотя ему трудно было сворачивать с дороги, которая вела к звездам.

Пыльная колея убегала в степь, к озеру, блестящему среди камышей. У озера белели постройки совхоза. Над камышами был виден песчаный откос карьера. Митя вдруг вспомнил, что Бакаев давно на карьере, и, разом забыв о диких гусях и о дороге, вонзившейся в горизонт, погнал машину по пыльному следу в бурой, сухой траве.

А Бакаев уже ехал навстречу, торопясь из последнего субботнего рейса. Пыль катилась за ним по степи быстрым облачком.

Митя свернул с колен, уступая дорогу тяжело груженному самосвалу. Сквозь мутное от пыли стекло он старался увидеть, кто там сидит в кабине рядом с Бакаевым. Даже сбросил газ, надеясь, что и Бакаев притормозит.

Но Бакаев — весь запыленный, белозубый, скуластый, в натянутой на глаза старой кепке, — будто и не заметив Митю, пролетел мимо с грохотом, с лихим ветерком. Только на миг мелькнул рядом с Бакаевым чей-то белый девичий платок.

Это была не Марина. Она осталась там, в степи, на карьере.

И Митя снова погнал машину по пыльной дороге.

Карьер был безлюден. У бункера — ни души, на откосе одиноко застыл бульдозер, и его зеркальные траки успело замутить беловатой пылью.

Озеро блестело тускло и жарко, над сухими метелками камышей плыло марево. Песчаный берег был изрыт колесами самосвалов. У самой воды, заботливо растянутый на песке, сушился старенький комбинезон белесого цвета и стояли туфли из парусины, тоже выгоревшие на солнце.

А Митя, словно ничего не заметив, словно для него на карьере вообще не было ни души, тормознул, как всегда, оглянулся, небрежно ладонью включил заднюю скорость и подал самосвал к железному бункеру. Потом, как всегда, он выключил зажигание.

Стало тихо. Остывая, потрескивал и сипел мотор. С откоса, шурша, осыпалась струйка песка. Слышен был и плеск воды в камышах.

— Митя! Савельев! — услышал он голос из камышей.

— А-а, ты еще здесь? — громко ответил он, будто и впрямь удивленный тем, что застал ее на карьере. Но сам даже не взглянул в ее сторону. Торопясь, влез в кузов и стал делать то, что обычно делала Марина с девочками, — открыл заслонку и, когда из бункера хлынул сухой, горячий песок, стал разгребать его лопатой.

Сверху, из кузова, он наверняка бы увидел Марину — все озеро было как на ладони. Но он не смотрел туда, где слышался плеск воды, а усердно махал лопатой, делая вид, что самое важное для него — лишний рейс, лишние деньги.

Впрочем, он и в самом деле спешил уехать — из-за фельдшера Брагина.

Этот Брагин жил в совхозе, за озером, в доме с верандой, который стоял у самой воды. Его окна были завешены наглухо, дом казался безлюдным, но в любую минуту фельдшер мог появиться там, на крыльце. Когда девочки с карьера купались в озере, Брагин непременно плыл к ним с той стороны. Он плавал брассом

и выкидывался из воды, как дельфин, хотя пересохшее озеро было ему до пояса. А потом этот медицинский работник выходил на берег, словно наглядное пособие по анатомии. Без слов было ясно, что каждую свою мышцу он тренирует и холит со знанием медицинской науки. Девчата громко им восхищались, а он, по мнению Мити, выделял среди них только одну — Марину.

И поэтому Митя спешил. Едва кузов наполнился, он, потный, разгоряченный солнцем, прыгнул на землю. Но с досадой вспомнил, что еще нужно взять под сиденьем ведро, набрать воды и долить в радиатор. Он снял ботинки, закатал штанины и с брезентовым ведром пошел к озеру.

Песок был густо усеян узорами птичьих следов, около берега плавал пух. Митя зашел подальше, поглубже, чтобы набрать чистой воды. Вода была теплая, но в такую жару и она приятно холодила ноги. Он разогнал рукой птичий пух и зачерпнул полное ведро.

Марина плескалась совсем рядом, у камышей, он заставлял себя не смотреть в ту сторону и, не выдержав, поднял глаза.

Невысокая, с плавными плечами, в тугом, уже ставшем ей тесным, стареньком купальнике, но еще чем-то похожая на девчонку, Марина брела к берегу, стряхивая с плеч последние капли воды.

— А твой Бакаев не стал меня ждать,— сказала она.

— Мог бы и подождать,— ответил Митя, будто сердясь на Бакаева, хотя знал, что Бакаев сделал это нарочно — уехал и оставил их на карьере вдвоем. Если кто и догадывался обо всем, то, наверно, один Бакаев.

— Хорошо, хоть ты приехал.

— Лишний рейс карману не повредит,— небрежно сказал Митя, взял ведро с водой и пошел к машине.

— Не старайся, все равно дачу не выстроишь.— Смеясь, она подняла с песка свой просохший комбинезон.— Отвернись, я буду одеваться.

Пока он доливал воду в радиатор, Марина стояла за машиной, выжимая купальник, и он видел на песке у колес ее близкую, чуть удлиненную тень, хотя старался смотреть в другую сторону. И потом, в кабине, рядом с ней, когда они выехали из карьера, он тоже не смотрел ей в глаза и скучающе вертел свою шофер-

скую баранку. Марина сидела босиком, парусиновые туфли валялись на полу, а мокрый купальник висел на дверце. С небрежным видом Митя поправил зеркальце и будто случайно увидел в металлическом ободке прядь русых волос и темно-серые спокойные и доверчивые ее глаза.

Когда на Марину никто не смотрел, когда она не думала о себе и о том, какая она красивая, лицо у нее было спокойное, доброе, доверчивое. Она вообще была доброй. Но если на Марину смотрели, она, из желания выглядеть еще красивее, становилась какой-то суетливой и неестественной. Казалось, красота мешает Марине, и ей, с ее мягким, домовитым характером, все время нужно подлаживаться под эти, случайно выпавшие ей, очень красивые, вызывающие глаза.

Она вдруг тоже взглянула в зеркальце, улыбнувшись:

— Ну что ты на меня смотришь? Ты лучше смотри на дорогу.— Повернула к себе зеркальце и поправила волосы.— А я знала, что ты приедешь за мной.

— И не собирался,— сказал он небрежно. А сам так поверил, что она ждала его, что она уже обо всем догадалась!

— Постой,— спохватилась она,— чуть не забыла. Надо заехать в совхоз, к фельдшеру, купить у него гуся. Поворачивай.

— Некогда мне,— нахмурился он, вспомнив о фельдшере Брагине.

— Ну-у, Митя. Купим самого большого гуся, устройм завтра пир на весь мир. Лучше, чем щи и каша в столовке. Девочки сложились на гуся по полтиннику.

— Ну и покупали бы сами.

Она посмотрела на себя в зеркальце и засмеялась:

— А вот девочки решили, что в совхоз должна ехать я. Тебе, говорят, Марина, фельдшер продаст гуся со скидкой. А Митя, говорят, повезет тебя хоть на край света, ты дождись его.

— Мало ли что говорят,— смутился он.

— Я и ждала тебя. Кому, как не мне, ехать за этим гусем. Правильно?

Помолчав, он пробормотал немного растерянно:

— За гусем? Я думал, ты меня ждала.

— Что ты сказал? — переспросила она.

— Так, ничего.



— Да ты не злись, мы тебя пригласим, гусь коллективный.

— А я не злюсь.

Чувствуя, что краснеет, Митя отвернулся. Потом приоткрыл дверцу, будто должен был посмотреть, не ослабли ли передние скаты. Из-под колес тугой струей била пыль.

Пыльным проселком самосвал катил по степи обратно к шоссе — к шоссе с его паркетным блеском асфальта и парадно ровными белыми столбиками, к шоссе, которое уходило за горизонт, к далекому космодрому Байконур.

Впрочем, об этом Митя уже не думал. Он захлопнул дверцу и свернул с проселка. И, оставляя след в ломкой траве, прямо по степи погнал машину к дому Брагина.

Одноэтажный дом с верандой стоял на краю поселка, в самом начале улицы Первого космонавта. За палисадником блестело озеро. Окна были плотно зашторены от солнца и пыли.

Когда Митя подъехал и дал сигнал, на крыльцо вышла сухонькая востроглазая тетка в белом платке. Зевая, она сказала, что фельдшера нет, и спросила, откуда они и что им нужно.

Эту фельдшерскую тетку Митя знал. На базарчике у вокзала она торговала жареной и вареной гусятиной. Она приносила свой товар к утреннему московскому, который стоял семь минут. А если после ухода поезда у тетки оставалась гусятина, тетка, не скупясь, отдавала ее со скидкой. Добрая была тетка. Звали ее тетей Пашей.

— Тетя Паша, своих не узнали? — засмеялась Марина. — Здравствуйте. Мы же со стройки, всегда у вас покупаем. Гуся нам не продадите?

Подумав, тетка ответила, что ощипанного гуся у нее нет, а неошипанный будет дороже — пух тоже стоит денег. Марина озабочено сказала, что пух и перо ей вроде бы ни к чему; но торговаться она не умела, быстро сдалась и стала считать, хватит ли у нее денег. А тетка пошла к озеру, за гусем.

— Тетя Паша, самого большого! — крикнула ей Марина и оглянулась на закрытые окна дома.

И вид у нее был такой, показалось Мите, будто она знала, что вот-вот из дома появится фельдшер.

Но сначала появился увесистый гусь. Широкие его лапы с желтыми перепонками, болтаясь, свисали до самой земли.

— Себе в убыток,— вздохнула тетка, забросив гуся в кабину.

— Жаль, хозяина нет,— громко сказала Марина.— Мне бы он сделал скидку.

Тогда-то и появился хозяин. Из полутемной комнаты он вышел на веранду, щурясь яркому свету, босой, заспанный, в белой майке и полосатых пижамных штанах,— все-таки услышал громкий голос Марины.

— А-а, это ты,— сказал он, очень довольный.— Ну заходи, попрошу тетю Пашу для тебя сделать скидку, это ее гуси. А я немного вздремнул, ночью ездил на второе отделение. Хочешь холодного кваса?

Митя сидел в кабине, курил и смотрел, как они вошли в комнату, как тетка отдернула штору, и в окно стал виден круглый стол с плюшевой скатертью и радиолы на тумбочке у дивана. Марина пила квас, о чем-то говорила с Брагиным, и у нее все время была та неестественная, чужая улыбка, которой она улыбалась, когда хотела выглядеть очень красивой. Брагин открыл радиолу и показал ей какую-то пластинку, и потом, сквозь окно, Митя услышал музыку, хотя не мог разобрать, что это было. Он ждал, стараясь казаться равнодушным, как случайный извозчик, но, когда Марина, улыбаясь, пошла с фельдшером танцевать, он дал резкий сигнал. Она посмотрела в окно. Митя показал на свои часы. Она еще немного поговорила с фельдшером, и они вышли из комнаты. Пока Марина садилась в машину, Брагин стоял в холодке на веранде.

— Так я приду вечером к вам на танцы,— сказал он Марине.

— И пластинку захвати.

— Не забуду.— Зевнув, фельдшер ушел в комнату — досыпать.

И когда они отъезжали, Митя сказал, не выдержав:

— Оборотистый дядя, не теряется.

— А ты ревнуешь? — засмеялась Марина. И, повернув к себе зеркало, стала причесываться.

Опять у нее было свое, спокойное лицо, исчезла

чужая, ослепительная улыбка. С Митей она не старалась казаться красивее, не думала о себе. Словно не чувствовала, что он рядом с ней, не воспринимала его всерьез. «Я такая, какая я есть. С тобой мне не хочется быть очень красивой». И он не знал, хорошо это для него или плохо.

— Свой парень,— сказала она о фельдшере. И что-то припомнила улыбаясь.— С ним хорошо, с ним можно поговорить.

— А со мной? — усмехнулся он.

Она рассмеялась:

— А с тобой еще лучше. С тобой можно просто помолчать.

— Ладно, молчу.

— Ты обиделся?

Он не ответил. И они ехали молча. Под колеса бежала пыльная дорога.

Далеко в степи, сквозь знойную мглу, осколками мутного зеркала блестели озера.

А в небе опять летели дикие гуси — после линьки поднимались на крыло с дальних, глухих озер.

Выехав на шоссе, Митя свернул к станции. У самого переезда шоссе пересекало почти совсем высохшую речку-карасу с песчаными отмелями. Машина прокатилась по мосту, громыхая деревянным настилом, и нырнула под железную руку шлагбаума.

Сразу за переездом, на рельсах, уложенных в жесткую целину, стоял их стройпоезд — несколько пассажирских старых вагонов и вереница открытых пустых платформ.

Рельсы давно заросли травой, а около вагонов земля была плотно утоптана и уставлена скамейками, умывальниками и столбами для волейбольных сеток. И от поезда во все стороны расходились тропы — к приземистой кирпичной коробке мастерских, к бетонному заводу, серому от цементной пыли, к конторе и гаражу.

Гаражом называли площадку у мастерской, где стоял ящик с песком и торчал из кирпичной стены пожарный кран.

Когда Митя выгрузил песок и свернул к гаражу, Бакаев был еще там и мыл свою машину. Надвинув на глаза серую кепочку, Бакаев усердно поливал из шланга облезлые железные бока самосвала. И так же

усердно он старался не замечать, что рядом с Митей в кабине сидит Марина. Будто не имел к этому отношения, будто не оставил Марину одну на карьере.

— Бакаев! — крикнула она.

Оглянувшись, увидев Марину, он даже сдвинул кепочку на затылок: вот, мол, какая приятная неожиданность.

— А мы гуся купили, — засмеялась она. — И совсем дешево, со скидкой. Митя, покажи.

— Держи! — Митя из кабины бросил гуся Бакаеву.

Но гусь был тяжелый и, не долетев, упал на покрытую лужами цементную площадку. Гусь лежал у ног Бакаева, распластав крылья.

— Ты у кого купила? — спросил Бакаев.

— Да у тети Паши, в совхозе. У фельдшерской тетки.

Он поднял гуся за крыло:

— Похоже, дикий. А сейчас охота запрещена.

— Понимаешь ты, — сказала Марина и вылезла из машины. — Зачем тете Паше дикие гуси? У нее своих гусей целое стадо на озере. Митя, подтверди, ты сам видел.

— Ну видел, — подтвердил он неохотно и усмехнулся: —оборотистая тетька. Оба они не теряются, сам видел.

— Ну и что! — сказала Марина.

— Так, ничего, — усмехнулся и Бакаев, поддержав Митю. — Знаем мы того фельдшера.

Марина посмотрела на них обоих и покраснела:

— Да что вы к нему привязались!

— А что ты его защищаешь! — вспыхнул Митя.

— Ну, знаешь, это нечестно!

И Митя, смолчав, отвернулся, взял у Бакаева шланг и трескучей струей воды хлестнул по пыльному, грязному кузову своего самосвала.

— Не брызгайся! — И сердясь и смеясь, Марина отошла в сторону. — Лучше помоги мне донести гуся. Ну!

Митя сделал вид, что не слышит. А Бакаев, виноватый, как он думал, в их ссоре, сказал Марине, смутясь:

— Ладно, я тебе доңесу. Пусть он моет машину.

Они ушли, а Митя вымыл и заправил машину, по-

том сам вымылся у пожарного крана и в мокрых трусах пошел по тропинке к своему вагону.

Солнце садилось, стало немного прохладней, чем днем, но все равно было жарко.

В вагоне тоже было жарко и душно, на пыльных стеклах розовел закат. Все ушли ужинать, только в дальнем купе кто-то настраивал и никак не мог построить свой транзистор. «И-у, и-у» — повизгивало в динамике.

Митя закурил и прилег на койку — узкую и жесткую. Вагон вообще был старый, наверное еще довоенный, с чугунной печуркой в тамбуре и массивными деревянными полками. На стене давным-давно вывели «Правила распорядка в общежитии». Рядом висела вырезка из местной газеты — «На земле, откуда взлетел «Восток».

А за окном лежала эта земля, откуда взлетают к звездам, — еще освещенная закатным солнцем и уже остывающая от зноя, уже темно-пепельная у горизонта, широкая и пустынная, как само небо.

Эту землю Митя увидел недавно. Еще весной он жил в большом городе и работал слесарем на заводе. История у Мити была обычная: на экзаменах в институт не хватило одного балла, не хватило упрямства, и он пошел зарабатывать производственный стаж. И, мечтая о физике, опять сидел над учебниками. А весной он услышал, что на заводе формируют стройпоезд в помощь целинникам Казахстана. Говорили, что поезд пойдет куда-то в район космодрома Байконур. Митя нашел на карте станцию Байконур и отправился в отдел кадров. Ему сказали, что в поезде слесарей полный комплект, но нужны шоферы. Митя отложил физику и сел за учебник водителя третьего класса.

На этот раз упрямства хватило. Он успел получить права, и его взяли в стройпоезд.

Там он первый раз увидел Марину.

Ехали долго, пять дней. За Кустанаем, около малозаметной станции с элеватором и пыльным одноэтажным поселком, поезд загнали в гупик. На станции был базар, клуб и буфет при вокзале с едкими, как кислота, наливками и ликерами.

Там они стояли все лето и строили жилье и школы в окрестных целинных совхозах.

А до Байконура так и не дотянули.

«Да, но зато я встретил Марину». Подумав так, он усмехнулся: вот только сама Марина об этом не знает...

В тамбуре хлопнула дверь, вошел Бакаев. Швырнул в угол запыленную кепочку, сел на койку и стал снимать рыжие от бензина облупленные ботинки. Будто и не замечал, что рядом на койке лежит Митя, молчит, курит и стряхивает пепел прямо на пол. А на самом деле Бакаев все видел. Глаза у него были и злые, и грустные, и виноватые. Светлые, с голубизной, с серыми зрачками глаза были словно по ошибке нарисованы на его широкоскулом, азиатском, темном лице с жесткой прядью волос. Отец у Бакаева был казах, а мать — русская. И в характере у Бакаева — упрямом и вспыльчивом — тоже смешались все предки.

— Чего валяешься, ужинать надо, — сказал он наконец, не глядя на Митю.

— Ну и катись.

Бакаев только вздохнул. Станный он был человек — все прощал тем, кого любил. Даже там, где не следовало прощать. Попробовал бы кто другой сказать так Бакаеву. А Мите все можно. Сопя и вздыхая, Бакаев достал из чемодана Митину рубашку ослепительной белизны и включил утюг.

— Мальчики! — вдруг послышалось за окном.

Это была она, Марина.

— Савельев!

Но Митя на койке не шевельнулся.

— Мальчики, можно у вас утюг? Наш испортился.

— Заходи. — Бакаев вздохнул и спрятал Митину ослепительную рубашку обратно в чемодан.

Верно, Бакаев. Пусть не думает, что мы собираемся с ней на танцы.

А она, Марина, к танцам была почти готова. Правда, еще в парусиновых тапочках, но уже без комбинезона, в юбке и синей кофточке с белой полоской.

— Мальчики, ну как? — прошлась она по купе. — У меня новая кофточка. Нравится? — И посмотрела на Митю: мол, что ты молчишь, скажи, что нравится.

Бакаев тоже взглянул на Митю: мол, в самом деле, не будь упрямым, скажи ей что-нибудь, помирись.

«И-у, и-у» — повизгивал транзистор в дальнем купе.

— Вот надоел,— сказал Митя, повернувшись на койке.

— А ты не слушай,— неловко засмеялась Марина, скрывая обиду.— Ну, спасибо за уют, я побегу, девчата ждут. На танцах встретимся.— И уже из тамбура крикнула: — А гусь мировой, три кило!

И опять не стало Марины. Опять, сопя и вздыхая, Бакаев полез в чемодан за белой рубашкой. Погладить бы ее, да нечем.

— Три кило! — Бакаев швырнул рубашку.— Может, это дикие гуси!

А может быть, и не дикие. Откуда ему, горожанину, Мите, знать, какие бывают дикие гуси. Он их в руках не держал, он их видел, может быть, только в небе или в кино. Для него они просто так, условность, понятие.

— Ладно,— вздохнул Бакаев,— топаем ужинать.

А после ужина были субботние танцы, и все было, как полагается: пластинки с голосом Кристалинской, шарканье ног, нейлоновые рубашки, транзистор на ремешке, высокие каблучки; двадцатый век и исторические бычьи загорелые шеи; чье-то лицо счастливое и чье-то очень несчастное; зоркая стража дружинников и громкие голоса тех, кто уже сбегал в станционный буфет,— на то она и суббота.

Все было, как полагается, только Митя не танцевал. Он стоял около радиолы и менял пластинки. Пока пластинка крутилась, он тоже был вроде при деле — старался не смотреть, как Марина танцует с другими. И видел, что, танцуя, она всякий раз улыбалась, пока ее не пригласил Бакаев. На этот раз лицо у нее было серьезное, наверное Бакаев очень серьезно говорил ей о своем друге. Потом она из-за плеча Бакаева как-то легко улыбнулась Мите: вот, мол, чудак твой Бакаев — уговаривает меня, а я и не думала на тебя обижаться, ведь между нами все в шутку, а не всерьез, правда, Савельев?

Он отвернулся и сделал вид, что регулирует радиолу.

— Крутишь, механик? — громко сказал кто-то рядом с ним.

Это был фельдшер Брагин — гладко выбритый, белозубый, миролюбивый, с веселыми голубыми глазами, и уже не в пижаме, а в такой же, как у Мити, сияюще белой рубашке.

— Крутишь, спрашиваю? Очнись, парень. Поставь вот эту, мою. Тридцать три оборота. Блеск, не чета вашим заезженным. Да смотри, потом пластиночку не занаць, дефицитная.

— Давай отсюда со своей дефицитной.

— Ну, ну, полегче, механик. Крути давай.— И фельдшер двинулся к Марине прямо через толпу.

Митя отложил его пластинку подальше, а в радиолу поставил самую заезженную — вальс времен русско-японской войны.

Но Брагин будто этого и не заметил, будто только и мечтал кружиться с Мариной под шорох амурских волн.

И рядом с Брагиным, старательно ему улыбаясь, Марина стала совсем другой — слишком веселой, слишком красивой. Митя смотрел на нее и думал, что вот опять у нее не застегнута пуговица на кофте. Если Марина злилась или была чем-то увлечена, она всегда забывала застегнуть верхнюю пуговичку.

Потом, после вальса, она и Брагин стояли близко от Мити. Но Марина, казалось, его не замечала.

Зато Бакаев все замечал.

— Ба, знакомая личность! — удивился он очень громко. — Притопал из совхоза на бесплатные танцы?

— Слушай, отстань, — весело и лениво сказал Брагин.

— Бакаев, отстань, — засмеялась Марина.

— А интересно, почему нонче гусятина на базаре? — сам себя громко спросил Бакаев.

Брагин, усмехнувшись, посмотрел на него сверху вниз — Бакаев был ему до плеча:

— У тети Паши спроси. А я гусями не торгую.

— Только стреляешь? — Светлые, славянские глаза Бакаева сузились, натянув на скулах темную азиатскую кожу.

— Иди пропись! У меня и ружья нет.

— Бакаев! — резко сказала Марина. — Ты опять за свое? Это нечестно. — Оглянувшись, она крикнула



Мите: — Савельев, уйми своего дружка! При чем тут гуси.— Она вдруг вспыхнула.— Это вы всё из-за меня!

И Мите казалось, что ее услышали все, кто был на площадке. Кто-то даже засмеялся: вот, мол, лихие парни, девушку не поделили. Глупо все вышло. Она и сама это поняла и, взглянув на Митю, покраснела, смутилась. Ему стало жаль ее, хотя как-то сразу она отдалилась от него далеко.

— Ну хватит тебе! — грубо сказал он Бакаеву.— Пошли отсюда.

Но Бакаев за ним не пошел. И, проталкиваясь сквозь толпу, уходя с танцплощадки, Митя еще долго слышал у себя за спиной резкий, злой голос Бакаева, который не могла заглушить даже музыка.

Он быстро шел к своему вагону, потом, раздумав, свернул на шоссе. Привычная, с запахом бензина и асфальта, верная шоферская дорога уводила все дальше в степь. Потускнел от пыли праздничный блеск ботинок.

Солнце погасло, из сумеречной степи ровно тянуло терпкой прохладой.

За переездом, за полосатым шлагбаумом он спустился с шоссе к мосту. Почти неподвижно блестела вода в пересохшей речушке.

Под мостом было прохладно и тихо. Сквозь ферму спокойно мерцали звезды. Музыка долетала чуть слышно, издалека, словно из-за стены в их городской квартире. Митя прислушался и подумал, что скоро вернется в свою коммуналку, что скоро сдавать экзамены в институт, что пора сесть за учебники. Он поискал в карманах сигареты. Закуривая, он старался припомнить те главы в учебнике, которые знал слабо. Посмотрел сквозь ферму на небо и подумал, что так и не увидел, как с этой земли взлетают к звездам. Очень старался думать обо всем этом, обо всем, о чем угодно. Только не о Марине.

Изо всех сил он старался забыть ее, тем самым думая только о ней.

И он не удивился, вдруг ясно расслышав голос Марины: ведь она неотступно была рядом с ним.

— Не надо, пусти,— сказал ее голос.

По мосту, громыхая настилом, прошла машина. Скользнул и погас яркий свет. Потом Митя снова

услышал ее голос и стук ее каблуков по настилу над головой.

— Или я уйду, — сказала она.

Они стояли на мосту у перил: два темных силуэта в звездном, еще светлом, послезакатном небе. Отчетливо было видно каждое их движение. Вот он обнял ее за плечи, вот она вырвалась, прижав к груди руки, вот отступила на шаг. Вот он опять наклонился к ней:

— Пойдем ко мне.

— Что ты! — опять отступила она.

— Ну не ломайся, никто нас не видит.

Выйдя из-под моста, Митя сказал:

— Я вижу.

Брагин посмотрел вниз и отпустил Марину.

— Ой, кто там! — испугалась она, потом сказала обрадованно: — А-а, это ты. Вот ты где. А Бакаев ищет тебя. Что ты ушел с танцев? Ну иди к нам.

Фельдшер тоже узнал его и засмеялся:

— Ты, механик? В гордом одиночестве? Нашел себе местечко.

— А мы тоже ушли, — вздохнула Марина. — Это Бакаев постарался, не дал нам танцевать.

— Дался ему этот гусь, — сказал фельдшер с досадой. — Да ну, не хотелось с ним связываться.

Митя промолчал, сдержался при Марине. А фельдшер сказал ей:

— Идем лучше ко мне танцевать. У меня пластиночка — люкс. Ну, идем? — спросил он Марину, будто они были только вдвоем.

Чуть смутясь, она нерешительно поправила пуговицу на кофточке:

— Правда, Митя, идем потанцуем.

— Если хочешь, механик, — сказал Брагин. — Вольному — воля.

— Идем с нами, Митя.

Она так и сказала — с нами. С ними? А он один, сам по себе, довесок? Случайный прохожий, встреченный на мосту?

И Митя вдруг решил всё; решил даже, что пойдет с ними — пойдет один, сам по себе. Докажет, что теперь ему безразлично, с кем и куда идти, хоть к фельдшеру на танцульки.

Они пошли по шоссе, и фельдшер, очень веселый,

обнял Марину. Она сняла с плеча его руку. И Митя, шагая за ними, один, сам по себе, все это видел.

— Митя, что ты отстал? — оглянулась Марина.

Он пошел рядом с ней. Ее каблуки выстукивали по асфальту. Прямая, светлеющая в темноте дорога уходила в ночную степь. Там, у горизонта, шарил по небу автомобильный свет.

— А вот если идти так долго-долго, всю ночь, знаешь, куда придешь? — спросила Марина у фельдшера.

— В ту сторону? Там наше третье отделение, километров сорок отсюда.

— А дальше?

— Другой совхоз, «Маяк».

— А за ним?

— Не знаю, не был.

— Темный ты, — засмеялась Марина. — А он, — сказала она о Мите, — он говорит, что там, далеко, есть место, откуда запускают людей в космос.

— Врет, придумал, — ревниво сказал Брагин. И наверное, желая доказать Марине, что и сам не чужд высоких материй, посмотрел на небо. — Звезд много. Похолодает. Смотри, вон Большая Медведица. Видишь, семь звезд ковшиком?

— Вижу, — сказала Марина и стала считать звезды. — Раз, два, три...

Но то была не Большая Медведица, а ее сестра — Малая.

— ...Шесть, семь. Верно, семь, — согласилась Марина. — Большая Медведица.

Но Митя промолчал. Ему теперь все было безразлично. И он очень старался доказать это им и себе.

Потом они свернули на степной проселок. До совхоза было недалеко. На улице Первого космонавта светились огни, и самый крайний, на отлете — в доме Брагина.

— Тетя Паша, принимай гостей!

Тетя Паша, прикорнув на диване, спала, ждала хозяина. Без старушечьего платка лицо ее выглядело моложе, блестел тугий узел волос. Накинув платок, она побежала на кухню. Брагин пошел за ней.

Митя распахнул окно. В душной комнате пахло ле-

карстами: за стеной был медпункт. Стоял круглый стол с плюшевой скатертью и шифоньерка с зеркалом, у которого уже вертелась Марина. Ковер над диваном, шелковый абажур, радиола на тумбочке — все, как положено.

И стол был небедный: тетя Паша быстро оставила его закусками, а фельдшер принес бутылку «Старки».

— Ну, механик, ставь, крути,— весело сказал он.

Стол сдвинули в угол. Митя поставил люкс-пластинку и стал смотреть, как они танцуют. Тут им никто не мешал, Бакаева не было. Митя пил, ел и равнодушно думал о том, что вот опять у Марины расстегнулась пуговица на кофте, опять она слишком веселая, слишком красивая. Танцуя с ней, хозяин мимоходом провел пальцами по радиоле, и Марина вслед за ним озабоченно посмотрела, нет ли там пыли. Как будущая заботливая хозяйка.

Потом и он танцевал с Мариной. А хозяин, проголодавшись, сидел за столом и жевал гусятину.

— Кстати,— сказал Митя, танцуя,— то была не Большая Медведица, а Малая.

— Какая медведица? Ты уже пьян? — засмеялась Марина.

В самом деле, что ей помнить о какой-то Большой Медведице.

А хозяин из-за стола сказал что-то тете Паше; она послушно взяла с дивана свою подушку и ушла на веранду.

Митя все видел, все понял. Брагин подмигнул ему, как заговорщик, и щедро налил в его рюмку еще вина — пей, механик, крути.

Марина ничего не заметила. Когда она снова пошла с Брагиным танцевать, она уже не старалась ему улыбаться, не была с ним ни слишком веселой, ни слишком красивой. Она становилась все проще, спокойнее, лучше — такой, как бывала с Митей, мягкой и доверчивой.

И для Мити это было самое страшное. Он вдруг почувствовал, что задыхается. Как-то сразу все в нем оборвалось. Было душно, тягостно, громко шаркали ноги, сиял зеленый радиоглаз, крутилась пластинка, и, словно с того света, мертвый, законсервированный в пластмассовую борозду голос пел о том, как трудна и верна морская, мужская дружба.

Уйду с дороги,  
Таков закон —  
Третий должен уйти.

А хозяин опять подмигнул ему. Да, третий должен уйти. Таков закон. Бал кончился, гаснут огни, пора тебе выметаться.

И, задыхаясь, сжимая кулаки, Митя вышел из комнаты.

На веранде было прохладнее, легче. Но лицо горело, хотелось пить. Он спрыгнул с крыльца и быстро пошел к озеру. Свет из окна полосой тянулся до самого берега. Слышно было, как за озером, в камышах у карьера, сонно кричат чирки. В звездной воде спали гуси. Митя присел, зачерпнул ладонью воды. С плеском разбилось звездное зеркало.

Гуси недовольно потянули подальше от берега, от Мити.

— Боитесь, серые? — громко сказал он, стараясь своим голосом заглушить музыку из окна. — Зря вы меня боитесь.

У его ног что-то плеснуло, какой-то темный шнур, тугой, как леска, всплыл из воды, роняя капли, зацепил его руку. Злясь, Митя дернул веревочку. Тотчас вдруг один гусь вскрикнул и серым пятном метнулся в сторону, в темноту. Мокрый шнур у Мити в руке тоже рванулся, ожил, хлестнул по воде, обдав его брызгами, а потом сразу ослаб, как лопнувшая струна.

Серая тень мелькнула в полосе света, жадно и косо загребая воздух одним крылом. И, срываясь, срываясь, падая боком через крыло, с шумом ударилась в стену дома, в веранду. Задребезжали стекла.

Музыка в доме оборвалась. Стало тихо. На озере смолкли, притаившись, чирки-трескунки.

Оглушенный, гусь шипел на земле у крыльца.

И сразу из дома появилась тетя Паша; как спала на веранде, так и выскочила — босая, простоволосая, в нижней юбке.

— Гуся украл! Тунейдец! Понаехало вас, бандитов! — Голоса, в белой юбке, она побежала к озеру — считать своих гусей.

Появилась на крыльце и Марина:

— Как тебе не стыдно, Савельев!

Появился фельдшер — молчаливый и выжидающий.

— Я не вор! — крикнул Митя. — Это дикий гусь, он был на веревке!

Фельдшер спустился с крыльца.

— Дикий? Ну и пусть улетает. — Он пинком отбросил гуся в сторону. Гусь отряхнулся и загоготал, угрожая тяжелым желто-бурым клювом с горбинкой. Потом как ни в чем не бывало стал чистить перья. — Ну, убедился? Не улетел.

— Его не послушался! — сказала Марина.

Тогда Митя сам, торопясь, подхватил и со всех сил, со злостью бросил птицу высоко в воздух. Трепыхаясь, задевая кусты в палисаднике, она шарахнулась куда-то за дом, в степь, в темноту.

— Вот, летает, — неуверенно сказал Митя.

— Так и курица полетит. — Брагин поднял с земли обрывок мокрой веревочки. — Не привяжи их, расплывутся по всему озеру, беркут побьет. Тетя Паша для вас же старается. А ты шумишь, парень.

Тут с озера тетка крикнула:

— Пусть за гуся платит, разбойник!

— Не пообедем, — ответил ей Брагин. — И не кричи на весь поселок, и без того уже разговоры про твое стадо. Ты их кормишь, а тебя обвиняют. Вот такие, как он. Пил, ел в чужом доме, а платит скандалом. Пусть катится с чужого двора. — Брагин пошел в дом, уверенный, что за ним пойдет и Марина.

Но Митя остановил ее:

— Ты идешь домой?

— Я хочу танцевать!

— Идем, — сказал он тише. — Идем, Маринка.

Свет из окна падал на ее лицо. Опять была растегнута на кофточке верхняя пуговица. Сам не понимая, что делает, он стал застегивать ее непослушными пальцами, чтобы закрыть Марину от чужих глаз. И она посмотрела на него так, как еще никогда не смотрела. Может быть, хотела понять, кто же он ей, этот Митя Савельев; или ждала от него еще каких-то слов. А он не мог сказать ей ни слова при человеке, который стоял и ждал ее на крыльце.

— Уйдем отсюда, — только и шепнул Митя, теребя пуговицу.

— Не надо, — тихо сказала она. Мягко отвела его

руку и сама застегнула пуговицу.— Ты иди, я скоро приду, меня проведут.— И, оглянувшись на Брагина, засмеялась: — Иди, а то вы еще подеретесь.

Митя повернулся и пошел со двора.

Сначала он шел пыльным проселком, старательно считая шаги,— играл с самим собой в прятки. Потом считал ночные огни в степи: красные гроздя на элеваторе, синие светофоры железной дороги, заметил даже тусклый свет в будке у переезда.

У переезда, под мостом, на речном берегу тлел огонь — кто-то там сидел у костра, наверное усталый шофер отдыхал в дальнем рейсе.

Митя свернул с дороги и пошел по степи напрямик к костру. Шелестела под ногами сухая трава, трещали сверчки. Какая-то крупная птица внезапно шарахнулась от него в темноту. Он услышал знакомое злое шипение. В ковыле шевелился серый комок.

Старый знакомый, гусь лапчатый! Вон куда тебя унесло от дома. Ты так и не улетел?

Распугивая сверчков, гусь вытягивал шею и шипел на человека. Так, для порядка шипел, но от человека не уходил.

Похоже, ты и в самом деле не дикий гусь, а гусь для жаркого, для пуховых подушек. Ну, чужая ответственность, что же мне с тобой делать?

Митя сел на траву. Небо бледнело, умирала ночь. Он слышал, как на озере в камышах назойливо квакают болотные курочки: «Ка-ка-кака».

Но он не смотрел в ту сторону. Боялся своими глазами увидеть, как там, в доме Брагина, погаснет свет.

Отвернувшись, он посмотрел на костер у моста. Человек у костра стоял и тоже смотрел в степь, заслоняя лицо от огня. Кажется, то был Бакаев. Да, это он. Наверное, думает, что его друг один бродит где-то в степи, и для него зажег, как маяк, этот ночной огонь. Бакаев еще не знает о той встрече у моста и о том, что потом случилось; и, пока в окне горел свет, не хотелось идти к костру и рассказывать обо всем, даже Бакаеву.

Митя лег на траву. Над ним угасали звезды. Он лежал и думал о том, что скоро рассвет и дикие гуси с

дальних озер снова потянут на юг, к Байконуру, и снова будут звать за собой в бездонное небо.

Спасибо вам, птицы,— люди у вас научились летать.

Говорят, если ночуешь в степи и спишь на этой жесткой, сухой траве, то иногда, на заре, просыпаешься от подземного, глубинного гула ракеты,— люди уже улетают к звездам.

Ему показалось, что в самом деле из-под земли слышен далекий, нарастающий гул. Он поднял голову. Небо было пустынно. Это через мост грохотал пассажирский поезд. Спящий ночной поезд — ни огонька. Давно все огни погасли на тихой, предрассветной земле.

Только один огонек все горел — в доме у озера. И Митя неотступно смотрел на него, вдруг страстно, как в чудо, поверив, что свет в окне не погаснет.

Так он долго сидел, охватив колени руками, сутулясь, покусывая травинку, и потом услышал вдалеке голоса и увидел в рассветном сумраке на дороге два силуэта.

Марина шла торопливо, почти бежала, а Брагин догонял ее. И, догнав, схватил за плечо. Она вырвалась — как тогда на мосту — и отбежала в сторону. Брагин что-то крикнул ей вслед с дороги.

Она стояла и плакала — одна, ночью, в степи. Митю она не заметила. Но видела костер около моста и Бакаева, который прислушивался к их голосам. И наверное, поняла, что Бакаев до сих пор ожидает Митю, что Митя где-то в степи, может быть близко. Она позвала его. Сдержавшись, он не ответил.

— Митя! Савельев! — позвала она громче и побрела наугад. Притаившийся было гусь зашипел на нее из травы. Вскрикнув, она обернулась и увидела Митю. Постояв нерешительно, подошла, села рядом с ним, ладонью вытерла слезы.

— Вон его гусь,— помолчав, сказал Митя.— Отдай.

— Нет...

— Я не вор.

— Нет, это дикий гусь...

Она легла лицом в траву. Ветер шевелил ее волосы.

Митя встал. Было почти светло. Гусь шуршал непо-



далеку, в зарослях ковыля. Митя быстро пошел в ту сторону:

Не сразу, после долгой возни поймал он и прижал к земле сильную, злую птицу. И под ее левым крылом, под тем, которое волочилось, в теплой ложбинке, в мягких перьях нащупал короткую заостренную палочку. К крылу она была подвязана шпагатом.

Ловко, хитро придумано. Со знанием анатомии. Не зря ты, фельдшер, учился этой науке. И крыло вроде свободно, и не взлетишь. А нагрянет охотинспектор, всегда можно сказать, что вот, мол приبلудился дикий гусь с перебитым крылом, пусть, мол, кормится в стаде у тети Паши. Приспособился, гад. Ружья нет, так сеть ловит гусей, когда у них линька. И откармливает на веревочке — на паях с тетей Пашей.

Шпагат был крепкий, пришлось рвать зубами. Но птица, поверив ему, притихла, терпела, не вырывалась из рук. Он сорвал с ее перепончатой лапы тугое веревочное кольцо и отпустил.

С шумом она распахнула крылья, пронзительно крикнув. И полетела — сначала робко, у самой земли, над метелками ковыля, а потом, вдали, у озера, взмыла легко и сильно.

С озера ей призывно ответили гуси. Резкие их клики ворвались в рассветную тишину. Птица кругами шла над водой, переключаясь с товарищами. В доме фельдшера хлопнула дверь, кто-то появился там, на крыльце. Мигнул фонарь, свет беспокойно обшарил воду и камыши. И, метнувшись над озером, птица исчезла в пустынном, светлеющем небе. Все стихло, фонарь погас, негромко стукнула дверь.

Митя сунул в карман острый колышек и оглянулся. Брагина на дороге уже не было. А Марина так и лежала, спрятав лицо в траве. Он крикнул ей, что уходит.

Пока они шли по степи, она не сказала ни слова. Молча она прошла и мимо Бакаева, который стоял на мосту, лениво облокотясь о перила, — скуластый, бронзовый, в белой франтоватой рубашке, в остроносых модных ботинках. Будто случайно, от скуки, оказался ночью на безлюдном мосту. Даже на Митю он посмотрел, зевая от скуки, ни о чем не спрашивая, не удивляясь.

— Пойду,— зевнул он.— Спать пойду.

— Постой,— усмехнулся Митя,— дело есть. Дай закурить.

Он взял сигарету и подошел к костру.

У костра стояла Марина — боялась идти на рассвете в спящий вагон и там, затаив дыхание, пробираться к своей постели и плакать в подушку, таясь от подруг. Глаза ее смотрели в огонь, на щеке было пятно — измазалась, когда лежала в пыльной траве.

— У тебя грязь, вытри,— сказал он неохотно.

— Грязь? — Марина брезгливо провела пальцами по лицу.— Пожалуйста, дай платок, я свой потеряла.

Он достал ей платок.

— Спасибо,— сказала она тихо.— И ты не думай...

— А я не думаю! — оборвал он и вдруг крикнул ей со взрывом боли и облегчения: — Я и не думаю! Дура ты! И я дурак, что ушел.— Он отвернулся.— Ну и все!

Вздохнув, она сказала, еще тише:

— Нет, правда...

А он сквозь пламя смотрел в степь. И в огне ему ясно виделось, как он и Бакаев идут обратно по пыльному следу в зарослях ковыля. Идут прямо к озеру, к улице Первого космонавта, к дому Брагина. Торопясь, идут, как на праздник,— в белых франтоватых рубашках. Идут, а не ждут чудес, а не играют с собой в прятки.

И потом, по колена в воде, мокрые, злые, грязные, рвут веревки и выпускают диких гусей. И Митя уже видел светлые, бешено прищуренные глаза Бакаева, когда тот будет зубами рвать пугу.

Все будет так, и на крыльцо, голося, выскочит босая тетка, а за ней и фельдшер в пижаме, но сразу поймет, что лучше не поднимать шум, по многим причинам лучше не попадаться под горячую руку этим молодым людям; прогонит тетку с крыльца, а за ней и сам нырнет в дом, хлопнет дверью и притаится.

Да, все будет так. И дикие гуси, улетая, снова будут звать за собой в бездонное небо.

Сжимая в руке острый колышек, он обернулся.

— Идем! — сказал он Бакаеву.

## ЗДРАВСТВУЙ, МЫШОНОК!

— Здравствуй, мышонок! — говорил ей Агеев, когда приходил к ним домой и она открывала Агееву дверь.

И впрямь, она чем-то напоминала серенького мышонка — тихая девочка с русой косичкой, неяркая, незаметная, с мягкой походкой, молчаливая, даже скрытная. Хотя всякий раз она была очень рада приходу Агеева, она всегда скрывала свою радость в себе. И этим она похожа была на мать — та тоже встречала Агеева сдержанно, вроде бы холодновато, как случайного гостя, с вежливой, ровной улыбкой. И Агеев, который появлялся в дверях, оживленный и радостный, даже чем-то счастливый, — словно весь он был в ожидании чего-то необыкновенного, что должно случиться сейчас, — посмотрев в глаза матери, вдруг затихал и скучнел и, как-то сразу отяжелев, шел за матерью в комнату, и все у них там начиналось опять: сначала голоса тихие, с раздумьем, неуверенные, потом злые и громкие, а перед тем, как Агееву уходить, — безнадежно-усталые.

Как-то из комнаты отчетливо донеслось: «Легко быть сдержанной, если нечего сдерживать». — «Неправда! — крикнула мать. — Ты знаешь, почему это!»

Но девочка не знала, что стоит между ними и почему ее мать сдержанна с человеком, которого, как ей думалось, нельзя не любить. Когда приходил Агеев, она была рада ему, пожалуй, больше, чем мать. Может быть, потому, что у нее отца не было — он умер давно и мать никогда не вспоминала о нем. И девочке хорошо было сидеть рядом с Агеевым, касаться его руки и ощущать, какой он добрый и сильный: ведь таким она и представляла себе отца, которого никогда не видела. Иногда ей казалось, что Агеев в самом деле ее отец, только от нее это скрывают.

Агеев бывал у них редко, он неделями жил в другом городе, где строил какой-то завод, а когда возвращался в Москву и появлялся в дверях их квартиры, ей так хотелось побыть с ним подольше. Но тут в коридор выходила мать, и Агеев, сразу забыв обо всем, шел с ней в комнату и закрывал за собой дверь. А девочка, немного постояв перед дверью, вздохнув, шла на кухню и садилась за стол — делать уроки. Квартира у них

была небольшая, в одну комнату, и, хотя девочка тоже закрывала за собой дверь, ей слышны были голоса в комнате, особенно если там говорили громко и резко. Девочка прилежно писала и решала задачи в учебнике, но, разумеется, все время слышала их голоса и не была спокойна: ей все время казалось, что вот-вот Агеев рассердится окончательно, хлопнет дверью и больше никогда не придет к ним и не скажет с порога: «Здравствуй, мышонок!»

Иногда вдруг мать выходила из комнаты бледная, усталая, с потемневшими, сухими глазами и говорила рассеянно: «Катя, сделай нам, пожалуйста, чай». Девочка охотно ставила на плиту чайник и доставала чашки. Ей очень хотелось сделать чай именно так, как это любил Агеев, — крепкий, с лимоном. С двумя чашками чая — для него и для матери — она, торопясь, шла к ним в комнату. Но как только она входила, они умолкали. Мать молча смотрелась в зеркало и красила губы. А Агеев — он обычно сидел на диване и курил сигареты — говорил очень громко: «Вот и чай! Спасибо, мышонок!» Он шутливо обнимал ее и шептал что-нибудь ласковое, однако она чувствовала, что в этой комнате она совсем лишняя и что оба они — мать и Агеев — ждут, когда она снова оставит их наедине. Сжавшись, она торопилась уйти.

А иногда, рано утром, провожая девочку в школу, мать вдруг говорила ей, что звонила тетя Полина и просила ее приехать. «Она так соскучилась о тебе, — говорила мать ласково и виновато. — Ты можешь остаться у нее ночевать, если хочешь. Только сделай уроки». И девочка, отвернувшись, молча кивала, — она уже знала, почему мать говорит так, и ей было больно, что мать чувствует себя виноватой. После уроков она шла не домой, а ехала в метро в другой конец города, в старый, кирпичный, темный от копоти дом, в знакомую коммуналку, где жила и она с матерью, пока они не получили квартиру. Там, в комнате у тети Полины, маминой сестры, так и стоял у окна узкий диван с гнутой спинкой, на котором она когда-то спала. Теперь она выросла, диван стал для нее совсем короток, и, когда она, сделав уроки, ложилась спать, тетя Полина подставляла ей под ноги стул. С тетей Полиной ей

было спокойней и легче, чем с матерью: с теткой она ощущала себя взрослей и свободней, а вот мать, занятая собой, рассеянно не замечала, что ее дочь уже не ребенок. «Трудный она человек,— говорила о сестре тетя Полина.— Поэтому и одинока».

Тетя Полина и сама была одинока, муж ее погиб на войне, детей не было, и она, устав ждать свое счастье, тихо жила и старилась и уже не хотела для себя ничего, кроме покоя. Может быть, потому, что ее жизнь не удалась и своего счастья не было и она не была собой занята так, как сестра, она особенно переживала за близких людей. И девочка всегда ощущала ее искреннюю боль за себя и была ей благодарна: ведь молчаливые люди обычно чувствуют все острее.

Только в одном тетя Полина была неискренней — в том, что касалось отца. Как и мать, она не любила вспоминать его, говорила о нем неохотно и коротко — ни хорошего, ни плохого,— и девочке казалось тогда, что тетя старается что-то скрыть от нее, и она сама умолкала и тоже бывала скрытной. Поэтому об отце они не упоминали почти никогда. Сделав уроки, перед сном она лежала на узком диванчике и говорила с тетей о школе, подругах, о всяких своих делах, а утром тетя готовила завтрак, шла с ней к метро, и она снова ехала через всю Москву и вот в эти минуты, одна в толпе чужих людей со своими заботами, особенно ощущала себя одинокой и взрослой,— только никому не могла об этом сказать.

А днем, вернувшись из школы домой и войдя в пустую квартиру, она видела, что без нее у них был Агеев: в пепельнице на кухне лежали окурки и пахло холодным табачным дымом, а на столе стояли две чашки с недопитым утренним чаем.— видно, провожая Агеева и торопясь на работу, мать не успевала убрать посуду.

И так было почти всегда перед тем, как Агееву надолго уехать.

Когда он уезжал, они с матерью жили совсем по-иному — тихо и даже чуть грустно. После работы мать ехала сразу домой, они вместе обедали, шли гулять на бульвар, и мать была с ней очень внимательна, будто искупала свою вину за те дни, когда не могла думать ни о ком другом, кроме Агеева. Они рано ложились спать, в постели мать долго читала, и лицо у нее было спокойное и красивое. Мать вообще была краси-

ва и еще молода, друзья не забывали ее, и наверное, она нравилась многим. Иногда к ней приходил гость — кто-нибудь из сослуживцев или просто ее знакомый, приносил ей цветы и очень старался быть ласковым с ее дочерью. Мать одевала дочку наряднее, сажала за стол рядом с собой, и та сидела тихо и молча, пила яблочный сок, ела конфеты, и ей было скучно слушать их легкие, веселые и не совсем понятные разговоры. Но она понимала, как для матери важно, чтобы сейчас она была рядом с ней, в этой комнате. Ведь все было не так, как при Агееве, и мать никогда не говорила ей: «Катя, сделай нам, пожалуйста, чай». Скучая, она сидела и ждала, пока мать скажет: «Ну, дочка, тебе пора спать». А комната у них была только одна, гость, поняв намек, уходил, и с ним мать прощалась весело и легко — не так, как с Агеевым. И вообще, все было иначе, чем при Агееве.

Но Агеев об этом, конечно, не знал. Наверное, он даже не подозревал, что без него мать совсем другая и, тоскуя, ждет его каждый день; только сама об этом ему не скажет и, встретясь, опять улыбнется холодно-вато и сдержанно. Чего-то им не хватало для последнего шага, что-то между ними стояло, и она никак не могла через это перешагнуть, а он, вероятно, не понимал, то ли это у нее от характера, то ли просто она не любит его.

Однажды Агеев пришел в неурочный час, днем, едва девочка вернулась из школы, и, хотя, как всегда, появившись в дверях, он сказал ей: «Здравствуй, мышонок!» — выглядел он утомленным и грустным.

— Знаешь, опять уезжаю, — сказал он задумчиво, когда они одни сидели на кухне и пили чай. И она подумала, что Агеев нарочно пришел к ней так рано, пока нет матери, чтобы перед отъездом им подольше побыть вдвоем. Очень поверив в это и тая свою радость, она робко коснулась его руки. Он улыбнулся ей, помолчав, думая о чем-то своем, потом посмотрел на часы.

— Хочешь, пойдем в зоопарк?

«Но я же не маленькая», — чуть было не сказала она, но в общем-то ей было все равно, куда с ним идти, лишь бы с ним. Они поехали в зоопарк, день был солнечный, теплый, они долго бродили вдоль вольеров и клеток, и девочка улыбалась, когда Агеев серьезно,

будто ребенку, показывал ей на клетку с волком и говорил:

— Это волк.

Но и улыбаясь ему рассеянно, она ни на минуту не выпускала его руки — ни с кем никогда ей не было так хорошо, как с ним, и в ней все время росло ощущение, что этот большой, добрый, голубоглазый человек с седыми висками чем-то очень понятен и близок ей — почти так же, как мать. Так с ней не было еще никогда. И по пути домой, в метро, под стук колес, в шумном вагоне с ярким светом, она вдруг близко наклонилась к нему и сказала:

— Я знаю, вы — мой отец. Да?

Он взглянул на нее растерянно и беспомощно, хотел что-то сказать, но отвернулся и только сжал ее пальцы. Хотя он не сказал «да», в его молчании был свой, скрытый смысл.

И в тот вечер девочку не покидало ощущение, что их прочно связала какая-то глубокая тайна. Когда они вернулись домой, мать уже ждала их, — вернее, ждала она Агеева, а на дочь лишь взглянула, сказав, что надо делать уроки. Но на этот раз девочку это не обидело. Она послушно села за стол на кухне и стала учить уроки. И, даже слыша из комнаты громкие, раздраженные голоса, уже не была так беспокойна, как прежде, будто то, что она сегодня сказала Агееву, и молчаливое пожатие его руки помогало ей верить, что у них будет все хорошо. Потом она сама, не ожидая, пока мать попросит об этом, заварила им крепкий чай, опустила кусочки сахара и с двумя чашками, чуть постояв перед дверью, вошла в комнату. Как всегда, при ней они замолчали. Мать быстро взглянула на себя в зеркало. Но Агеев не сказал свое обычное: «Вот и чай! Спасибо, мышонок». Он, сутулясь, сидел на диване, курил сигарету и молча, с затаенной, грустной улыбкой смотрел, как девочка несет чашки с чаем и осторожно ставит их на столик около дивана.

— Спасибо, — шепнул он, легко касаясь ее руки, и этот жест для нее значил много и, думалось ей, сблизил их еще больше. Ей не хотелось уходить от него, и, медля, она все стояла и что-то передвигала на столике, хотя знала, что нужно уйти. А мать, занятая собой у зеркала, казалось, ничего не заметила, только посмотрела на нее рассеянно: ждала, пока дочь уйдет.

И девочка, выйдя на кухню, снова села за стол учить уроки и очень старалась не слушать голоса в комнате, а запоминать каждую строчку в учебнике. Но скоро к ней вышла мать: все же заметила, что с дочерью что-то неладно.

— Ты устала? — мать пытливо взглянула в глаза, потрогала ее лоб и, решив, что она утомилась и нездорова, сказала, что нужно пораньше лечь спать.

Ее рано уложили в постель. Агесв, встревоженный, сам накрыл ее одеялом, чего никогда прежде не делал, и это тоже, как ей подумалось, как-то сблизило их. Чтобы успокоить его, она сделала вид, что в самом деле ей хочется спать, и закрыла глаза. Он поправил подушку, отошел и сел на диван рядом с матерью. Девочка их не видела — ее кровать стояла за ширмой, но она знала, что они молча сидят в полутьме, ожидая, пока она уснет. И, стараясь им не мешать, она лежала так тихо, будто ее вообще не было в комнате. Она даже старалась не думать о них, будто их тоже не было в комнате, и с открытыми глазами, не шевелясь, думала совсем о другом.

Над собой она видела тень оконного переплета на потолке, — темные полосы, ломаясь, круто и косо падали по стене. Свет с улицы был розоватым от светящихся букв рекламы. И она знала, что скоро буквы погаснут и в окно будут светить только уличные фонари. Она неслышно дотронулась до розовато-темных полос на стене и ощутила прохладную гладкость. Все было привычным. Вот под окном прошумел автобус, и снова слышны были шаги по асфальту и голоса; кто-то крикнул: «Лена, вернись! Лена!» — а кто-то стоял с транзистором, перебирая обрывки музыки на всех волнах.

Потом она закрыла глаза, изо всех сил стараясь не думать и скорее уснуть. И вскоре в самом деле уже дремала и сквозь сон слышала в комнате тихий шепот, но, конечно, не разбирала ни слова. Пока вдруг, как от толчка, открыла глаза, как-то вся напряглась и уже ясно, отчетливо, сама того не желая, расслышала каждое это слово:

— ...Странная она стала. Что-то с ней происходит.

— Она сказала мне: «Я знаю, вы — мой отец».

— И что ты ответил?

— А что я мог ей сказать?



- Да, я понимаю...
- Она так и не знает, что он жив?
- Кто?
- Ее отец.
- И не хочу, чтобы она знала об этом.
- Ты его видишь?
- Изредка и случайно. Как-то встретила на улице, не узнала. Чужие мы с ним, случайные.
- Он все там живет, на Каляевской?
- Да, в той же квартире. С другой.
- И счастлив?
- Не знаю. И не хочу знать. Хочу все забыть. Прежде я думала: вырастет, и я ей скажу. Я много думала. Но пожалуй, ей лучше не знать...

Но она уже знала. И, оцепенелая, лежала, глотками глотая воздух, а все вокруг нее менялось неузнаваемо, все сдвинулось и кружилось, розовый свет на стене пылал ослепительно и тревожно, темные полосы на потолке, качаясь, словно исполинские каменные колонны, грозили рухнуть и засыпать ее обломками, и голоса за окном, сплетаясь и нарастая лавиной, уже сотрясали весь дом, весь мир, все в ней, оцепеневшей. Она чуть было не закричала: «Я знаю!» И, не выдержав, бросилась под подушку, укрылась от этих призрачно-грозящих колонн, от этого нестерпимого грохота. Стало темно и тихо.

А когда наконец она откинула одеяло и открыла глаза, в комнате уже не слышалось шепота: мать и Агеев ушли. На стене в розовом свете рекламы спокойно лежали темные полосы, за окном были все те же случайные голоса, все тот же будничный шум улицы. В этом мире опять все стояло на своем месте. И все же все это, давно знакомое и привычное, все эти ощутимые звуки, тени и краски выглядели не так, как прежде. Кто-то из них — или этот привычный мир, или сама она стали иными. И в этих темно-розовых тенях на потолке ей все виделся какой-то старый дом на Каляевской и какой-то смутно-живой человек, немного похожий на Агеева: будто вдруг ей открылась способность ясно видеть собственные свои мысли.

Ночью ей снились долгие, беспокойные сны, очень несхожие с прежними. И утром, еще не проснувшись, она снова — и все с той же тревогой — стала думать об этом. Опять все вокруг нее было иным, и она поня-

ла, что это уже навсегда и ей никогда не быть прежней — такой, как вчера, или, вернее сказать, день назад. Ее мать уже встала и, как всегда, ходила по комнате в своем пестром халате, но и мать была уже чем-то другой, хотя девочке еще трудно было понять, что для нее изменилось в матери.

И дорога в школу, так знакомая ей, в то утро тоже казалась иной. Она едва узнавала улицы и бульвары, которыми проходила. Даже в свой класс она вошла как в чужой и за своей партой сидела словно впервые в жизни. И, отвечая урок, не узнавала свой неуверенно-тихий голос. Учительница заметила это и спросила, не больна ли она.

— Нет, — ответила девочка. Она могла бы, конечно, сказать, что больна, и пораньше уйти из школы — в другое время она, наверное, так бы и сделала, — но теперь даже мысль о лжи, самой невинной, вызывала в ней острую боль: так ей хотелось правды.

И после уроков она пошла не домой, а поехала к тете Полине.

— Что с тобой? — сразу спросила тетя.

— Я знаю, он жив и живет на Каляевской, — тихо ответила девочка.

Тетя закрыла глаза.

— Я знаю! — не выдержав, крикнула девочка, и по ее щекам потекли горячие слезы.

Тетя Полина опустила на стул и тоже заплакала.

— Ну вот и случилось, — сказала она, признав то, в чем девочка еще сомневалась и во что боялась поверить всем сердцем. — Я всегда думала, что рано или поздно ты об этом сама узнаешь.

Да, теперь она знала, что у нее есть отец и живет он на Каляевской улице, в доме, который она, как оказалось, знает давно, — когда-то, еще девушкой, в нем жила ее мать и до сих пор иногда бывает там у своей подруги. Девочка сразу вспомнила тот старый, большой, многооконный дом на Каляевской. И какая-то глубокая, беспокойная сила уже толкала ее. Поговорив и поплакав с тетей еще немного, она встала, сказав, что по спешным делам ей нужно домой: первый раз в жизни она сказала тете неправду. Тетя Полина поняла это, пристально посмотрела в ее заплаканные глаза и мудро решила, что не нужно ее ни останавливать, ни уличать во лжи; все это теперь бесполезно,

даже вредно, и, взрослея, человек все равно пройдет через то, что ему уготовано жизнью.

— Но надеюсь, я буду знать от тебя обо всем? — мягко спросила тетя.

— Конечно, — ответила девочка, благодарная ей за то, что она, как всегда, рядом с ней в трудный час и, ничего не требуя от нее, не считая ее ребенком, всегда готова прийти ей на помощь.

Уже в сумерках — а день был холодный, дождливый — девочка увидела знакомый большой дом на Калыевской. Сквозь дождь и туман он светился призрачно-тусклой громадой. Она вглядывалась в освещенные окна, и у нее было такое странное чувство, что все это нереально и происходит во сне. Она говорила себе, что вот постоит здесь немного и скоро уйдет — и в самом деле хотела так сделать, — но какая-то глубокая, беспокойная сила снова толкала ее. Перейдя улицу, она вошла в полутемный подъезд, где пахло холодным камнем и сыростью, постояла там и стала медленно подниматься по лестнице с истертыми каменными ступенями и узорчатыми перилами. Пощелкивая и скрипя, девочку обогнал лифт, и его громоздкая, неуклюжая, старая кабина с железными завитушками тоже казалась ей нереальной, как на картине или в кино. И, шаг за шагом поднимаясь по лестнице, девочка все ждала, когда же кончится этот странный, затянувшийся сон.

Наконец она увидела дверь с медной табличкой: «В. Д. Соколов — 2 звонка». Она подошла и с затаенным дыханием потрогала эти врезанные в металл твердые буквы. Бесплотный образ, который она столько лет носила в себе, стал для нее реальностью. И все же это было словно во сне: только два коротких звонка, дверь распахнется, и на пороге будет стоять *отец*. Она хотела уловить его голос за дверью, но там было тихо — ни звука, ни шороха. Тогда она сказала себе, что должна уйти. И, не выдержав, вдруг протянула руку и быстро нажала кнопку звонка — раз, два.

Дверь открылась. На пороге стояла черноглазая женщина с мелко завитыми кудряшками.

— Ты к кому? — равнодушно спросила она.

Девочка ответила, и женщина, не спрашивая ни о чем, провела ее в коридор и открыла крайнюю дверь:

— Виктор, к тебе.

Девочка переступила порог. Она не видела ни комнаты, в которую вошла, ни того, какая в ней мебель или какого цвета обои,— этого она потом никогда не могла вспомнить,— а видела только человека, сидевшего за столом, худого, лысоватого, с острыми скулами, в белой рубашке. Он обедал, что-то жевал и молча смотрел на нее глазами колючими и удивленными: не мог понять, кто она и что ей нужно.

— Здравствуйте, я — Катя,— тихо сказала она.

Он с сожалением отложил вилку, и лицо у него стало скучным и недовольным — наверное, оттого, что ему помешали обедать.

— А кто ты, Катя?

— Ваша дочь,— растерянно прошептала она.

Он смотрел на нее долго и озадаченно. Только потом в его глазах что-то дрогнуло, лицо словно осветилось воспоминанием и стало задумчиво-мягким, но тут же, собравшись, опять поскучнело, и он сказал с осторожностью:

— Да, да, я сразу узнал тебя.

Он лгал! Он не узнал ее, да и вообще так долго не мог вспомнить ее! И ложь *отца* потрясла ее. Сжавшись, она опустила глаза.

— Это тебя мать послала? — спросил он.

Она не ответила. Тогда, помолчав, он сказал:

— Хочешь чаю?

— Нет, мне нужно идти.

Подумав, он снял со стула пиджак:

— Ладно, я тебя провожу. Поговорим на улице.

Тут в комнату вошла черноглазая женщина и спросила, куда он собрался.

— За сигаретами,— ответил он.

И это тоже была ложь — он шел провожать свою дочь! На лестничной площадке он достал сигареты, с удовольствием затянулся, потом нажал кнопку лифта. А пока поднимался лифт, он все спрашивал, в каком она классе, трудно ли ей учиться и с кем она дружит в школе. Такие вопросы — и почти тем же тоном — ей иногда задавали от скуки случайные люди в автобусе или метро. Но за его вопросами была не скука, а осторожность и боязнь чем-то связать себя с ней. Видно, он никак не мог понять, зачем она пришла. Кабина лифта была уже близко, когда он, решившись, спросил:

— Может быть, тебе нужна материальная помощь?

— Нет! — сказала она в отчаянье.

— А все же... — неуверенно протянул он.

— Не нужна мне ваша материальная помощь! — громко сказала она, заплакала и, повернувшись, побежала вниз по широким ступеням лестницы. — Ничего мне от вас не надо!

Она бежала, перепрыгивая через ступеньки и больше всего боясь, что он догонит ее на лифте и внизу ей придется еще раз увидеть его.

Но он не стал ее догонять.

— Ты все-таки заходи! — крикнул он сверху, и его голос эхом прокатился ей вслед по лестнице.

Она выбежала из подъезда и пошла по улице так быстро, как только могла. Ей все время казалось, что ее настигают, и она, в расстегнутом легком пальтишке, почти бежала по скользкому тротуару сквозь дождь и холод. Опомнилась она уже в своем доме, в теплом и светлом подъезде; постояла немного, застегнула пальто, стряхнула капли дождя с вязаной шапочки и стала подниматься к себе домой. Еще с улицы она видела в своем окне яркий свет и знала, что у них есть посторонний, — если мать была дома одна, она любила в комнате полумрак.

Открыв дверь ключом, она натолкнулась в прихожей на знакомый фибровый чемоданчик Агеева и вспомнила, что сегодня он уезжает. Раздеваясь, она слышала из комнаты их голоса — матери и Агеева. Она тихо прошла на кухню и закрыла за собой дверь. В кухне было темно, но она не стала зажигать свет, а села в углу около батареи отопления и прижала к теплему металлу озябшие руки.

Она долго сидела так и все старалась думать о чем-либо простом и привычном: к примеру, о том, что, согреясь, зажжет свет и станет делать уроки. Однако ей думалось совсем о другом. А голоса, которые долетали из комнаты, казались ей особенно громкими и очень тревожили. Неожиданно для самой себя она встала и быстро пошла в комнату.

— А-а, мышонок пришел! — сказал ей Агеев.

А мать спросила рассеянно, почему она так поздно пришла.

— У меня была уважительная причина, — тихо ответила девочка.

— Ого, у мышонка уже появились уважительные причины! — Невесело рассмеявшись, Агеев замолчал.

Оба они, мать и Агеев, молча ждали, пока уйдет девочка, а она все стояла у двери и смотрела на них. Но мать и Агеев не замечали, как она изменилась, — своя тоска сделала их слепыми. Тогда она подошла и села на диван рядом с Агеевым. Немного удивленный, он улыбнулся ей грустновато. А мать, обернувшись и увидев, что дочь не уходит, стала нервно закуривать сигарету; казалось, сейчас она скажет: «Катя, сделай нам, пожалуйста, чай». Боясь, что мать скажет так и ей придется уйти и одной сидеть в темной кухне, девочка прижалась к Агееву и тронула его руку — словно искала его защиты. Он мягко пожал ее пальцы. И она сама не поняла, как сказала:

— Можно, я буду звать вас папой?

Его рука дрогнула, и он беспомощно и виновато взглянул в глаза матери, спрашивая, что же ему ответить: «Можно мне сказать — да?» Девочка затаила дыхание. Мать молчала, но что-то менялось в ее усталом лице — видно, у нее уже не было сил себя сдерживать. И она заплакала вдруг счастливо и горько, не скрывая, не стыдясь своих слез. И Агеев жадно смотрел ей в лицо — может быть, наконец увидел в нем то, что так долго таилось под сдержанной, холодной улыбкой. Потом мать, отвернувшись, вытерла слезы и сказала, что Агееву скоро уезжать на вокзал и она пойдет и поставит чай.

Мать ушла, а девочка и Агеев молча сидели вдвоем; им было беспокойно, но хорошо. И девочка уже не могла вспомнить лицо того человека, который, не узнавая ее, смотрел настороженно и колюче, а потом кричал вслед ей в полутемный колодезь холодной лестницы: «Ты все-таки заходи!» Да и не хотела она вспоминать его.

Мать долго была на кухне — ей тоже хотелось побыть одной, — а придя в комнату, поставила на стол у дивана не две, как обычно, а три чашки с чаем: синезолотые парадные чашки из праздничного сервиза. И они пили чай и вслух говорили о пустяках, но только не о том, что для них сейчас было самым важным на свете. Впервые они были *втроем*. И девочка ощущала, как теперь она нужна матери и Агееву, — в ней они нашли то, чего так не хватало им для последнего

шага. И она очень старалась быть вместе с ними и помогать им решать самое важное, пока часы на стене не пробили десять и Агееву пришло время уезжать на вокзал, в дальний город, где он строил большой завод.

А месяц спустя рано утром в их квартире раздался долгожданный звонок. Мать и дочь вместе метнулись в переднюю. У порога с чемоданом в руке, в полушубке и шапке, запорошенный снегом, стоял Агеев. И хотя Катя стала за этот месяц совсем другой — выросла, изменилась и была уже не тем серым мышонок, как прежде, а юной худенькой девушкой, — ей было приятно, что Агеев, как прежде, весело сказал ей с порога:

— Ну, здравствуй! Здравствуй, мышонок!

## РУКИ

Давно, когда она была девушкой, худенькой, бело-волосой, ехала как-то она в трамвае, задумавшись. На повороте вагон дернуло, и она чуть было не упала. Но чьи-то сильные руки удержали ее, не очень-то церемонно охватив ее талию. Помнится, на лиловом бархате своей шубки увидела она смуглые, крепкие пальцы, несомненно мужские, и мельком заметила потертый рукав модной по тем временам кожаной куртки. Трамвай все кренило на повороте, и руки держали ее, не давая упасть, а в ней уже закипал гнев: так возмутили ее, испугав, и заставили покраснеть эти бесцеремонные, сильные руки. Гневная, она обернулась, но, обернувшись, вдруг ослабела; и ей уже не хотелось вырываться из этих невольных объятий — так это было похоже на сон, который часто снился ей в ту весну. И она сразу притихла, покорная, испуганная, удивленная.

И осталась в этих руках навсегда.

Руки его знали ее, как никто, разве что мать; его руки согревали ее у железной печурки и приносили ей пайки черного хлеба, бесценные в ту голодную пору. А когда стало легче и был уже белый хлеб, она, про-

снувшись как-нибудь ночью, видела рядом с собой, под абажуром, прикрытым газетой, его руки, которые быстро писали что-то и шелестели страницами книг. И она опять засыпала спокойно, потому что в ее мире все было надежно и ясно.

Он иногда причинял ей слезы и боль, но такое бывало редко. В общем-то в этом смысле она родилась в рубашке. Ей всегда хотелось быть близко к его рукам. А если ей случалось остаться одной и посылать ему письма куда-нибудь в дальний край, она, шурша карандашом, уже видела сквозь свои строчки, как его руки, темные и огрубелые от чужого солнца и ветра, жадно разрывают конверт и берут этот легкий листок бумаги.

Но время летело. С годами руки слабели, сила уходила из них, как уходят дни жизни, и все тяжелее они опирались на палку с бронзовым набалдашником. Правда, кроме нее, никто этого не замечал. Иногда ей самой было трудно пробиться к нему: все привыкли давно, что его руки не знают усталости и покоя, и с утра до ночи к ним тянулись другие руки. И почти каждая протянутая рука получала то, что просила,— хлеб, но не камень.

Но никто, кроме нее, не знал, как беспомощны его руки в глухую, морозно-трескучую ночь, когда на одеяле от боли сжаты в кулак исхудавшие, бессильные пальцы, как бледна и прозрачна тонкая кожа с тугими узлами вен, в которых вяло теплится жизнь. И никто, кроме нее, не касался его рук, когда жизнь ушла из них и они лежали тяжело и спокойно. Она сама, мягко и осторожно, чтобы не потревожить, закрыла их кисеей — легкой и белой, как свежий снег.

Шел снег, в Москве был вьюжный февраль, над старыми башнями Ново-Девичьего монастыря кружила метель и уже засыпала белой порошей черный холмик земли. А она, занемев, все стояла с лицом, мокрым от снега, и рассеянно, по многолетней привычке, думала с беспокойством о нем, — что ему теперь холодно. И вот в этот момент, как-то сразу, внезапно с безжалостной ясностью она поняла наконец, что ему уже все равно, что его уже нет.

Она вдруг заплакала — впервые за все эти дни. От слез таял снег в глубоких морщинах.



Кто-то протянул ей платок. Это был сын, Валерий.  
— Спасибо,— сказала она, вздохнув, и закрыла глаза, будто устыдясь своих слез, своей слабости: ведь с его слов она знала, что и страдать человеку подобает достойно. Учись страдать молча. Когда им бывало туго — болели дети, не ладилось на работе, не было денег,— он улыбался ей грустновато: «Кто мы с тобой? Ты помнишь? Мы — стойкие оловянные солдатики. Да?»

Она взяла у сына платок, вытерла на лице снег и слезы. Кто-то взял ее под руку и помог сойти на заснеженную дорожку. Она благодарно кивнула, узнала Лукьянова — сутулого, без шапки, с волосами, занесенными снегом. Его крупное, костистое, худое лицо зарастало рыжеватой бородкой.

Пока она шла, она узнавала и других учеников и друзей ее покойного мужа. Всех их она не раз поила чаем в своей тесной квартирке. Но некоторых она видела впервые и не знала, кто они. Людей было много, печальная процессия медленно двигалась обратно к кирпичной арке ворот, и, наверное, многим, усталым и озябшим, хотелось скорее к теплу.

А впереди всех, не ускоряя шаг, понуриив голову и прижав к груди шляпу, шел Окладников. Воротник его пальто был поднят, на плечах пластом лежал снег. Ему, Окладникову, она была особенно благодарна. Он и входил сюда, под кирпичную арку, самым первым, и нес самый большой и красивый венок, а в последнюю минуту прощания говорил печально, мягко и сдержанно. И в этой сдержанности его сильного и звучного голоса была особенная, так ее тронувшая скорбь.

Он же, Окладников, проводил ее домой: сел в машину рядом с шофером и сказал, куда и как ехать,— дорогу туда он знал хорошо. А она тихо плакала, и сын шептал ей слова утешения. Потом Окладников помог ей подняться по каменной лестнице старого московского дома, побыл немного в квартире и, понимая, что он уже лишний, незаметно исчез.

И только тогда она, совсем обессиленная, рухнула, зарыдала, забилась от боли. Сын уложил ее на диван, снял кофту и боты, дал лекарство, грелку к ногам. Она затихла, он бесшумно вышел из комнаты, и сквозь забытие она слышала, как ходит он по квартире, что-

то делает, вполголоса отвечает на телефонные звонки и когда разговаривает по телефону, то, чтобы не беспокоить мать, прикрывает дверь кабинета: как всегда делал его отец. И все это — и шаги в коридоре, и приглушенный голос, плеск воды в ванной и всякие домашние шорохи — все ей напоминало о том, что его уже нет, хотя она никак не могла в это поверить. В тяжком, лихорадочном забытьи ей скорее поверилось бы, что все это — сон и нужно найти в себе силы и заставить себя проснуться.

Дверь отворилась, из коридора пробился свет, и медлительными шагами, так похожими на шаги отца, подошел сын, присел на диван, взял ее руки. Было почти темно, она лежала тихо, закрыв глаза, но сын, наверное, знал, что она не спит; вот и его отец всегда это чувствовал. И когда он взял ее руку, в ней откуда-то всплыло полузабытое ощущение покоя. Она прижалась к этой сильной и горячей руке и на миг в самом деле поверила, что весь сегодняшний день был только дурным и тяжелым сном, и лишь теперь проснулась она, и вот рядом с ней наяву эти смуглые руки, и в ее мире, как и прежде, все надежно и ясно.

«Что с тобой, мама?»

Да разве об этом расскажешь. Конечно, она понимала, что все это — только тень прошлого. Но она не могла не верить в реальность этого мира: он нужен был ей, он помогал пережить самый черный день ее жизни. Она так и уснула, крепко сжав руку сына и даже во сне не отпуская ее. А сын, армейский полковник, рослый, бритый, с припухшими веками, боясь убрать руку и разбудить мать, сидел около нее до рассвета — а светало поздно, по-зимнему, — и его удивляло немного, хотя и радовало, что в такую ночь она спит так спокойно.

Сын был с ней всю неделю. Потом он уехал в свой полк, на Урал, и она осталась одна.

В квартире стало совсем пустынно и тихо. Правда, родственники и знакомые не забывали ее, стараясь утешить, но от их настойчивых соболезнований ей иногда было невмоготу. Тогда она не подходила к телефону. Резкие звонки напрасно рвали тишину опустевшего кабинета. Она вообще теперь редко открывала дверь в кабинет, избегая тягостной, нежилой тишины; даже часы там молчали, не тикали, их давно ни-

кто не заводил. А на письменном столе с зеленым сукном все осталось нетронутым — книги и рукописи, свои и чужие, лампа с круглым абажуром, модель динамо-машины, отлитая из бронзы, старинные часы в стеклянном футляре, тяжелая чернильница из белого мрамора — вещи, может быть, совсем старомодные, но для нее полные воспоминаний и жизни. Хотя бы это бронзовое динамо, которым он прижимал свои бумаги, если окно было раскрыто и дул ветер. За долгие годы бронза обтерлась до червонного блеска и, казалось, еще хранила тепло его рук.

И на полках с книгами, грубовато-простых, сосновых, от пола до потолка, тоже все было, как прежде: небрежное соседство золоченых томов и тонких, дешевых брошюр, груды старых журналов, пожелтевшие язычки бумажных закладок, навалы туго набитых канцелярских папок с тесемками, пачки каких-то бумаг, перевязанные шпагатом, и бесчисленные запыленные синьки и кальки.

Иногда она осторожно снимала пыль, не трогая ни одной бумажки. Она-то знала, какая строгая логика, правда малодоступная ей, какой безупречный порядок таился в этом обманчивом хаосе чертежей и бумаг. На столе так и лежала рукопись, оборванная на полуслове, и она не знала, что с нею делать.

Как-то к ней приехал Лукьянов, которого она не видела с памятного метельного дня. Крупное и худое его лицо совсем заросло рыжеватой бородкой. Думая, что и он, с некоторым опозданием, тоже будет вздыхать и сочувствовать, она согласилась на встречу с ним с неохотой. Но он, едва поздоровавшись, еще в передней стал говорить совсем о другом, о том, что по всему городу ищет одну книгу об энергетике России, изданную еще во времена революции и теперь очень редкую.

— Но у Ильи Павловича она есть, он мне показывал, — озабоченно говорил Лукьянов, вешая в прихожей пальто.

Она растерялась немного: о ее покойном муже Лукьянов говорил так и таким тоном, будто тот просто ненадолго уехал, наказав другим продолжать все дела без него. К тому же она понятия не имела о книге и не знала, где, на какой полке ее искать. Подумав,

она открыла дверь в кабинет и пригласила его войти. Он стоял на пороге и напряженно смотрел в полутьму этой знакомой комнаты, словно решаясь на трудный шаг.

Она зажгла свет. Лукьянов быстро шагнул к книжным полкам. Он не просто оглядывал их, а легко, как-то мимоходом касался пальцами каждой книги. Так пианист вначале пробегает по клавишам, пробуя и запоминая их звучание. И этим жестом Лукьянов напомнил ей покойного мужа — тот тоже любил трогать пальцами корешки своих книг. Она подумала, что Лукьянов ищет не наугад, а хочет понять логику того живописного беспорядка, с которым, казалось бы, случайно по полкам разбросаны эти тома с золотыми обрезами, кипы старых журналов, связки книг и запыленные кальки. Пробежав пальцами по корешкам, он уверенно вытянул зажатую между томами незаметно тощую книжечку и стал быстро листать ее.

Книжка была напечатана на грубой, жесткой бумаге революционных времен. Но как ни бедно ее издали, на обложке все же оттиснули алой краской мускулистого атлета с пылающим факелом. Серая бумага давно высохла и пожелтела, выцвели и буквы на обложке, но алое пламя факела революции сохранилось чистым и свежим: вероятно, краска попалась добротная.

Листая книжку, Лукьянов, озабоченный и увлеченный, казалось, забыл обо всем, даже о женщине, которая стояла рядом с ним; но вдруг порывисто обернулся к ней и улыбнулся:

— А знаете, вот с этого все и началось.

Она не знала, что именно и с чего началось, но поняла, что он говорит о чем-то большом и важном, что действительно начиналось когда-то с этой серой книжечки с алым факелом, которой так дорожил ее муж.

— Да вы присядьте,— мягче сказала она.

Лукьянов сел в старое, потертое кресло около письменного стола. Там он всегда сидел, приходя к своему учителю. Она зажгла настольную лампу. Свет полукругом лег на его худое лицо с рыжеватой бородкой, на его руки и на страницы с выцветающим шрифтом. Руки у него были крупные, костистые, с суховатыми и гибкими пальцами, которыми он быстро и безошибочно находил в книжке нужные ему страницы.

И опять что-то в нем напомнило ей о прошлом. Но это ощущение уже не тревожило, а успокаивало.

Оставив его одного, она вышла. На кухне, стараясь не греметь посудой, она заварила чай, дала ему настояться, прикрыв полотенцем, потом налила вишнево-темный настой в большую старинную китайскую чашку, и все это — будничное, привычное, связанное с тем надежным и ясным, что было в ее прежней жизни, — тоже ее успокаивало.

Но когда она вошла в кабинет и, стараясь не мешать Лукьянову, поставила чай на край стола рядом с ним, и он, увлеченный, не отрываясь от книги, с благодарностью кивнул ей и машинально потрогал пальцами чашку — не слишком ли горяч чай, — это нетерпеливое движение мужских рук, этот знакомый жест снова — и на этот раз так безжалостно! — напомнили ей о прошлом, и она, не выдержав более, тихо, бесильно заплакала.

Лукьянов, встревоженный, долго ее успокаивал. Но и утешая, он не вздыхал над ее одиночеством и вообще, кажется, не признавал перемен в ее жизни, а упорно говорил о своем бывшем учителе, как о живом и живущем. И эта упрямая, вроде бы даже неразумная вера и одержимость Лукьянова успокаивали ее куда больше, чем все разумные слова утешения, которые она слышала до сих пор.

Книжка с алым факелом на обложке лежала у него на коленях, и, разговаривая, он нервно постукивал по ней пальцами, как человек, которому не терпится продолжить важное дело.

На столе перед ними лежала неоконченная рукопись, разговор зашел о ней, потом вообще о записях и чертежах, скопившихся в кабинете за много лет, и Лукьянов сказал, что Окладников уже поднял в НИИ вопрос о завершении важной научной работы ее покойного мужа.

— Окладников? — переспросила она, хотя ее не удивило, что эту мысль высказал именно он, Окладников. Она сразу припомнила, как он, в общем-то ничем не выделявшийся среди учеников и друзей ее мужа, неожиданно вырос в ее глазах в тот метельный день, когда нес самый большой венок и потом тронул ее своим звучным, сдержанным, скорбным голосом. — Да, он

не забывает Илью Павловича,— сказала она, заметив, однако, как при этих словах рыжеватая бородажка Лукьянова вздернулась упрямо и вроде бы даже сердито.

А месяц спустя в кабинете появился и сам Окладников. Он был в сером костюме, сине-голубой полосатой рубашке, с желтым портфелем — высокий, румяный, здоровый мужчина, наверное шумный и напористый в обществе, но здесь, в тихом кабинете, печальный и сдержанный. Лето в Москве еще начиналось, а у него был уже крепкий, шоколадный загар. Она спросила, где он успел так загореть.

— В Африке,— печально ответил Окладников.

Ее задела эта наигранная грусть здорового мужика, успевшего в холодноватую московскую весну побывать под жарким африканским солнцем. Правда, она не подала вида, что ей неприятно, только посмотрела на него чуть внимательней. Он сидел в том же старом, потертом кресле, что и Лукьянов месяц назад. Но теперь, в мае, темнело поздно, за окном еще догорал закат, и лампа еще не бросала полукруг света на человека, который сидел в кресле.

Разговаривая, он достал из портфеля и поставил на стол привезенного ей в подарок пестро раскрашенного деревянного божка из гвинейского городка Канкан. На выгоревшем сукне, среди старомодно-тусклых вещей, полных сокровенного, внутреннего значения, этот яркий канканский бог выглядел легкомысленным чужаком. Незаметно, локтем, чтобы не обидеть гостя, она отодвинула деревяшку на край стола.

Окладников и этого не заметил. Покончив с печальными вздохами, он перешел прямо к делу — звучным голосом стал читать ей решение ученого совета НИИ о необходимости завершения работы И. П. Малинина и о том, что ему, Окладникову В. М., поручено обратиться к П. З. Малининой для ознакомления с материалами на месте.

Чтобы Окладникову было удобней читать, она зажала свет на столе. В общем-то она давно догадалась, зачем он пришел. И пока он читал, она, рассеянно слушая, все смотрела на его полные, массивные руки: их холеность проступала даже сквозь шоколадный гвинейский загар. Пальцы у него были коротковатые,

цепкие, с красивыми, ровно подстриженными ногтями.

Дочитав, он, как верительную грамоту, протянул ей внушительный бланк НИИ с гербом, но она сказала, что верит ему и так, на слово. Его рука с бумагой неопределенно повисла в воздухе. Задумчиво он сунул бумажку обратно в портфель. Только теперь он начал кое-что замечать. Голос его стал совсем сдержанным, а печаль — беспросветной. Но руки, массивно-сильные и уже сознающие свое бессилие, двигались с беспокойством. Пальцы постукивали о край стола или крутили пуговицы на пиджаке, потом рассеянно взяли со стола бронзовую динамо-машину и стали вертеть ее, как пустяковую безделушку. И было неприятно, что эти руки касаются бронзы, еще сохранившей тепло его рук.

— Я подумаю, — сказала она, вставая.

Когда он ушел, она обтерла платком бронзовое динамо и поставила обратно на стол, туда, где оно стояло все эти месяцы, — рядом с рукописью, оборванной на полуслове.

Рукопись уже пожелтела, и чернила начали выцветать, а последняя строчка с какой-то формулой так и оставалась недописанной.

Колеблясь, она села за стол и подвинула к себе рукопись. Впервые за эти месяцы она перелистала ее страницы. Конечно, она не понимала формул, да и суть работы была для нее неясной; она знала только, что рано или поздно кто-то должен это прочесть, понять и дописать последнюю строчку. Но кто это должен сделать, она не знала.

Опасаясь ошибки, она подумала: а как бы поступил он? Она ясно видела его руки, когда-то устало лежавшие на этой рукописи: что они хотели, чего не успели сделать? Она обязана была это понять. Ведь и она была его ученицей. Годами, настойчиво, хотя для нее самой иногда совсем незаметно, он направлял ее, зная, что когда-нибудь его выучка поможет ей жить одной. Теперь она поняла это в полной мере. И, храня в себе частицу его мысли и воли, не ощущала себя беспомощной и одинокой, — а это было самое главное.

Спустя неделю она позвонила в НИИ, и там с ней согласились, что работу лучше доверить другому.

А своей вины перед Окладниковым она не чувствовала — просто не имела права решать иначе.

Правда, Лукьянов долго не давал ей согласия — не был уверен, сможет ли завершить дело своего учителя. Приехав к ней, он опять сидел в старом кресле, тербил рыжеватую бороду и, хмурясь, раздумывал, хватит ли у него сил и знаний. Но она-то видела, как жадно и бережно его пальцы прикасаются к неоконченной рукописи, и вот эта бережность, это целомудрие его рук значило для нее больше, чем все знания и энергия, которыми, может быть, в избытке обладал Окладников. И еще одно убеждало ее в верности выбора: Лукьянов ни слова не говорил ей о том, что ему где неловко перед Окладниковым, которому он вроде бы перебежал дорогу. Для Лукьянова эти побочные и мелочные опасения и не возникали, — он уже весь был во власти идеи, которую ему предстояло довести до конца.

А согласившись, он стал работать неистово, упоено, забывая и не жалея себя и при всем том — что приятно удивило ее — сохраняя хладнокровие трезвого и зоркого наблюдателя. Этим он тоже напоминал ее мужа.

Каждый вечер он появлялся в тихой квартире, снимал пиджак и засучивал рукава, похожий на упорного каменщика, который возводит собственный дом. Его руки двигались устремленно, быстро и точно, но иногда, в минуту раздумья, лежали на столе тяжело, неподвижно.

Обычно она сидела в кресле и, стараясь ему не мешать, молча вязала. Потом шла на кухню и готовила ему чай. Она уже привыкла к тому жесту, каким он трогал старинную китайскую чашку — не слишком ли горяч чай. Она вообще привыкла к нему и, если его не было вовремя, беспокойно бродила по безлюдной квартире или стояла у окна, смотрела на улицу.

Как-то в окно она увидела, что он идет с девушкой, невысокой, хрупкой, в легком пальто, с пучком соломенно-желтых волос. Шли они вместе, тесно и очень близко. И все же, как дети, крепко держались за руки, боясь потерять друг друга. У дома они постояли немного, прощаясь, девушка пошла дальше, торопливо постукивая каблуками, Лукьянов исчез в подъезде. А когда он появился на пороге квартиры и поздоро-



вался, в сероватых его глазах еще не угасла, еще блуждала по-детски удивленная и рассеянная улыбка. И в тот вечер руки его двигались чуть замедленно: работая, он застывал вдруг и, прислушиваясь к чему-то глубоко своему, тайному, опять улыбался.

И в чужом этом счастье она ясно видела что-то свое, очень близкое, что она и сама когда-то хранила в тайне. Хрупкая девушка с пучком соломенно-желтых волос напомнила ей себя в юности — худенькую, бело-волосую. Она подумала, что в общем-то в жизни многое повторяется, но каждый раз все бывает неповторимо своим, близким и тайным. Хотя жизнь передается из рук в руки, как неизменно вечное наследство, всякий раз, в других руках, обретает нечто новое, необычное.

И ей думалось, что и Лукьянов, завершая дело, начатое еще в революцию, тоже внесет в него свою мысль и страсть.

К осени наконец Лукьянов поставил точку.

— Вот и все, — сказал он как-то вечером, устало потирая глаза. — Все, Полина Захаровна.

А полгода спустя, весной, ее повезли куда-то далеко за город. На полях только сошел снег, голые березовые перелески, чернея, сливались с темно-пятнистой землей, и, хотя солнце светило ослепительно, было еще сыро и холодно. Ехали долго, до утомления, пока не очутились в поселке НИИ с елками на чистеньких улицах, коттеджами и бетонно-стеклянными корпусами лабораторий.

За поселком, в поле, на краю глубокого котлована стояла толпа. В котловане блестели лужи. Туда, на глинистую площадку, залитую водой, опустили первые блоки фундамента и наскоро скрепили бетоном. Потом сказали короткую речь о том, что закладка этой опытной установки — шаг вперед по пути развития энергетики.

Пока шло это деловитое торжество, она вспомнила, с чего все начиналось когда-то — с тоненькой книжки из грубой бумаги с алым факелом революции на обложке. И, оглядывая тех, кто стоял рядом с ней, узнавала многих своих знакомых — среди них и Окладникова, массивного и торжественно-кислого. Был и Лукьянов, совсем исхудавший за последние месяцы, сутулый, рыжебородый. От яркого солнца, от возбуж-

дения серые его глаза блестели. С жадной радостью впитывал он в себя все, что происходило вокруг. А когда все кончилось, он бросился к ней поздравлять. За ним подошли и другие и плотно окружили ее: со всех сторон она слышала слова благодарности, и со всех сторон к ней тянулись руки — знакомые и незнакомые.

Окладников не подошел к ней.

Домой она возвратилась совсем без сил, думала, что устала от дальней дороги, от весны, от впечатлений, но наутро уже не встала с постели, жар сжигал ее. И потом, сквозь смутную смену дней и ночей, в забытьи ощущала лишь, как чьи-то руки, знакомые и незнакомые, и среди них — руки сына, дают какую-то приятную, освежающую прохладу или снимают боль, если боль совсем невыносима. Чьи-то руки всегда были с ней, и, наверное, это и вернуло ей жизнь.

Выздоровливая, она много об этом думала. Какими-то иными глазами видела она все вокруг, хотя прежде ей всегда думалось, что в ее годы, с нелегкой и сложной судьбой, уже трудно увидеть что-либо новое в этой очень знакомой жизни.

Как-то зрима стала для нее в общем-то несложная истина, — что все вокруг, даже в ее тесной комнатке, сделано человеческими руками: крыша над головой, лампа под потолком, прозрачные стекла на окнах, сквозь которые льется солнечный свет, лекарство, что стоит на тумбочке рядом с ней, и книга, которую она держит в руках.

Иногда она думала, что это обостренное ощущение — от болезни и жаль, если постепенно оно уйдет; но к счастью, оно не уходило, а крепло, и с ним было легче жить, не так одиноко: словно незримо ее окружали добрые руки людей.

Как-то после болезни, еще слабая, она одна — сына не было дома — медленно спустилась по лестнице и вышла на улицу. Обычно она шла до бульвара пешком, но теперь, ослабев, решила доехать автобусом. Пассажиров было мало, она сидела у окна и смотрела, как по тротуару и прямо по мостовой проплывает толпа — нарядная даже в будний день. Был май, та пора года, когда все краски особенно яркие, отчетливы и как-то особенно молоды: деревья в свежей листве, тра-

ва, цветы и пестрые платья девушек, еще непривычные после долгой зимы.

Ехать было недалеко. Она встала и уже стояла у двери, ожидая своей остановки, как автобус вдруг тормознул, и она, потеряв равновесие, чуть было не упала. Чьи-то руки резко подхватили ее и удержали.

— Спасибо, — рассеянно сказала она, не обернувшись и даже не зная, кто ей помог. Ее поразило другое — неясное ощущение того, что все это когда-то с ней было. Что-то похожее на сновидение пронеслось в ее памяти. И, уже выходя из автобуса, она внезапно, с чеканной, потрясающей ясностью увидела тот полупустой, гремящий трамвай и себя, худенькую, бело-волосую, в бархатной шубке, и те смуглые руки, которые тогда подхватили ее вот так же резко и сильно.

Оказалось, ничто не поблекло, не утратилось за долгие годы, все виделось так, будто случилось с ней только что; вспомнился даже цвет той потертой, порывшейся кожанки.

Потрясенная, стояла она, закрыв глаза, боясь оглянуться и в самом деле увидеть того смуглого человека в кепке и кожаной куртке, с серыми, немного насмешливыми глазами. Очень отчетливо она понимала, что этого, конечно, не может быть, и все же верила, что он — или кто-то другой, на него очень похожий, — стоит рядом с ней, за плечом.

Не выдержав, она оглянулась. Поодаль стоял юноша, который вышел за ней из автобуса, — высокий и длиннорукий, в очках, черноволосый, с наивными усиками, по виду студент. Он рассеянно оглядывал бульвар, ожидая кого-то, — тоже, наверное, свою худенькую, светловолосую. На нем были узкие брюки, черный, дешевый свитер и белая рубашка с галстуком. Видно, с трудом, безденежно, но он тянулся за модой.

А ей он привиделся в потертой кожаной куртке. Жаль, теперь их не носят. Впрочем, подумалось ей, дело не в моде. Руки у него были крупные, с плотной ладонью, — такими и ощутила она те руки, которые помогли ей: было в них что-то знакомое, близкое, неуловимо свое. Он мог быть ее внуком, подумалось ей. Мог быть и учеником Лукьянова. Но вот учеником Окладникова — вряд ли.

Он заметил, что она на него смотрит, и улыбнулся ей смущенно и виновато: извините, говорила его улыбка, если я помог вам неловко, но иначе я еще не умею.

«Спасибо», — улыбнулась она. И пошла по бульвару с какой-то легкой, неясной и очень глубокой радостью. Почему было так, она и сама не знала. Может быть, потому, что после долгой болезни, слабая, исхудавшая, снова увидела над собой небо и солнце, а это так дорого и в ее годы. Или потому, что на этом старом и знакомом бульваре снова все было в цвету, как когда-то, давно, в лучшие дни ее жизни.

И ее не покидало ощущение, что *он* — или кто-то другой, на него очень похожий, — идет рядом с ней и, если от этой неясной, глубокой радости она совсем ослабеет, сильные руки подхватят ее и она сделает еще один шаг по этой земле.

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПОВЕСТИ

Зойка . . . . .	4
Дом над рекой . . . . .	68
Командир . . . . .	114
Побег . . . . .	157
Знакомая фамилия . . . . .	223

### РАССКАЗЫ

Дикие гуси . . . . .	280
Здравствуй, мышонок! . . . . .	302
Руки . . . . .	314

ИБ № 878

**Лев Андреевич Ющенко**

**ЗНАКОМАЯ ФАМИЛИЯ**

Заведующая редакцией *Л. Сурова*

Редактор *М. Курзанов*

Художник *В. Иванов*

Художественный редактор *А. Беднарский*

Технический редактор *М. Шлык*

Корректор *А. Конькова*

Л44002. Сдано в набор 27/IV 1978 г. Подписано к печати 28/VIII 1978 г. Бумага № 3. Формат 84 × 108<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Усл. печ. л. 17,22. Уч.-изд. л. 17,33. Тираж 65 000. Цена 1 р. 20 к. Заказ 2799.

Ордена Трудового Красного Знамени  
издательство «Московский рабочий».  
Москва, Чистопрудный бульвар, 8.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий».  
Москва, Краснопролетарская, 16.

1 р. 20 к.



МОСКОВСКИЙ  
РАБОЧИЙ  
1978